



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

3-4 (497)

2022

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции.....	3
------------------	---

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Мария Галина. «Из окна верхнего этажа бывшего горсовета...» и др. стихи.....	3
Виталий Аширов. СвГ. Роман.....	6
Софья Дубровская. «Диптих» и др. стихи.....	99
Владимир Аристов. Рассказы из цикла «Жизнь незамечаемых людей»	106
Богдан Агрис. «время солнечным зверком...» и др. стихи.....	112
Юрий Гудумак. Сады Адониса. Стихи.....	117
Сергей Зельдин. «Конец кино» и др. рассказы.....	123
Игорь Иртенев. «Богатым мне уже не быть...» и др. стихи.....	133
Григорий Беневич. Д р у г и е. Стихи.....	137
Анна Маркина. Рыба моя рыба. Вышивальщик. Рассказы.....	143
Андрей Торопов. «Где судзуки витара, где судзуки витара. Где судзуки витара...» и др. стихи.....	155
Михаил Токарев. Две рюмки дихлофоса. Рассказ.....	161
Ольга Брагина. «мы встречаемся редко в зеркальную гладь теплых вод никто не придет...» и др. стихи	165

ПЕРЕВОД

Анна Арно. Прошлое наконец стало мной.

Перевод Екатерины Симоновой.....	176
---	-----

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Александр Ожиганов. (Искандер Аджиган). Из книги «БАЯН. Восточно-западный ди- ван». Вступление Сергея Стратановского.....	180
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Калле Каспер. Невозмутимость

О кн.: Алексей Пурин. Астры.....	188
----------------------------------	-----

Анна Сафронова. За мирное чтение

О кн.: Владимир Аристов. Жизнь незамечаемых людей.....	190
--	-----

Олег Рогов. Жизнь замечательных персонажей

О кн.: Владимир Аристов. Жизнь незамечаемых людей.....	194
--	-----

От редакции

Настоящий номер готовился на протяжении более двух месяцев. Большинство текстов, принятых к печати, писалось до печально известных событий; тексты эти из мирного времени и ориентированы на читателя, которого больше нет. Возможно, работы авторов этого номера будут простым напоминанием о более счастливых временах и станут частью литературной истории, а возможно, обретут новый смысл, новое прочтение – если читатели останутся. Что бы ни случилось – так писали, так виделось; а сохранить это – наша задача.

Мария ГАЛИНА

Из окна верхнего этажа бывшего горсовета
Ровно в семнадцать тридцать можно увидеть
Самолеты, идущие на посадку
landing фонари, чистейшее их сияние
(расположены в районе трети размаха крыльевых консолей. Мощностъ и дальность освещения аналогичны дальнему свету автомобиля. Направленные в одну точку фары белого цвета)

всякие вспомогательные строения,
конструкции непонятного назначения
и собственно здание аэропорта, гордость нашего региона.
Мы собираемся у окна примерно в семнадцать двадцать.
Молчим, курим, тут теперь можно никто не гоняет.
Ждем, когда загорятся огни в зале прилетов.
Иногда приводим с собой детей и женщин, но редко –
Женщины плачут, дети просто не понимают
Что это там такое ревет и мерцает в небе
Заходит на круг и куда потом исчезает.
Пара минут ведь – и все. И опять пустота и ветер
Не уловленный сачками для ловли ветра
Гонит по развалинам пыль и мусор.
Странное, конечно, явление, но забирает.
Вот, каждый вечер, в семнадцать тридцать стоим и смотрим.
Полагаю, это что-то связанное с памятью атмосферы
Может же быть у нее какая-то память, у атмосферы...

Мария Галина родилась в Твери, закончила Одесский государственный университет. Биолог, кандидат биологических наук по специальностям гидробиология, ихтиология. Дебютировала в 1991 году подборкой стихов в журнале «Юность». Участник нескольких международных поэтических фестивалей и антологий. Лауреат многих премий, в том числе «Московский счет» (дважды) и Anthologia. В «Волге» публикуется с 2000 года.

Из записок Гийома де Боплана

Они выставляют стражу на верхушке холма. При виде
неприятеля часовые испускают особый сигнал. Остальные,
те, кто в это время трудится в поле
бросают уже собранные колосья,
торопятся скрыться в специально оборудованных укрытиях.
эта их бдительность достойна
самой высокой оценки равно как
устройство их жилищ, чадолюбие и врожденная чистоплотность,
отхожее место
они всегда устраивают как можно дальше от кладовых и спален.
зверьки эти дружелюбны и безобидны, похожи
на наших сурков, но крупнее, из верхней
челюсти торчат два огромных зуба.
они собирают на зиму сухие листья и травы
забавным способом: сборщик
ложится на спину и держит охапку в лапах, тогда как двое
других тащат его за короткий хвостик к норе. Я как-то
раскопал их жилище чисто из любопытства,
забавно было смотреть, как они суетились,
как бегали, хватали детенышей и припасы,
фамильные драгоценности, книги, фотографии и документы.

Я даже держал одного такого в доме – этот
привязался ко мне не хуже моей собаки.

Отдали голоса
Сильному лидеру
Харизматику
Эффективному менеджеру
Теперь ходим
Разговариваем руками
Больше нечем

Ты гуляй, душа-пропойца
Третий лунный день подряд
Сам собою не построится
Вавилонский зиккурат
Чтобы синие лазурные
Прирастали кирпичом
Марсианские дежурные
Хлещут лазерным бичом

Утрамбовывая атомы
В основание земли

Шевелись, быки крылатые
Чтобы яблони цвели
Заплетай покрепче кружево,
Молодильная вода,
Похороненные заживо
Мы сильны как никогда
В треугольном свете месяца
Подпирающего свод
Все невидимое светится
Все убитое живет.

Из записок Гийома Де Боплана

Она приходит с юго-востока, с пустых соленых
равнин, над которыми дрожит раскаленный воздух,
сначала
небольшие разведывательные отряды,
потом сплошные тяжелые тучи, выпадающие на землю серым снегом,
набивается в горницы, коморы и подклети,
в постель, в миску с едой, каждый кусок
приходится очищать от нее, отправляя в рот.
свиньи, пожирая ее, жиреют, но местные
брезгуют мясом, возвращенным на этой напасти,
живым ковром покрывает землю, лошади вязнут по бабки,
шарахаются, хрипят, раздувают ноздри,
колеса давят ее с отвратительным хрустом, нестерпимая вонь, приходилось
дышать через платок, нос и рот заматывать шарфом
посредством хвостов заостренных
они сверлят в земле многочисленные отверстия,
откладывают туда яйца
числом до трехсот, морозы не страшны их потомству
выбираясь наружу, бродят
потерянно, тычутся туда-сюда, пока не окрепнут,
пока северо-западный ветер
не снесет их на погибель в Черное море.
знающие говорят, у них на крыльях
халдейскими буквами написано «Божья кара».
Говорят они тоже не по-нашему, но знающие разбирают.
Ссылаюсь на тех, кто мне это рассказывал и владеет несколькими языками.

Виталий АШИРОВ

СвГ

Роман

I

...».

Я поставил точку и откинулся в кресле. Было приятно. Очень. Подчеркиваю: очень. Чувство эйфории переполняло меня. Полтора года писал этот роман, и вот закончен. Я свободен. Я вышел гулять и смотрел на прохожих снисходительным взглядом. Они двигались то быстро, то медленно, и никто не знал, что я наконец закончил роман и теперь свободен. Я взял лапшу быстрого приготовления (подороже, за 22), чтобы отпраздновать этот прекрасный день, и представляя, как буду перечитывать, вошел в подъезд. Психически больной почтальон, что-то недовольно бурча, всовывал газеты в щели ящиков, но на меня не посмел покуситься, потому что я все-таки взрослый, а смотреть – уничижительно и зло – он может лишь на детишек, на что племянницы жаловались неоднократно. Мне было все равно. Он мне нравился. И у меня был роман. Уже двенадцатый. Одиннадцать законченных, отредактированных, лежали друг за другом в папке «мои документы» и терпеливо ждали своего часа. Конечно, им придет время. Не может не прийти. Поэтому что зачем тогда жить?

Сальников как-то сказал: «в период писательства нельзя перечитывать то, что пишешь», но я перечитываю постоянно, по сто, по двести раз, исправляя неудобное слово и выкидывая лишние местоимения. Мне нравится то, что я пишу. Все мои тексты. Все одиннадцать. Лежат и смотрят на меня с укором. Я помню их практически наизусть, могу цитировать с любого места и не ошибусь. Все эти тексты странные, неудобные, непонятные никому. Но я люблю их. Потому что зачем тогда жить?

Я запарил доширак (по правде говоря, это был не доширак, а роллтон), и немедленно открыл первую страницу романа на мониторе. И осторожно принялся перечитывать. Сначала было неплохо, потом текст проседал, проседал примерно две страницы, потом снова выравнивался, дальше до середины было неплохо, затем опять текст начинал неприятно проседать, становилось мучительно скучно, и я уже не знал, что с ним делать, и вот на сотой странице снова как-то все само собой приходило в норму, и я уже читал, расхаживая по комнате. Близилась развязка, абсурдная, страшная. Планировал выписать ее так, чтобы действовала эмоционально: как удар по голове. Удара не получилось, но слабые отголоски того, что мерещилось в задумке, все-таки звенели, и я перечитал еще раз. Норм, вроде норм.

Или не норм. Я перекинул роман на айпад и стал перечитывать с экрана, и тут все воспринималось по-другому, текст проседал не только в начале и середине. Он проседал через каждое предложение. Лишние слова, длинноты. Все резало мне. Страдая, как от зубной боли, дочитал роман

Виталий Аширов родился в 1982 году в Перми. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Публиковался в журналах «Нева», «Ното Legens», «Урал», «Крещатик», «Зеркало», на онлайн-ресурсах «Текстура», «Литература», «Полутона», «Топос» и др. Автор книги «Скорбящий киборг. Даманда Галас за пределами ультрамодернизма» («Кабинетный ученый», 2019). Лауреат премии журнала «Урал» и премии им. Людмилы Пачепской.

до конца (близился вечер), заставил себя сесть за стол и стал импульсивно, с жутким весельем, выкидывать из рукописи каждый второй абзац, лишние прилагательные и ненужные уточнения.

Отчетливо понимая, что текст становится хуже, я закончил истязание. И выглянул в форточку. На горке возились какие-то дети, я даже не стал их рассматривать – вот как был расстроен. Имелась еще электронная книга на e-ink, там, в отраженном свете, мои романы зачастую расцветали, воспринимаясь приятнее, чем на обычных экранах. Я немедленно воспользовался этой опцией и стал читать, бродя по комнате и произнося вслух отдельные удачные фразы. Определенно, после вмешательства текст стал лучше, и все-таки проседал. Я знал, он хорош – какая-нибудь букша от зависти бы позеленела, если бы увидела его – но все-таки недостаточно, чтобы автор был удовлетворен, перестал чувствовать легкое подташнивание при взгляде на собственное творение. Слишком много я в него вбухал своей жизни, чтобы вот так отступить, отложить и забыть. Слишком медленно он двигался. Ну еще бы! Еще бы он двигался быстро – я ведь осознанно пытался смешивать великого Сашу Соколова с не менее великим Набоковым, и значительно менее великим, но все же весьма любопытным и облыжно подзабытым Евгением Лапутиным. Буквально открывал тексты в разных колонках, искал точки сближения в ритмике и фонетике, и создавал, создавал своего прелестного монстра (мало кто оценит такое мое выражение, созданное специально для нового романа: ««трафили им также и трюфели»»). И это была не просто игра, а месть. Месть пошнабоковскому дискурсу. За то, что... Впрочем, никто не поймет. Неважно. Главное – удовольствие от прочтения.

Его-то как раз и не было. Тоска и скука грызли меня. И я опять скатился в депрессию. Забыл про текст, плюнул на него, махнул рукой. И погрузился в интернет, порнографию и политику, и вялую ругань на сайтах для школоты, где всяк меня опускал ниже плинтуса, потому что я говорю громко и парадоксально, но не умею ни доказывать, ни отвечать за свои слова. Неважно. Интернет все сожрет.

Через неделю я просто взял и распечатал роман для контрольного выстрела себе в голову. Чтоб торговцы не посчитали меня идиотом, поставил иностранное имя, выдуманное на скорую руку. Майк, дескать, Макьюэн. «Смотреть в глаза!» Название неудачное, но я не мог назвать иначе, поскольку оно завязано на ключевой сцене романа. Когда я вышел и уже на улице, в легкий снегопад, достал и стал читать, не разбирая дороги, меня окликнули:

– Эй! Ты, ты. Да – ты!

Кричал продавец. Первое побуждение было: бежать. Меня раскусили, сейчас будут расспрашивать: ведь это ты написал, а как написал, прямо сам написал?! а зачем поставил другое имя? И я запнулся, застыл и неуверенно пошел навстречу. Он передал мне флешку.

– Забыл?

– Забыл, – пробормотал я.

И с облегчением удалился. Дома, перечитывая роман, понял: он совершенен. Его как будто действительно написал сам Макьюэн – кто бы он ни был такой. Фразы точные, игра словами прекрасна. Местами – чистый бриллиант неземной красоты и плавности. И это я написал! Я! Неужели вот это тупое существо вот этими гнойными руками? Хотелось орать. Вот хрен кто сможет. А я смог. Букша не напишет. Куда ей. Ликование переполняло меня. Я уменьшил шрифт, поставил заглавие пожирнее. И задумался.

Нужно его реализовать. Обычно откладываю на месяц, и только перечитываю и убрав мелкие косяки, отправляю по адресам. Но этот роман прекрасен, его должен увидеть хоть кто-то, и прямо сейчас, иначе не выдержу.

Меня переполняла радость. Я достал список журналов и полночи его актуализировал, а потом плюнул на это бессмысленное занятие и отправил двойной рассылкой на все адреса (все 126!), понимая, что никакого ответа не получу (тематика своеобразная), но получу чувство удовлетворения от того, что хотя бы попытался что-то сделать. Я боролся и если пал в борьбе – что ж, такова жизнь. «Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова».

Половина из одиннадцати кое-как пристроены по разным журналам, которые читает сеньильный контингент. Зачем бабушкам читать мои фантазии? Нужна молодая аудитория, школьники, студенты. Маргиналы какие-нибудь, дурачки такие же, как я.

Книги, книги бумажные, полноформатные – вот куда я стремился и куда меня не пускал злой дух современности. В конце концов, букша какая-нибудь... какая-нибудь букша – у ней вообще не стоит вопрос издания. Ей заказывают. Она пишет. Книгу за книгой. И все довольны. Причем неважно, что в книге. И так понятно – букша. А мне нужно из кожи вон выпрыгивать, чтобы заметили. Орать, колотиться лбом. Яйца прибавить к порогу издательств. Да только я не умею.

Я человек по натуре застенчивый и мягкий. По крайней мере, всегда считал себя таковым. Но этот новый роман был настолько, по свежему авторскому впечатлению, хорош, что я пересилил себя и заново пробежался по страницам ведущих издательств. Куда он подойдет? Ответ возник сам собой – конечно, редакция Шубиной. Роман актуальный, молодежный, оригинальный. И вопросы ставит, да. Задаёт, не менжусь. Конечно, смущал элемент провокативности. Ну да, я провокатор. Нравится людей провоцировать. Куда без этого. Без эпатажа скучно. Я бы и не писал ничего, если бы в голове не возникала, с дурным хихиканьем, идея, от которой все остолбенеют. А что – разве так можно было? – спросят. И я скажу – да! Можно. И они снова остолбенеют от моей смелости.

Я шагал по комнате, рубил воздух ладонями, и представлял свое имя на обложке от Шубиной. Ведь это же сияющая вершина. Максимум современной прозы. Я тоже хочу... в конце концов... и снова букша – красивая, с микрофоном-петличкой. И вот я в студии, думалось. Сижу. Отрешен. Стопками громоздится роман. В глянцевого обложке: перевернутый ребенок, да. Несомненно.

Конечно, заикание – как с заиканием интервью давать? – спрашивал себя, и не мог ответить. Ну ведь и Самсонов не оратор, а имя у него есть. И у меня будет. Нужно действовать решительно. Резко. Раз – и всё. Придется напрямую контактировать с людьми. А людей я ненавижу и боюсь. Всех без разбору. А все-таки один раз можно, а там уже покатится. Заговорят. Узнают. Все-таки одиннадцать романов. И каждый выйдет отдельной книгой. Выйдет. И этот счастливый мой роман «Смотреть в глаза!» будет вовек благословен. И критики подтянутся. Данилкин опять же. Найдёт чего-нибудь, чего я не вкладывал. Да ведь и хорошо.

В любом случае нужно отправлять электронной почтой и писать синопсис. Синопсис я писал только один раз – и текст с ним отклонили. Сам текст-то может и неплох, да вот синопсис оттолкнул. Я их больше не пишу и писать не собираюсь. Даже ради Шубиной. Даже ради нее. Да и какой синопсис может быть, если я в романе, например, задумал передать движение воздуха между Т и Ф? Как это объяснить тупоголовой твари, которая текст принимает... синопсис, синопсис. Хренописис. Вот аннотацию – легко. Это я люблю и умею. «За фасадом жизни respectable галериста скрываются чудовища». «Богатый арт-дилер проваливается в трясину вязкого кафкианского кошмара». Тут надо подумать. Банально это. Все равно входящие письма «читает» бот, настроенный на корзину, так что неважно.

Я хотел было распечатать еще раз, без иностранного имени, но вспомнил унылые лица продавцов и твердо перечеркнул Майк Макьюэн, вписав поверх: Виталий Аширов. Вот так сойдет. Я бросился еще раз перечитывать. Финальный просмотр, так сказать. Убрал пару запятых, вычеркнул несколько частиц. Сграбастал текст, прижал к себе как ребенка, и ощущая весомость и плотность бумаги, бережно сложил в сумку.

От уральской премии осталось полторы тысячи. Я позвонил маме, и она, не вдаваясь в подробности, добавила на билеты.

Москва! Отношение у меня к ней двойственное. Иногда нравится, иногда – нет. Я там учился в институте. Любил летом бродить пыльными незнакомыми улицами. Порывы горячего ветра

били в лицо, возникая сверху, из-за поворота. Но не было детей, или их куда-то прятали, и я откровенно страдал, зато в Перми дети, дети, дети везде, есть где задержаться взглядом.

Шансов у меня не было, но просто так, бессмысленно, умирать не хотелось, хотелось смерти осмысленной, от обиды, горечи, от бурлящих эмоций, чтобы не пустота в груди, а хоть какая-то боль. Москва, Шубина и шумные станции метро мне ее дадут. Я не представлял, до какой глубины вырос, как постарел и зачах, сорок лет, сорок лет. Один мужчина в тире набрал патронов по количеству прожитых лет и расстрелял по мишеням. Последний пустил в висок. Роман давал мне эмоций больше, чем просторные залы ожидания, чем вот эта нищенка, спящая с ногами в босоножках (зимой) на лавке... и за стеклом глупые гульки с красными глазами. Я знал: он хорош. Я чувствовал: внутри все живет, переливается, кипит.

Окружающий мир вызывал скуку и легкое беспокойство, и в поезд я прошмыгнул из первых, чтобы забуриться наверх и читать. Старуха снизу возилась и шуршала. Столбы изламывались в перспективе и уплывали. Покачивало. У меня встал. В поездах всегда стоит. Замкнутое пространство, тряска. Клонило в сон, но я противился, читая про девочку-психопатку, Роду Маккормак, восьмилетняя... почему они сделали ее привлекательной? Почему она не косая дцпшница в обделанных штанах? Ради банальной игры на контрасте, конечно же. И работает.

Роман был вверху, я периодически вводил пальцы в сумку и трогал распечатку. К вечеру не выдержал, и снова начал читать, и опять нежность и красота струились, и неопределенность росла. Я нашел силы выйти в коридор, припал к морозному стеклу, и растопил дыру, и заметенные снегом деревья встали бесконечной однообразной стеной.

Прибыл ранним утром, задолго до первого солнца. Хмуро сидел в зале ожидания, разглядывая пестрый люд все больше восточной внешности. Они вели себя тихо, говорили отрывисто. И хотелось понять – хотя бы на краткий миг внезапного озарения – где дети, их дети, по моим смутным и спутанным воспоминаниям, закутанные в нелепые тряпки...

Редакцию Шубиной не нужно было гуглить, я затвердил наизусть: пресненская набережная, дом шесть, строение два.

Прилавок проездных касс отразил мое лицо, к счастью, скрытое маской, иначе я бы не выдержал и расплакался.

В метро неожиданно подумал, что я террорист. Роман трансформировался в бомбу, достаточно легкого толчка, чтобы все полетело к чертям. Время тянулось медленно. Не зная, чем заняться (до открытия два часа), я гулял по тверской, с опасением косясь на полицейские уязики, то и дело вынырывающие из машинной толчеи. И если раньше то там то сям стояли девочки в длинных не по возрасту балахонах и с двух рук раздавали рекламную чушь, то этой зимой тротуары были обыденны, темны, пустынно. Девочки, наверно, пропали туда, куда пропадают все московские дети. Растворились в колокольном гуле. Уснули.

Я качнул дверь литинститута. Она отказалась подаваться. Вход не здесь. И сам институт изменился, оброс плакатами, с него сыпались белила и штукатурка. И я видел, как выходили они – писатели и писательницы – без слов, без жестов скрывались в метро или маке. В пермском ПТУ не в пример душевнее, подумал я и улыбнулся своим беспощадным мыслям.

Редакция – дворец с колоннами, советского типа. Усатый охранник уставился на меня недоверчиво.

– Куда?

– К Шубиной, – пробормотал я.

– Кого? – поморщился он и прикрыл глаза, как бы позволяя идти.

И я побрел, не зная, в какую сторону двигаться. Людей почти не было. Только уборщица на втором этаже скоблила мраморные перила, и, заметив меня, вполголоса выругалась о чем-то своем. Я вертел головой, стараясь поймать взглядом вожаденную табличку с надписью «Шубина», Мне встречались лишь цифры, да и двери были сплошь заперты. Я пробовал поскрестись в одну, и мне вдруг ответил недовольный голос кота. Я отступил нерешительно и направился было к уборщице, уточнить свой маршрут, но она гремела ведром на первом этаже. Там караулил охран-

ник, и с ним пересекаться не хотелось. Я решил подняться, надеясь встретить еще кого-нибудь. Пространство сверху сужалось, коридоры темнели (свет не горел), я как будто попал в нежилой сектор многоквартирного дома, и со вздохом сел на старую зеленую кушетку возле кабинета без надписей. Обхватил голову руками: ждать, ждать. Кто-нибудь объявится. За огромным окном колыхались голые ветви необыкновенно высокого дерева. Они шевелились бесшумно, и я представлял, как щелкают и трещат снаружи, и как усиливается шум по мере приближения к вершине, будто по дереву ползут сотни раков и совершают быстрые хватательные движения клешнями.

Прошла женщина в заснеженном плаще, и уставив на меня вопросительный взгляд, скрылась в дальнем кабинете. Я продолжал сидеть, то решаясь, то не решаясь обратиться к ней, и когда уже дернулся встать, она высунула голову в проем.

– Иди сюда.

Я подошел. Она смотрела на меня в приотворенную дверь. Было ей лет сорок, худая, даже очень. Мелкие черные кудри.

– Давай, – сказала она и протянула руку.

Я вынул рукопись и прижал к груди.

– Это редакция Шубиной?

– Кого? – поморщилась она.

– Реакция Шубиной, – пробормотал я.

– У меня мало времени.

Женщина вцепилась в папку.

Я разжал руки. Роман переключался к ней.

– Когда ответ? – прошептал я, словно в коридоре нельзя было говорить в полный голос.

– Через три месяца, – отрезала женщина.

И я понял, что приехал напрасно.

– Я приехал из Перми, – принялся я оправдываться и давить на жалость, как и было задумано, как и было задумано.

– Сейчас приехал?

– Да.

– На поезде? – она с сомнением оглядела мою куртку.

– Да, – я еще ниже опустил голову.

– Вот прямо так-таки взял и приехал?

– Да, да.

– А что, так можно было? – рассмеялась она. – Ну да, в Перми аномальная зона. Там здоровые люди-то есть?

Я замялся.

– Ладно. Заходи, коль приехал.

В кабинете стоял полумрак, горела советская лампа на столе, заваленном рукописями. Я присел на клеенчатую лавку, как в медицинских кабинетах. Она включила чайник, и скоро он забултыхал. И все это время ходила вокруг и смотрела на меня искоса.

– Прямо взял и приехал? – наконец спросила она.

– Приехал, – повторил я неуверенно.

– Из Перми?

– Ага.

– Конфеты будешь?

– Буду.

Она подоткнула вазочку из толстого стекла.

Чай был горячий. Я смотрел в него и видел расплывающееся лицо.

– И что с тобой делать? – усмехнулась женщина.

– Не знаю, – буркнул я.

– Елена Павловна – к обеду, – раздумчиво произнесла собеседница, – только вот как ей всучить твою бумагу...

Я молчал. От ее настроения решалась моя жизнь.

– А ведь какой-то ты жалкий, – вздохнула она, – всякие приходят. Давеча наркоман из Африки... Африка это не Пермь.

– Не Пермь, – повторил я обреченно.

– Исключений мы не делаем, – произнесла она, – когда поезд обратно?

– Ночью, – сказал я.

– Сегодня ночью? – глаза собеседницы округлились от удивления.

– Да.

– И чем ты думал? Ну ладно. Что это? Роман?

Она брезгливо коснулась кончиком ногтя моей рукописи.

– Да.

Я чувствовал себя скованно, слова вываливались ватные.

– Синописис, надеюсь, имеется?

– Нет.

– В смысле? – она состроила презрительную гримасу.

– Ну нет...

– Как будут смотреть твой роман без синописиса?

– Не знаю...

– Вот и я не знаю.

Она перегнулась через стол и уставилась на меня внимательными глазами.

– Экспериментальную прозу не печатаем, – отрезала она.

– Ну там не совсем. То есть ближе к постмодернизму...

– Объяснить не можешь, – кивнула она. – Ну так а на что надеешься? Зачем из Перми приехал? Ты наркоман?

Я угрюмо молчал.

– Мы с Еленой Павловной хорошие друзья. Я покажу... Пары страничек достаточно. Надо же, из Перми приехал... Но так больше не делай. На будущее: составляй синописис и высылай свои писанины по почте. Приезжать не нужно. Двадцать первый век. Работаешь где-то?

Я пожал плечами.

– Не работаешь, – понимающе покачала она головой, – эх...

Прочла информацию на первом листе.

– ...аширов... «Смотреть в глаза!» К двум часам. 302 кабинет.

– Спасибо, – пробормотал я, чувствуя, что она сделала для меня очень важное, но не умея правильно ее поблагодарить.

– Надо же, из Перми, – фыркнула она еще раз, когда я закрывал двери.

Как будто Пермь более экзотическое место, чем Африка.

3

Четыре часа нужно было где-то валандаться. Я не решался далеко отходить от дворца, будто в таком случае и Шубина не придет, и он исчезнет, и самое книгоиздание в России провалится в тартарары. Рядом чернел сквер, я туда забурился и сидел на скамейке, считая минуты, но они тянулись медленно, и я периодически вставал, подходил ко дворцу и заглядывал в большие окна, за которыми пробуждалась жизнь, какие-то старухи сидели за допотопными печатными машинками, несмотря на то что рядом стояли компьютеры. Меня никто не видел, будто я и не существовал в этой никак не заканчивающейся зиме. Получалось приблизиться впритык, встать на цыпочки и смотреть на письменные столы, заваленные беспорядком бумаг – и неужели все это рукописи, рукописи – но это были не рукописи, а финансовые или хозяйственные отчеты, и старухи кла-

цали так сильно, что, казалось, сквозь двойную раму я слышу щелчки клавиш, хотя я ничего не слышал, кроме монотонного завывания ветра. Вдруг одна меня заметила. Я не стал дожидаться, пока она изменится в лице, и бросился за угол, к подвалам, где окна еще чернели, и мне захотелось посмотреть в комнату с выключенным светом – там может быть совсем иное пространство. Снег здесь был значительно ниже, я не мог дотянуться до карнизов, но так отчаянно прыгал и царапал пальцами холодную сталь, что меня услышал дворник, и появившись точно из ниоткуда, махнул метлой и гаркнул:

– Эй!

Я сделал вид, что прогуливаюсь мимо, а потом юркнул в арку и побежал. За мной никто не следовал. Я встал, согнулся, уперев руки в колени, и долго не мог отдышаться. Дворник наверняка меня запомнил.

Я решил вернуться к двум, а до этого совершить рейд по магазинам, тем более в Москве они были похожи на сокровищницы великих царей.

Чувствуя себя изгнанным правителем, я возвращался в светлые глубины моих владений, где пахло копченой колбасой и духами, и выныривали из невероятных тупичков какие-то девочки с глупыми мамами, в нарядных плащах, и этот московский типаж был таким удачным, что я на мгновение забыл, зачем тут очутился, и бросив случайный взгляд в зеркальную колонну, увидел: мой рот перекошен в улыбке. Мне не хватало меча и лат: повалить беспомощную на пол, поставить на грудь ногу и прокричать в разноцветный купол бесконечного зала что-нибудь бессвязное и злое. Снял шапку, ладонью причесал волосы. Несмотря на то что я мылся перед поездкой, они жирно лоснились и не укладывались ровно. Но это не имело значения. Со всех сторон доносился гул сотен голосов, то ослабевал, то усиливался, в нем сливались возрастные и половые особенности, было невозможно его охарактеризовать как форму, я мог только двигаться внутри колеблющихся структур и, как в детстве, зажимать и открывать уши, изменяя высоту и густоту звуков.

Если гулу придать четкую артикуляцию, что скажет он?

Разверстый, ячеистый, что он скажет Шубиной?

Я не мог представить его в виде существа, сидящего перед Еленой Павловной, а вот она наверняка могла бы, и даже сумеет наладить с ним контакт, думал я, продвигаясь мимо полок и вешалок в какое-то невообразимое сердце магазина, где товары усиливали друг друга, как маленькие солнца, и роскошь преобразалось в предельную простоту, а потом меня выпихнули в боковую дверь на улицу.

Глотнул морозный воздух, поежился. Небо плотно заложило тучами, но было светло. Всюду лежал снег и сыпал порывами, попадая за шиворот.

Я возвращался к дворцу, нарочито шагая по дальним улочкам, чтобы протянуть время. Здание таяло в плотной снежной завесе, и проступало болезненной желтизной, и опять заволакивалось. Было удивительно тихо. Ветер ворчал отдаленно, бесшумно вились снежные скрутки, бесшумно двигались автомобили, медленно брели прохожие, унося свои тайны в темные полости подъездов. И я никак не мог заставить себя отправиться во дворец, упорно сворачивал с дороги, доходил до ворот на какие-то охраняемые территории, жался там как голодная собака, и меня гнали, и я смотрел на часы, и вздыхал, и шел уже обреченно, на ватных ногах. Времени оставалось все меньше, резиденция Шубиной все ближе, и вот я стучал ботинками по ступенькам, чтобы отряхнуть налипший снег. Промаяхнул пролеты трех этажей и нерешительно поскребся в дверь с табличкой 302. Нет ответа. Надавил на ручку, дверь поддалась. Раздался взрыв смеха. Несколько женщин сидели на столах и что-то бурно обсуждали.

– Закрой! – раздраженно сказала женщина.

Опять захихикали, не обращая на меня внимания. Я пожал плечами и вернулся к зеленой кушетке. Значит, вызовут.

Но меня не вызвали. Через полчаса из кабинета вышли дамы, заперли его на ключ и, все так же хихикая, унеслись вниз. Я просидел еще полчаса, посматривая на часы, и направился к кабинету 302, на мгновение подумав, что там кто-нибудь остался, и у него тоже есть ключ. Шубина...

Она так увлечена моим романом, что ее никто не заметил, и она сидит в углу, склонившись над рукописью, время от времени покачивает головой и цокает, и представляет то, что представляла я, когда писал, и все эти девочки, весь ужас этот, собираются в одно целое, и обретают смысл, цвет, голос. Я прислонил ухо к двери и прислушался к разнородному гулу, в нем чудились шепоты и клацанья клавиш, и тихие шаги, и еще что-то непонятное, вдруг кто-то отчетливо сказал «да, да!» – и опять бурление, и что-то скреблось, будто зверь упал в прорубь и, еще не понимая смертельной опасности, щелкал по льду когтями. Затем я понял: звуки неслись отовсюду – с нижних этажей, из других комнат, с улицы, и смешивались, и дверь выступала как бы увеличительным стеклом для моего чуткого уха. Я постучал и побрел обратно.

Утром здесь царила почти полная тишина, а теперь взад и вперед носились люди с папками. Больше было, конечно, женщин. Иногда из комнат, выходили, озираясь, худые бородатые старики, и тоже несли папки. К женщинам я подходить не решался, но старики не вызывали у меня страха, и я, пристроившись сзади, спросил одного:

– Как найти Елену Павловну?

– Кого? – переспросил он.

– Шубину.

Он взял меня под руку и потянул за собой. Мы окунулись в потоки людей, он двигался уверенно, заворачивал и спускался, я покорно плелся рядом. Мой вожатый не сказал ни слова до тех пор, пока мы не вошли в тесное помещение с одним дряхлым столом и табуретом. На подоконнике дрых черно-белый кот и даже не пошевелился при нашем появлении.

– Как зовут?

– Виталик.

– Виталик, значит. А я Андрей Петрович.

Мы пожали руки.

– Значит, Виталик, – смакуя мое имя, повторил собеседник, – ви-тали-к.

...

– Пишешь что-то?

– Мне бы Елену Павловну...

– Да погоди с Еленой, – отмахнулся старик, – научное пишешь? Или так?

– Так, – надулся я.

– Сколько тебе? Двадцать пять? Я в твои годы диссертацию написал. А защитил...

Кот недовольно ударил хвостом в стекло.

– ...в тридцать.

– Сорок мне.

– И все балуешься этой, – старик сделал вид, что вспоминает слово, – прозой?

– Да.

– Про что сочиняешь? Как жить в России плохо? – он подмигнул и осклабил, показав пустой рот, – или про гномов?

– Разное.

– Разное-заразное. Почему ученые труды не пишешь?

– Тупой потому что.

Старик крикнул от восторга и весело спросил:

– Зачем тебе Шубина? У Елены Павловны туалетной бумаги навалом.

– Мое дело, – зло ответил я.

Старик начинал выводить меня из терпения.

– А старших уважаешь?

– Ну.

– Послушаешь меня?

– Ну...

– Вот прямо сейчас запихай свою рукопись в урну и беги отсюда, чтоб пятки сверкали.

– Ладно, пойду, – вяло пробормотал я.

Вышел в коридор, но тотчас сунул голову в прощел:

– Как найти Шубину?

– 302 кабинет, – недовольно ответил он.

– Но я там был, и вы были... ее нет.

– Она там, – поморщился старик. – 302-й кабинет большой, у него несколько входов, посередине перегородка.

– Как найти нужный? Здесь много кабинетов с табличкой 302?

– Только один, – терпеливо пояснил он, – остальные без табличек. Сам найдешь? Или за ручку отвести?

– Сам, сам.

Я поспешил вверх, даже позабыв сказать спасибо. Да и не хотел с ним общаться или прощаться, он казался чудаковатым и не менее больным, чем дворник. Еще немного пообщаясь с ним, его хворь перелетит на меня, и я действительно растопчу свою рукопись, хотя она достойна, чтобы как минимум один сведущий человек с ней ознакомился. И красиво послал меня ко всем чертям.

4

Искать долго не пришлось. Я настолько замучился и обнаглел, что стал без стука врваться в случайные кабинеты без табличек, благо их было немного. И в одном действительно увидел Шубину. Я сразу ее узнал. Столько смотрел с ней интервью, что запомнил все облики. Она была в самом распространенном. Седые волосы уложены карэ, светлый пиджак, брючки. Руки свободно лежат на столе, пальцы в перстнях постукивают. Она была погружена в себя, и мне пришлось несколько раз позвать – хотя я говорил тише обычного – прежде чем Шубина ощутила мое присутствие. Выражение ее лица было испуганное, будто ворвался вор или того хуже, она стала приподниматься, слегка прикрываясь плечом от моего бесцеремонного взгляда, и что-то беззвучно прошептала.

– Елена Павловна, – говорил я, – вам передали мою рукопись.

– Ничего не передавали, – отрезала она.

– Я Аширов.

Она сразу села. Усмехнулась. Пригладила волосы. И уже уставилась насмешливо и одновременно вопрошающе.

– Ну иди сюда, Аширов.

Я подошел и зачем-то поклонился.

– Зачем ты кланяешься? – спросила она, – ты идиот?

– Нет. То есть да...

От страха я запутался.

– Нет – то есть да, – повторила она, покачивая головой.

Я стоял ровно, как деревянный болванчик, и старался не дышать, чтобы не рассердить ее.

Согнувшись, она полезла в столешницу, вытащила мой роман и швырнула на стол.

– Твое?

– Мое, – закивал я.

– И что с этим делать?

– А вы посмотрели? – осмелился я спросить.

– Посмотрела.

Я облизал пересохшие губы.

– И что с этим делать? – снова спросила Шубина.

В словах ее не звучал упрек или отказ, поэтому я осмелел.

– Вот... напечатать.

Она прищурилась.

– Много вас таких ходит. Знаешь сколько?

– Сколько?

– Сто человек в день. У меня тут что – печатня?

Я пожал плечами.

– Посмотрела, Аширов, твой роман, – после длинного молчания повторила она, – посмотрела. Более того – прочитала.

Я приосанился. Хрена себе – прочитала!

– Нашла его любопытным. Талантливым. Это определенно не графомания. Если, конечно, тебе интересен взгляд с этой точки зрения.

Я покраснел как вареный рак.

– Чувство слова, стиля. Некоторые фразы даже выписала. «Трафили им также и трюфели». Знаешь, очень... и Сашу Соколова напоминает, и вообще...

Я смущенно уставился в пол.

– Любишь Соколова?

– Ну так.

– Ну так... единственное замечание, скорее, уточнение... ты, видимо, живешь эстетикой 90-х, начала нулевых. Когда, ну знаешь, темы разные непопулярные поднимались. Вот твой роман о чем?

– О богатом галеристе, – попробовал я свернуть в сторону.

– Про педофила он, – устало произнесла Шубина, – и про антиутопическое общество, в котором единственное развлечение после тяжелых трудовых будней – детская порнография. И ты мне предлагаешь это напечатать. В 2022 году.

– Ну... – я понес чушь, – это скорей метафора, а не ради просто, ну чтобы...

Она поморщилась.

– Метафора чего?

– Жизни и смерти, – ляпнул я первое, что пришло на язык, – в нашей стране.

– Странная метафора. Хорошо, положим метафора. А вообще – зачем тебе педофилизм этот?

Неужели нельзя как-то иначе было выразить свою идею?

– Подумал, будет оригинально.

– Конечно, оригинально. Ты извращенец?

Она посмотрела на меня без тени обвинения. Так смотрят на покрытый налетом комнатный кактус.

– Нет! – громко произнес я, подался вперед и прижал руку к груди.

– Жаль, – кивнула она, – скандал полезен для раскрутки.

– Значит...

– Ничего не значит, – отрезала Шубина, – печатать не будем.

И я понял, нужно защищать свое творение.

– Но он взлетит. Обязательно взлетит! Вот вы напечатали Сальникова, а там совсем черт-те что написано, и ничего, и взлетело, и в Италии переводы, и кино по нему сняли, и в Каннах... и педофил там есть!

– Сальников – особый случай.

– А я? Разве я плохо пишу?

– Да нет, – она всмотрелась в мое обезумевшее лицо, – пишешь неплохо. Но...

– Но?

– В принципе, – она откинулась на стуле и стала перечислять, – все есть: слог, ритм, композиция. И все же не хватает...

– Чего?

– Зёмю, – резко сказала она.

– Это как?

- А вот так. Зёмю не хватает.
- А у Сальникова есть?
- О, в избытке.
- А у Яхиной?
- И у нее.
- А у Селукова?

Мне вспомнился пермский прозаик, к которому я испытывал сильнейшую зависть и подсознательную ненависть.

- Навалом.
 - А у меня нет?
 - Нет.
 - Совсем?
 - Ну ты же видишь? – она потрянула листами моей рукописи.
 - А что это такое? – тихо произнес я.
- Она уставилась на меня как идиота.
- Это я должна у тебя спрашивать, что это такое.
 - А если я это зёмю, – с трудом произнес я, выворачивая язык, – найду – напечатаете?
 - С огромным удовольствием, – серьезно ответила Шубина.

5

Я уезжал хоть и с подрубленными, но все-таки с крыльями.

Я вспоминал наш диалог. Слова звенели и резонировали с моей странной радостью. Меня, по сути, отбрили, но ведь дали надежду. Надежду дали. «Очень». «И вообще». Без пяти минут классик ехал на верхней полке. Людишки копошились, елки тянулись. Что за зёмю такое? – гадал я. Метафора? Иносказание? Жаргон? Исковерканное французское слово, означающее дар (zeimou)? А может быть, старушка выжила из ума? Или я ослышался и она сказала что-то типа «зима». Действительно, зима... Миллионы вариантов вертелись передо мной. И все-таки я отчетливо слышал: зёмю. И перетряхивая перед сном рукопись, смотрел на нее волком. Где ты, зёмю? У Сальникова, у Селукова... А у Букши, интересно, есть? Но далась мне эта букша.

Я вернулся не уничтоженный и не униженный. Деятельный, бодрый. Размышляя над тем, как достать немного зёмю, первым делом подумал про Селукова. Его книги, превозмогая себя, я читал несколько раз, и меня передергивало от отвращения. В чем там проявлялось зёмю, я понять не мог. Быт унылой пермской гопоты был от меня далек как микенская эпоха. Да и весь сусальный, расхристаный облик автора – раскаявшегося арестанта, наркомана, женатика, выводил меня из себя.

Произнеси: Селуков. Перед глазами возникнет человечек с гаечным ключом, встопорченными волосами, острый на язык, готовый чуть что с размаху ударить каламбуром, ну, и конечно, раздавить с тобой стопарик-другой, смачно проклиная правительство и превознося голые прелести соседки по общежитию. Его книги я бы сжигал прилюдно. А ведь у него взлетело. И у меня взлетит. Взлетит! Вырву у него зёмю, хоть придется поработать кулаками. Из мозга выгрызу.

Я надеялся встретить Селукова в маршрутках: в засаленном пальто после работы на каком-нибудь предприятии

про
ле
тар
ки.

Прожив в Перми сорок лет, я не знал, что у нас в городе есть пролетарка. Теперь знаю. Спасибо тебе!

Чутье меня обмануло, в маршрутках Селуков не ездил, или я плохо наблюдал за пассажирами. Не ездил он и в трамваях. Не было его и в холодном з/т автобусе. И ни разу на улицах пролетарки я не увидел никого, хотя бы отдаленного похожего на Селукова. Неуловимый писатель, он где-то скрывался от меня, трясся над своим зёмю в подвалах, нырял в него как скрудж макдак в золото.

На стенде политехнического университета я увидел объявление: ...состоится открытый семинар по теме «Абелева симметрия плюккерова вложения: кольцо когомологий грассманиана». Лектором значился некто Селуков П. В.

Простой человек с пролетарки.

Я говорил себе – обознался, обман зрения, трюк, перформанс, но когда в зале из-за кулисы вышел тот самый Селуков и четким, хорошо поставленным голосом принялся пояснять студентам мехмата за когомологии, я оторопел. Не понимая половины слов из лекции, я тем не менее досидел до конца и восхитился – какие умные студенты пошли! Не только задавали вопросы, но и дополняли, и приводили примеры, забредая в области невероятные. И Селуков – высокий лоб, казалось, набух знаниями – Селуков был неторопливым, пронизательным, снисходительным – каким угодно, только не мыслящим гопником с пролетарки, нарисованным в книгах. Его так премии изменили, подумал я. Не может быть настолько разным человек. Про его прозу здесь, кажется, никто не знал, все интересовались математическими функциями, поэтому, когда я ради росписи протянул зачитанного «Убить Тарковского», он приятно удивился и долго жал мне руку. Пожатие было нежным, и на ладони отсутствовали грубые следы работы на вахтовых стройках.

– Почему «Убить Тарковского»? «Добыть» – звучало бы лучше.

– Так и хотел назвать, – ответил Селуков, – да передумал. «Убить» сильнее, чем «добыть». А разницы нет.

Разницы нет, подумал я, говорит загадками.

– Тогда может быть – добыть? – предложил я вариант, включающий в себя тонкий баланс между двумя упомянутыми.

– «Добыть Тарковского», – задумался Селуков, – а ведь это... гениально.

Я скромно потупился.

– Ну да, надо же что-то с ним делать, – пробормотал я.

– Изменю, – сказал он, – в переизданиях. В шестом или в девятом...

– А если: «В кровавую кашу измолотить Тарковского», – злобно буркнул я.

– Перебор, мой друг, перебор, – вещал он, когда мы шли по заснеженным улицам пролетарки.

Все-таки он выходил иногда и на них. Опускался до уровня смертных. Двигался как простой человек. Две руки, две ноги. Ширк-ширк. Туда-сюда. И след оставлял такой же неясный, заметаемый. И ведь мало кто догадывался, что рядом идет Селуков. Дышит одним воздухом с нами. Я выгнул шею, чтобы вдохнуть воздух с его стороны. Ничего особенного, хотя какой-то аромат есть. Исподволь нахваливая книгу, я приближался к зёмю, но все-таки не мог отважиться спросить напрямую. Мы обсудили книгооборот, издательское дело, творческий кризис. Наконец он произнес:

– Сам-то пишешь?

– Нет, – в ужасе помотал я головой.

Он скривился.

– По глазам вижу – пишешь.

– А что с ними?

– Бегают.

Я закрыл глаза, чтобы не разбегались.

И прошептал:

– В когомологиях грассманиана настоящей литературы больше, чем во всей современной прозе.

– А то! – подмигнул Селуков, – так и есть. Но когомологии медийным не сделают, а проза делает.

– А зачем медийность?
– Деньги, девушки. Виталий, ты тупой? – произнес он и стал похожим на своего быковатого персонажа.

– Тупой, – пробормотал я.
– Дай угадаю, про что пишешь, – задумался Селуков, – про гномов или про то, как в России плохо жить?

Я не стал отнекиваться. Ему лучше оставаться в неведении. Еще убьет меня.

– Про гномов. Иногда про то, как плохо жить... Вообще, ты большинство современных текстов описал.

Селуков довольно крикнул, показав золотой зуб.

– И у меня не хватает зёмя, – признался я.

Он смутился и пошел быстрее, засунув глубже руки в карманы.

– Я тут причем? – буркнул он.

– Зёмю, – повторил я, – зёмю.

Он обогнал меня и все ускорял шаг.

– Зёмю, – я побежал за ним, – зёмю.

– Отстань, – остановился вдруг Селуков, – что ты за мной как собачка идешь.

– Дай немного зёмю, – выдохнул я, ужасаясь своей наглости.

И только сейчас увидел, какие у него печальные глаза. Как у греческого бога, лишенного милости.

Он решительно отказал. Я не отставал и канючил.

– Нет у меня.

– Знаю, что есть.

– Да кто тебе сказал!? – выкрикнул он.

Нас обдало фарами.

*В снегопаде
их свет
похож на расплавленный металл,
жидкое серебро.*

– Шубина, шубина, – зашептал я как бы помимо моей воли.

Его словно застали врасплох. Снял очки (был в толстых очках), протер.

– Шубина, убина, шубина, убина – нашептывая, приближался я.

– Шубина, убина, – заворуженно повторил он и попятился.

Мы очутились на дороге. Мимо нас, сияя, носились автомобили.

– Немного, – повторил я, – на одну рукопись.

– Только на одну, – резко произнес он и зашагал в темноту.

Я едва успевал за ним.

– Значит, РЕШка, – раздумчиво говорил Селуков. – Как же ты добрался до нее...

– Взял и приехал.

– Ой, дурак.

Прозаик выглядел виноватым.

– А у тебя много?

– Хватит на сотню писателей, – кивнул он. – Добывал по крупичкам. Воровал. Выпрашивал. Покупал за бешеные деньги. Кто-то дарил. У Букши, у Валитова...

– Даже у букши? – восторженно спросил я.

Он продолжал, не слушая меня.

– У Козлова, у Серебрякова, у Снегирева, Гутина, Лобанова и Леутина... Я сразу понял механизм.

- Какой механизм?
- Когомологии зёмю, – он посмотрел сквозь меня.

В очках отразилась витрина. И я подумал: что-то типа астрологии, гадания на книгах. Он при-
вел меня в гараж, стоящий на отшибе старого гаражного кооператива. На пригорке открывался
беспросветно черный вид на Пермь. Внутрь Селуков меня не пустил, но в щель я видел: зажег
свет, отпахнул дверцу люка, скрылся внизу. Через пять минут, тяжело отдуваясь, выкарабкался.
Осмотревшись, всучил полиэтиленовый пакет с темной субстанцией.

- Насыпать на каждую страницу рукописи, – проинструктировал, – на каждую. Чтоб как сло-
еный пирог была. В таком виде подать Шубиной.
- Настоящее зёмю? – зачем-то спросил я.
- Самое настоящее, – уверил он.

Мы распрощались. Я прижал пакет к груди, и уже не думая о жалком писателишке, побежал
домой, порываясь то на остановке, то в салоне автобуса раскрыть пакет, и сдерживаясь до подь-
езда, и там-то раскрыл, высыпал на ладонь. Черная масса, похожая на землю, и все-таки не земля.
Глаз не мог найти явных отличий, но подсознательно разница ощущалась еще как. И блестело
иначе и пахло так же – да не так. Рыхлая грязная масса легко дробилась до мелкого состояния,
и, разламывая кусочки, я мыслил: принадлежал букши, а теперь – мой! Мой! Дома разложил ли-
сты романа и между ними насыпал мелкий слой зёмю. Селуков рассчитал правильно. Как только
крайний лист заполнился, содержимое пакета кончилось. Осторожно упаковать в папку на резин-
ке – отъезд завтра – не мешкать, не тушеваться! Мир наш! Трепещите! Аширов идет!

Селуков пожалеет, что помог мне. И вообще неясно, почему он это сделал, для чего ему кон-
куренты и знает ли он, как важно зёмю в книгоиздании? Все он знает, но почему не послал меня
на три буквы? Испугался, что могу задушить? Я мог. Или тут другое? Что-то непонятное, черное
вертелось на языке, не желало оформиться в отчетливую идею. Заснул, не расправив эту мысль до
конца, и во сне Селуков меня душил половой тряпкой – мыслью как бы расправленной до детской
прямоты.

6

Шубина недоверчиво уставилась на меня и потянула к себе папку. Не вчитываясь в слова,
она пальцем зачерпнула зёмю и понюхала. Лизнула. Снова испытующий взгляд. И полезла в сто-
лешницу, выудила лупу и несколько минут вглядывалась, откладывая листы и с каждого снимая
образец черной массы.

- Это зёмю, – наконец произнесла она.
- Я молчал.
- Восемь тысяч четыреста пятнадцать, – что-то прикинув, сказала Шубина.
- Что – восемь тысяч? – спросил я.
- Гонорар. Стандартный. Взлетит – будем увеличивать. Пока так.
- Значит...
- Значит, – улыбнулась она, – конечно, значит. С таким отборным зёмю и не напечатать –
преступление! Где взял-то? Впрочем, неважно. Мое дело заключить с тобой договор.

Во мне вдруг запели соловьи и откуда-то из темноты выплыло солнце.

- Типовой договор, – бормотала она, роясь в ящике.

Не в силах сдержаться, я заходил по кабинету. Конечно, полностью я не осознавал того, что
произошло, хотя и предугадывал итог моего путешествия, когда лежал на полке и считал моно-
тонные деревья, и какими-то уже стеклянными глазами провожал рокошующий мир. Она буднично
шуршала бумагами, буднично дала на подпись, и я моментально подмахнул. Сначала, конечно,
прочитал, но буквы прыгали и не собирались в осмысленные параграфы. Я понимал отдельные
бюрократические выражения: «настоящим зафиксировано», «в соответствии с упомянутым», и
черкнул подпись быстро, боясь, что договор растает как кусок льда. Все происходило взаправду.

Шубина долго говорила со мной, обсуждала перспективы, живописала возможности, поздравляла, нахваливала. На робкое предложение издать все одиннадцать романов резонно заметила: по результатам продаж вот этой маленькой бомбы. Я смотрел на свой роман, густо усыпанный зёмю, и ликовал.

Ликование не прекратилось и неделю спустя. Я вернулся и обошел низкую, пустую Пермь уже столичным писателем, с ленцой, расхлябанностью в движении колен. Мне было стыдно и смешно, и очень жарко, будто внутри что-то горело, и обычные люди – не писатели – как призраки проплывали сквозь меня, не умея задержаться на секунду в моей возвышенной, умасленной душе. Я смотрел на дом и думал: что мне дом. Я смотрел на бабу и думал: что мне баба. Я проходил мимо опасных подростков и бледных девочек в пестрых куртках, – и ничего, ничего. Я сделался шире всего, только Кама, как плесенью покрытая перистым ледком, соответствовала моей натуре. Я выходил к берегу и усмехался. Белая, белая река, сверкающие километры снега и льда.

Шубина была вершиной айсберга, и как все вершины, самоустраивалась, оставив меня на попечение менеджеров и агентов, и основание было настолько большим, что я даже на первых порах понял: бессмысленно интересоваться его протяженностью, со всех сторон меня атаковали книжные сотрудники, и чем дольше работали над моей рукописью невидимые издательские силы, тем больше от меня требовалось усилий – подписью дело не ограничилось. Я перестал быть человеком и превратился в продукт.

Особенно назойливой и, видимо, важной была худая дама без возраста, с сиплым прокуреным голосом. Лилия Фейерман. Сперва ограничивалась указаниями по электронной почте, потом заставила приехать в Москву для участия в фотосессии и прочего.

В столице я не казался себе таким значительным, сдулся, увял, порывался вернуться назад, но гостиница была забронирована, и хотя мрачный номер сочился тревогой, я провел там неделю, отлучаясь на встречи, где выглядел полным болваном, потому что ничего не умел сказать, не знал, как говорить и что, и все эти люди – наверно, писатели или приближенные – понимали – со мной что-то не так, и тоже молчали, уходили в себя и на вечерние улицы, и пропадали в огнях, и Фейерман суетливо звонила и ловко щебетала по-английски, ее деревянные серьги качались в такт разговора.

О Букше я почти не думал, ведь я теперь сам гораздо больше ее, я был в центре, был центром. Иногда визуализировал ее на московских улицах. В моем воображении ты не походила на писательницу – сутулая бабенка с потухшими глазами. Хотелось похлопать по плечу, сказать: такие дела, такие дела.

Дела развертывались порой неудобные. Фейерман настаивала, чтобы я сделал фотосессию, намекая на то, что это первый шаг из кучи запланированных. Но я не вышел рожей и не любил фотографов, и до последнего отнекивался, пока она не начала мягко угрожать разными местами в контракте, и в красках описывать гениальную фотографиню, которая уже отметилась снимками Сальникова и теперь ждала меня.

Я лежал в номере и читал какую-то чушь, потому что не мог не читать, Фейерман застала меня врасплох, времени нет, лопотала она, там причешут, умоют, лопотала она, подталкивая к выходу.

В такси осознал: сижу в светлых спортивных штанах, не предназначенных для хождения по улицам, и пах желтый от вьевшейся мочи. Чтобы спутница не заметила, прикрылся локтем, и на улице неловко – ладонью. В огромной фешенебельной студии среди зеркал начался бесконечный стыд, описывать который нет ни малейшего желания... Фотографиня поправляла мои руки, норовившие спуститься на защиту паха от бесцеремонных соглядатаев, и пальцы опять возвращались, и она с такой поспешностью и фривольностью управляла моим податливым и ватыным телом, что я думал – может быть и не видно ничего при этих желтых лампах, и все-таки видно было все, потому что через неделю пришли фотографии – с ладонями или вовсе кадрированные так, что в кадре маячила лишь голова, а что она – элитный фотограф российских звезд – подумала про меня – я предположить не мог и не хотел. Забыть и рваться дальше. Маленькое желтое пятно не помешает карьере.

На самом деле я отчаянно противился всем этим «связям с общественностью», этой клоунаде, но знал: через нее нужно пройти. РЕШка просчетов не делает, я должен выстрелить, и выстрелить наповал. Не умея говорить прилюдно, отчасти из-за небольшого заикания (Сорокин тоже заикается, утешался я), а скорей всего потому, что был аутистом и дурачком, я дал пробное интервью угрюмому дядьке (явно хотел убежать домой и хорошо отоспаться), бубнил, не в силах воспроизвести заранее записанные ответы, и с третьего дубля все-таки попал в точку, и был вознагражден коротким: окей.

Все эти люди любили модные англицизмы. Кейсы и кринжи витали вокруг меня, и я презрительно кривился, потому что любил и люблю чистую русскую речь, хотя что это такое, никто не знает, и все равно кривился, и забуриваясь в номер, тоскливо смотрел на заметенные снегом тополя, и внизу никогда не бегали девочки, потому что зима отвергла их.

Первые этапы, мыслил я, а уж потом пересоберу реальность под свои запросы. Я смирился с аутичным «хождением в народ», но попытки РЕШки «поработать» с моей рукописью приводили в ужас. Текст я потерял, в силах редакции изменить и фабулу и заглавие, целиком переписать роман, так что от него останется какая-нибудь куцая запятая на сорок второй странице. Фейерман предложила на выбор несколько заглавий, тем более диких, что они выставляли сюжет в призрачном свете параллельного мира. «Детский трах», «Оргазм педофила»... Я разразился отпоедью. Никакого траха там нет! Мне возразили, что решать буду не я, а руководство, в конце концов мне сделали одолжение, показали рабочие варианты, бо уважают меня и мое мнение. Оно было окончательным: «Смотреть в глаза!». Пока остановимся на «Смотреть в глаза прокурора!» – выдала Фейерман, – в процессе будет ясно. И я не знал, смеяться или плакать, и все-таки смеялся, понимая, что в любую минуту мой роман может превратиться в «детский трах» (почему трах? Из каких словарей дебильных слов они его выкопали?). Мои гладкие, но уклончивые аннотации отвергли с ходу («Богатый арт-дилер проваливается в трясину вязкого кафкианского кошмара»), заявив, что я ничего не понимаю в человеческой психологии, продающий текст писать нужно смачно, точно. «Педофил внезапно обнаруживает, что у него нет члена. И никогда не было». Парадокс. Удар по мозгам. Иначе читатель пропустит. А обязательно про оргазмы? – плакался я. Обязательно, отрезала Фейерман. Моя глупая фея... «Новый роман Виталия Аширова – изысканный каталог сексуальных извращений кастрата, среди которых лидирует педофилия». Почему новый? – поражался я, тайне надеясь на одиннадцать книг. Никто не проверит, отмахнулась она. «Безупречный стилист воткнул перо в отхожее место, достал сверкающие нечистоты и обмалался ими, чтобы представить читателю самый безумный и сексуально извращенный роман нашей педофилической эпохи». А обязательно это... – ныл я. Да, да. Я с ужасом глядел на то, что происходит – и ничего не мог сделать. Конечно, в романе было и то и сё, и девочки, и все-таки не так я писал, на извращения не замахивался, решал скромные языковые задачи, и порнограф из меня, честное слово, никакой. Я с трепетом ждал финальной вычитки, и уже мыслил отказаться от нее – потому что ничего не исправлю, только расстроюсь, однако удивился тому знаменательному факту, что никаких правок в текст не внесли. Он был девственно чист, даже запятые стояли на своих местах, и я не знал, радоваться или огорчаться, ведь все уже катилось со свистом с какой-то безумной горы – так продолжай, катись...

Продукт делали из меня, текст был лишь приятным бонусом к имени, и собственной ценностью не обладал – пиши про сварочные аппараты, про сорта чая – подготовленный народ примет на ура.

Несмотря на то, что до выпуска оставались месяцы, уже писались рецензии – работала бригада расторопных агентов. С версткой познакомилась Галина Юзевич, и за немислимую сумму, за десять миллионов, говорят, давно сочинила оду моей книжке, и я был счастлив и несчастлив как беременная фря. Под меня предварительно одобрили серию «Извращенность», хотя я протестовал и доказывал: этот роман единственный можно – с большой натяжкой – назвать извращенным, остальные совсем другие. Но агентов было не унять, мне недвусмысленно сообщили, что нужно соответствовать, трудиться. Я уже видел, как сажусь за роман про зоофилию, про некро-

филию, и заранее накрывало смертельной тоской. Не хочу, не хочу. В затаенных мечтах маячила повесть про мма, рукопашный бой, вот это все – придется отложить ради черт знает чего.

И все-таки надувался от гордости. Вот уже и серия... а там... что было там, я не знал. Но подзуживал себя, подзадоривал, гуляя по книжным и как крыс из клеток вытаскивая книги современных писателей. Рубанов? Ха. А это кто? Какой-то Водолазкин. Скоро все узнают про меня, заговорят – с презрением или с придыханием. И так же кто-нибудь пройдет, задержится взглядом за корешок: а это кто? Аширов? Что-то слышал, хвалили. И в метро, в маршрутке – в чтение, оно будет нелегким, мой друг, но не спешу бросать, в финале ждет награда наград. Читателя своего я не представлял, да и вообще писал для себя, кому еще могут быть нужны мои бредни. Зато читателя отлично представляли менеджеры, и с фантазией у них все было в порядке.

С обложкой дизайнеры не церемонились – выкатили с десятков эскизов, из которых я, скрипя зубами, отобрал менее мерзкий – спящий ребенок, и над ним ножом замахнулась рука в черной перчатке. Были с тюремной решеткой, с червями («черви – символ морального разложения»), попался даже зомби с автоганом, палящий в небо, и я уже не стал спрашивать, какое отношение он имеет к моей работе, потому что сам понял: пули – дурные мысли...

Хотя на самом деле они, видимо, достали черновые обложки старых книг, и мне не повезло столкнуться с творчеством иллюстратора жанровой литературы. Мой вариант, забракованный изначально, конечно, не соответствовал высоким стандартам взыскательной публики. Да я уже смотрел на ситуацию отстраненно, будто все происходит не со мной, а с дядей Васей, и начинал получать удовольствие от суеты и, обманывая себя, делал вид, что ничего не жду от запуска текста в реальность, и ждал, и предвкушал, и потирал руки, и беспрестанно ходил по узкой балконной панели, и не видел пестрой сутолоки внизу, и все думал – о чем попоало, о смутных радостях писателя, и обновлял сайт РЕШки, где, наконец, появилась моя книга.

Обложка и аннотация были такими, что мне стало жарко, я хмыкнул, и опять обновил в смешной надежде, что – изменятся.

Оставались недели. Подогревая публику в социальных сетях, агенты выбрасывали опросы о моей книге, тесты, дискуссии, и они уже все обсудили, судя по бодрым и самоуверенным откликам – народу было ясно, я для него был прозрачен как горная река, они ждали заказов, и уже ставили мою книгу в какие-то «челленджи», сравнивали меня с маркизом де Садом и Сорокиным, и это было нежно и страшно, и я тихо улыбался, и отсчитывал не дни – часы, пугаясь самого себя, необходимости куда-то ходить, встречаться. В один миг захотел на полгода заснуть и пережить события, лавиной несущиеся на меня, но провел бессонную ночь.

7

Когда книга вышла, я лежал в постели и размышлял над странным двустушием, что приснилось недавно:

*господь придет с пустыми руками
и рук раскинутых не виден крест над вами*

Бог-инвалид и нескрещенный крест наводили на мысли о туманной философии, доступной сновидцам. Удручал тот факт, что приснилось двустушие, а не целое стихотворение – оно обещало неевклидовы перспективы... И сам стал неевклидовым, прочитав сообщения от Фейерман и агентов. Меня поздравляли. Я себя сухо поздравил и возле зеркала убедился, что не такой и урод, можно и нужно выйти на улицу и за авторскими экземплярами захватить как бы нехотя, в конце трипа по окраинам, хотя к черту трипы...

На такси добрался до офиса, получил двадцать книжек в твердой обложке, упакованных в плотный картон – все-таки стремительно в наши дни развивается полиграфия, – и укатил в номер, и все откладывал священнодействие, то смотрел на них искося, то шупал картон, то проно-

сился мимо, мельком мысля: а это мои книги. Мои. А потом с дрожью в локтях разорвал бечевку, в ладонь выскользнула яркая красная книжка. «Смотреть в глаза!» Я удивился, что оставили мой вариант названия, но это была, верно, единственная уступка моей унылости и депрессии – на обложке нож и дите, внутри красноречивая аннотация, на обороте рекомендации от Сальникова: «Потрясающе смешное чтение от мастера смешанных стилевых единоборств», и Букши: «в нашу литературу с черного хода ворвался писатель-наглец и сделал большую кучу увлекательного чтения». Какой идиот писал эти отзывы (еще и про мою букшу подслушал), я не знал, но очень сильно хотел бы набить ему морду, – конечно, С. и Б. книгу не видели. И все-таки снова и снова перечитывал, содрогаясь от непостижимого веселья, и шупал и подносил ребром к лицу, то небрежно пролистывал, то принимался нюхать, и химический запах был поэтичнее аромата нарциссов, и зачем-то раскрывал все двадцать, будто надеялся в другом экземпляре увидеть другое – и действительно видел, все они были индивидуальны в каком-то высшем смысле, и до утра читал, наслаждаясь музыкой моей фразы, и как-то буднично произносил: «а ведь я написал!», и принимал вид благодушного автора, и не мог заснуть, и все-таки спал без снов – и заново играть с красными, в одинаковых обложках, и заново переживать сюжет и концовку, которая становилась удачнее, ударнее, и только потом позволил себе принимать звонки и прогулялся до Монетки, купил мажителя – надо же отпраздновать, но по-настоящему отпраздновал ночью, как и планировал – онанизмом.

И вот я писатель... и стал я писателем... Букша, интересно, видела новый лот РЕШки? Но его не видел почти никто, или не запустили нужную кампанию – интернет хранил молчание, будто и нет на сайте моей книги в рекомендациях, активность в комментариях утасла, будто пока никому не приказали говорить, и на книжных полках фаланстера не было – а я ходил, проверял...

Фейерман затаилась, и само издательство застыло, но внутренняя работа шла – грянуло неожиданно, и еще как грянуло, на Горьком, на главной – обширная статья, автор Галина Юзефович:

*Сыр с плесенью
о дебютном романе Виталия Аширова «Смотреть в глаза!»,*

На Урале живет юноша Виталий, который, как и подобает молодым мятущимся душам, открывает для себя мир литературы. Он серьезно торчит на лит-ре, посаженный на этот вид зависимости в раннем отрочестве, и борется за нормальную жизнь. Но, как известно, старые зависимости столь же цепки, как и старые любви. Но тссс! Сюжет нельзя пересказать, не рискуя выдать его фантазматическую структуру.

Это классическая история подростковой инициации, перехода во взрослый мир через боль, страх, потерю, предательство и символическую смерть. В целом «Смотреть в глаза!» – проза о жестких границах допустимого обществом и о том, как сложно в эти границы вписаться.

Текст Аширова построен по законам абсурдистской пьесы – нарушается привычная зрителю/читателю логика. Едва читатель настроился воспринимать ее в таком ключе – происходит резкий перелом сюжета и из абсурдистской пьесы становится текстом о вечном: о любви, предназначении, жизни и смерти. Ирония же заключается в том, что столь внезапный поворот тоже оказывается своего рода нарушением привычной логики.

Роман-парабола с каждой страницей наращивает не только сюжетные, но и смысловые пласты – тоже «этажи», уходящие вниз, граница между фантазией и реальностью рушится, и совмещение-наложение двух пластов – реального и фантастического – как раз и формирует главную особенность романа.

Затягивающая жутковатая проза Аширова заставляет вспомнить и о Кафке, и о Сологубе, и даже иногда о Мамлееве – но у него собственный голос, не похожий ни на какой другой. В этой книге задувают экзистенциальные сквозняки, а из каждой складки языка лезет какая-нибудь чертовщина – так писал бы Дэвид Линч, если бы он был молодым русским писателем.

Несмотря на то, что большую часть своей непродолжительной жизни Аширов боролся с депрессией и маниакальным стремлением к самоубийству, «Смотреть в глаза!» звучит довольно жизнеутверждающе. Все жизненные трагедии его герои воспринимают как должное, без драматизма, с быстрым эффектом привыкания, словно дети. Более того, он всегда транслирует действительно ужасные вещи сквозь призму юмора. Аширов использует «шоковую терапию», и ему удаётся вызывать у читателя безумное отращение, удивление, оцепенение, но затем он будто меняет среду обитания и приводит аудиторию в чувство, хотя нельзя сказать, что он из тех авторов, которые заботятся о читателе и том, что онный читатель подумает. Его эмоциональная незащищённость выливается в аллегории, скрывающие депрессию, жуткую Тьму, порождающую потрясающий символизм, раскрывающий психологические проблемы автора, героев и всех людей в принципе. Роман Аширова отвечает на незаданный вопрос – возможен ли символизм сегодня? Возможен ли он не как застывшая форма, а как нечто живое, современное, открывающее? Ответ этот – утвердительный.

Парадоксально, но полный виртуозных литературных конструкций роман по своей сути не архитектурен, то есть не создан по заранее продуманной схеме для красоты формы. Текст создан, что называется, не головой, а взглядом. И в этом, наверно, смысл названия.

О философской подоплеке романа можно говорить долго, но не стоит упускать из виду, что «Смотреть в глаза!», помимо всего прочего, чертовски увлекательное чтение. Что, признаться, сегодня встретишь нечасто.

Рассказывать об оптических иллюзиях и нарративных ловушках этого романа все равно, что описывать изобретательные чудо-здания на гравюрах Маурица Эшера – без соприкосновения с оригиналом должный эффект не передаваем. Блуждая среди тропов обезглавливания, ветвящейся символики inferнального быка, нарастающего звука, извлеченного из преображенных слов, вдруг натыкаешься на тень Лавкрафта, на реминисценцию к эссе Вальтера Бенъмина, а то и вовсе падаешь в Театр памяти Джулио Камилло. Линейное время закольцовывается с мифическим, замедляется и бежит вспять, и потом искривляется, уподобляясь ленте Мёбиуса, когда взрослые видят в растерянных детях фантомы собственных судеб. Стоит привыкнуть к ходу повествования, как автор тут же взрывает текст изнутри очередным монтажным трюком на радость призраку Уильяма Берроуза.

И вместе с тем Аширов однозначно современный прозаик, не архаичный, устремлённый в пространство развития языка. Об этом говорит и круг тем (внешняя политика, влияние коронавируса на культуру, судьбы интеллигенции), и подключение актуальной лексики, например, «билайн» появляется здесь не сам по себе, а явно как приём, как поколенческое слово-маркер, и что ещё важнее, порыв автора, он не просто говорит о сегодняшнем дне, а рвётся его очертить – и очерчивает.

По таким произведениям, как «Смотреть в глаза!», хорошо диагностировать литературный дух современности – если авторы не отворачиваются от сложных, порой неоднозначных персонажей и готовы встать на сторону Другого, значит не в такое уж равнодушное время мы живем и человечность еще не вытеснена сомнительным суррогатом.

Стоит отметить широкий стилистический, как, впрочем, и тематический, диапазон автора, его умение владеть разными инструментами и говорить разными голосами (в нём как будто несколько различно устроенных прозаиков с разными оптиками!). Это редкое и ценное качество. Что в романе по-настоящему хорошо – так это описание интимного, духовного процесса зарождения текстов внутри литератора. Видно, что Аширов не понаслышке знает, о чем пишет.

С писательскими навыками у Аширова все в порядке, но ценны те моменты, когда автор отпускает себя, забывает, что он именно автор, и проговаривает то, что изначально не собирался говорить, и то, что ему не надиктовала культурная традиция. В этом плане самым удачным местом в романе мне видится экзистенциально напряженная финальная сцена.

Все люди разные, поэтому для кого-то «Смотреть в глаза!» станет удивительным открытием, а кому-то будет совсем непонятен. В таком деле наперед ничего не известно, не попробуешь – не

узнаешь. Но есть очень важное обстоятельство. Читатель заглянет в душу автору без его на то разрешения.

Аширов при жизни не закончил роман, а его разрозненные и пронумерованные части завещал жечь и развеять по ветру. Нельзя доверять такие поручения лучшим друзьям, а особенно почитателям таланта. Мало того, что не послушали, еще и по всему Уралу распространили.

Для тех, кто слышит о сложности этой книги, но хочет прочитать – не так страшен черт, как его малюют. Для тех, кто прочел и не оценил, или бросил, не дочитав – не беда, каждому своё, это достаточно специфическое произведение. Не все же любят, допустим, сыр с плесенью.

Символизм?! Сыр с плесенью?! Статья была обтекаема, беспощадно комплиментарна. Не знаю, отработала ли ГЮ свои десять миллионов, но я перечитал раз пять, с горечью убеждаясь, что подобный текст подойдет к любому роману, написанному в нашем веке. ГЮ не заморочилась над одой, и угостила нас болванками из закровов (или какой-нибудь болван тестировал нейросеть), не упомянув девочек – оно и к лучшему! – может быть испугалась, или, вероятнее, не читала. Страхи пропали, когда я увидел, что статья привлекает внимание – репосты, ссылки... Таинственный механизм социальной инженерии приходил в движение.

Будут и другие отзывы, трепетал я. Я весь стал глаз. Я погрузился в сеть. Я кликал и обновлял лайвлиб и лабиринт, я гулил и чертыхался, я сидел на страничке у букши в надежде, что репостнет или оставит отзыв. Букша хранила молчание. Сальников тоже. Высокомерные! Я уже на равных с ними, я лучше, я... – и ничего. В молчании писателей звучало презрение, меня так и подмывало спросить у Фейерман – почему? Но к ней обратиться не мог – чувствовал, нарушу некую этику.

Нужно было подождать. Сначала как из рога изобилия потекли рецензии livelib. Я, читатель возбужденный, восторженный, не мог предположить, что отрицательные отзывы повергнут меня в состояние, не испытанное мной доселе, как если бы я был богом, и сотни солнц, зажженных мною, враз погасил какой-то смертный. (И странное дело, в случае с отрицательными не ощущалась разница между теми, кто пишет – светоч литературного бомонда или анонимный девятиклассник.) На глаза продолжали навертываться слезы, и я спрашивал у невидимого интеллектуала, продвинутого в такие области, куда мне не попасть никогда – за что ты меня ненавидишь, я не врвался в твой дом, не насиловал твоих детей, я просто написал книжку, и он повторял слово в слово свое проклятие. Возможно, тайной целью отрицательных отзывов было доведение меня до самоубийства – я был близок – и даже положительные 77% не могли перекрыть токсичную мерзость этих фи да фу. Я не мог о них не думать и находил резоны в каждом уничижительном абзаце: да, не справился, не умею, поспешил, меня не должно быть, я никто, недоразумение, и как будто слыша мои всхлипы, рецензент вкрадчиво говорил: «Не дави на жалость, манипулятор». И каркал в ухо: «Графоман! Графоман!» И это самое страшное слово для меня – не характеристика, не оскорбление, а неизлечимая болезнь. Я догадывался, что не все отзывы писались людьми. Боты действовали по заданным правилам, соблюдая сценарий Фейерман и ее свиты, но проверить догадки не мог, и правил игры не понимал, и все-таки не верил в ботов, и вздрагивал, читая (рецензии разнились по накалу страстей – от разгромных до слегка пощипывающих):

Постмодернизм здорового человека и постмодернизм курильщика

Попался мне в глаза пост Елены Сафроновой с приглашением на познакомиться с текстом Виталия Аширова «Смотреть в глаза!». И я прочитал, благо что там чтения-то повести на два часа неспешного хода глазами. Прочитал и подумал, что в российской литературе есть всё же два типа постмодернизма (см. заглавие заметки).

Постмодернизм здорового человека – это, конечно, в первую очередь Владимир Георгиевич Соколин. Как бы ни относились к товарищу, но практически каждый текст его советского периода – это последовательная идейная деконструкция самой разной мифологии СССР (литературной,

партийной, бытовой и т.д.). Он, если хотите, заложил основы постмодернистского канона, которые, к слову, после распада СССР размылись постепенно и в его текстах – неслучайно же романы нулевых по форме представляют фантастические и сатирические формы практически по классике этих жанров (ну, там сохраняются, конечно, местами элементы деконструкции, но это такая личная дань фирменному же стилю, виньетки на манжетах).

Постмодернизм курильщика – это чистой воды эпигонство, основанное исключительно на заимствовании приёмов и методов сркн-стайла. Вот что из себя представляет повесть Аширова? Это набор сваленных в кучу стилистических словесных игр на основе всего корпуса прочитанных автором текстов вокруг одного-единственного фант-допущения (озабоченное голыми детьми общество будущего). Всё, больше ничего. Зачем текст написан, какая тут идея, к чему автор трудился лапками по клавиатуре – вообще непонятно.

Сорри, конечно, я филфаков этих ваших не заканчивал, но, как человек постоянно что-то пишущий, на интуитивном уровне догадываюсь, что у любого, даже самого малюсенького текста, малейшей подводки к статье, должна быть идея. Идея рождает текст, нет идеи – нет текста. Это аксиома. А реферативный постмодернизм в стиле «потому что могу, а чому бы и нет, собственно?» – это не текст, а студенческое упражнение в аудитории на парте маркером, состоящее из трёх исключительно русских букв.

Никакой идеи не было. Сел вечером, начал писать... и писал, писал. На другой день продолжил. А метафоры и прочее – придумал постфактум. Ты совершенно прав. Текст не то чтобы плохой, он ни о чем. Бессмысленные упражнения. Сочинять такое можно (и нужно), показывать людям – нельзя. А уж публиковать – неприлично! Но если за сорок лет жизни я идей не озабочился, что-то со мной не так. Врожденная дебилность. И все же дебилы не страдают, а я все понимаю и страдаю сам от себя и своих дебилных упражнений... Прости меня, пожалуйста, Феликс Хорват! – выдумывал я письменные обращения к неведомым рецензентам, и сквозь натянутый сарказм в них проступали нервозность и замешательство.

Леночка Фукс:

Роман «Смотреть в глаза!» написан как поток сознания – без четкого сюжета.

Текст похож на бред шизофреника. Формально бред посвящен фантазмагорическим приключениям некоего богатого галериста, на деле сюжет изливается на читателя мутным потоком слов, иногда связанных, а временами и почти не связанных друг с другом. Автор честно предупреждает в названии романа, что читателю предстоит посмотреть в глаза собственной скуке, но чтение Виталия Аширова все равно станет испытанием. Пройдет ли читатель это испытание? Зависит от того, насколько он готов читать триста страниц бормотания и наслаждаться следующими строками:

«Трафили им также и трюфели»

Автор отлично понимает, что читателю будет непросто. В середине романа он утешает его: «потерпи еще немного». Чтение романа не столько чтение, сколько действительно претерпевание. Может, кому-то удастся отыскать в этом потоке глубину или пузырьки смеха, всем остальным пловцам придется ждать финальной сцены, которая появится как долгожданный спасательный круг.

Я виноват перед тобой! Я плохо складываю слова и не умею повествование сделать художественным, хотя хочу, очень хочу. Я хочу, чтобы ты всегда улыбалась, и не грустила, вспоминая минуты, когда тебе попался мой злосчастный текст, который мучал тебя долгими часами скуловоротной скуки. Мне самому читать его почему-то не скучно. Это, наверно, оттого, что я автор и привык к нему, а люди с непривычки будут страдать. Сходи в театр! В цирк! На коней посмотри! Господи, в мире много хорошего, а тебя угораздило попасть на мой поганый роман! Сходи в кино с подругой! Пусть минует тебя моя проза!

К положительным рецензиям относился подозрительно, прозревал атаку ботов, скудоумие, троллинг – не может мое чтиво нравиться (бездарность блестяще доказали разгромные отзывы) – и перечитывал по несколько раз, разочарованно подмечая, что они почти все как под копирку, зато негативные обладали разнообразием и как будто индивидуальностью. Не бот, не бот их писал, а живые люди, но я находился в ирреальности, потому что, обновляя страницу ежедневно, видел прибавление отзыва, и не мог поверить в чудесную силу социального менеджмента РЕШКИ, и читал как читают стихи, громко, с придыханием, отмечая тошнотное сходство в лексике и структуре, и потом в откликах элиты нашел те же самые совпадения, только они обыкновенно заморачивались более подробным пересказом сюжета и ярым козырянием известными именами, но вернуться к лайвлибу и с иным чувством перечитать – не мог, не хотел.

Мне нравилось, что люди пишут: Аширов, у Аширова, для Аширова, об Аширове... Виталий, Виталию... Виталию Аширову... И это было удивительным образом в головах у тысячи (да бог с ним, пусть ботов – и все-таки людей), и они как-то сосуществовали с моей книгой, моим образом, ходили по делам, на работу, размышляли – что в романе так и не так, передавали знакомым – «а вот там у Аширова...» «как у Аширова», «похоже на Аширова», и я силился их увидеть, моих бесчисленных носителей – упасть на колени, облобызать ботинки – но они растворялись в толпах, оставляя призрачный след в виде рецензий, и ему-то я ничего не мог сказать. Некоторые приятные мадригалы заучил наизусть, не полностью относя к тексту, считая щелью параллельного, паралитературного мира. В книжных – еще не наступила эпоха презентаций – внимательно следил за ловкими руками любителей современной прозы, и книга – она была вынесена, выделена – непременно попадала к ним, ее трогали, обсуждали и покупали так редко, что хотелось самому взять и всучить – бесплатно, читайте, только читайте.

Циркуляция моего овеществленного образа набирала обороты, особенно после коротких презентаций, где мне приходилось – в отстиранном и выглаженном – сидеть и панически бояться всех этих доброжелательных людей, пришедших от скуки или поглазеть на фрика. Я принимал облик писателя рассеянного, замкнутого, но сыплющего парадоксами – так решила Фейерман и иже с ней – образ был смоделирован в какой-то маковской программе, и он «идеально вам подходит, идеальнейше». Идиотом себя чувствовал, когда по сценарию на потеху журналистам в разговоре с подставным лицом рожал плоские шутки, сочиненные не иначе как младшим братиком Фейерман... И потом на Горьком они появлялись в карикатурном виде, и обо мне опять зашептались в соцсетях, но уже не по наказке, не по накрутке, а как-то сами собой, незнакомые люди, читатели, и бомонд не остался в стороне.

8

Но я ушел в сторону от рецензий. Вот она, галерея поношений и панегириков.

Недавно открыла для себя прекрасного писателя Виталия Аширова. Теперь читаю по порядку все его тексты из Журнального зала <ссылка удалена модератором>. «Смотреть в глаза!» – вещь особая. В книгу проваливаешься, как под лед на озере, и знаешь, что умрешь, но какое удивительное наслаждение погружаться в это нечеловечески красивое и сильное пространство. Сюжет пересказывать нет смысла, потому что в любом пересказе столько спойлеров, разрушающих удовольствие от текста, что я лучше уберегу бедных читателей, чем потом буду бегать от них, разъяренных! Нет, он совсем не про педофилию. Если вы подумали об этом. Совсем-совсем. Каждый найдет в романе что-то свое, и каждый насладится замечательным языком. Как стилист, Аширов вполне способен соперничать с Сашей Соколовым. А в чем-то даже опережает его. Если вы, как и я, способны получать удовольствие от фраз типа: «трафили им также и трюфели», если вы не ханжа и не консерватор, если в вас горит огонь беспрестанного поиска чего-то нового, если вы устали от однотипных и скучных премиальных романов, «Смотреть в глаза!» приятно удивит вас. Не пропускать ни в коем случае!

*

Автор явно задался целью срастить стили Набокова и Соколова, буквально кожей ощущаешь взаимообмен микроуровней, языковых микрорегистров. Это похоже на ботанический опыт – настолько органично получается. Лихо закрученный сюжет, если я верно понял, вытекает из сновидения главного героя, в котором он в чем-то провинился перед маленькой девочкой. Несмотря на слезные мольбы о прощении, она не прощает его. Мир сна кардинально отличается от мира, где существует ГГ – мрачное патриархальное общество будущего. Мы узнаем, что девочки как таковые, после разных вирусных пертурбаций, перестали рождаться, (даже облик их прочно забылся и зыбился), и служат предметом многочисленных фантазий и домыслов. По мере развития сюжета, фантазии обретают эротический характер. Начиная с данного момента, текст плавно разрушается, скрупулезно выстроенный мир ГГ превращается в кошмар, дробится, крошится вплоть до финальной сцены, настолько эмоционально мощного аккорда, что его нужно пережить каждому – хотя бы для развития, для понимания, куда добралась современная проза. «Смотреть в глаза!» несомненно вершинный ее образец!

*

Гарри Калишвили живет в мире снов и неясностей, недомолвок и запретов. Он клон, как и все граждане дивного нового мира. У него нет половых органов, нет даже центра в мозгу, отвечающего за сексуальное возбуждение. Однако он парадоксально заиклен на порнографических изображениях с детьми (и это не последний парадокс от автора), считая свою страсть всего лишь профессиональным интересом галериста. Когда в Башне правителя рождается настоящая девочка, ГГ теряет всякий интерес к картинам и ждет удобного момента, чтобы ее увидеть... Роман-лабиринт. Роман-сновидение. Роман-тайна – и разгадка пощекочет нервы самому искушенному любителю шоковой и постмодернистской литературы.

*

Виталий Аширов написал сложное, многослойное произведение, рассчитанное на интеллектуальную элиту. Странно, что издатель массового чтения позволяет себе такие вольности – но это Шубина, она может)) Бестселлером роман не станет по очевидным причинам, однако продвинутым людям, которые знакомы с такими понятиями как интертекст, паралипсис, когомология... будет близок-с. Не вздумайте подступать к тексту с обывательскими представлениями о романной структуре! Не вздумайте открывать книгу в надежде извлечь обывательский смысл! Если вам незнакомы имена Батая, Барта, Сартра... – бегите прочь! Если не читали Роб-Грийе, Бютора, Пенже, Рикарду – не покупайте! Высшее образование не поможет. Я, филолог с научной степенью, и то запутался в этом лабиринте. И буду блуждать долго. Надеюсь, не выберусь никогда... (в предвкушении дизлайков от быдла-с)

Иной положительный отзыв, впрочем, был хуже отрицательного:

Роман «Смотреть в глаза!» посоветовал товарищ по форуму. Сначала я отнесся к СвГ скептически, потому что не верил в то, что в наше время могут (как говорил товарищ) публиковать смелые тематические высказывания. И роман превзошел все мои ожидания. Автор откровенно рассказал о том, что мучает нас, показал, что мы – люди, а не чудовища, дал однозначно понять, что любая любовь имеет право на существование, если в ее основе лежит искреннее чувство. Это новый виток в борьбе за наши права! Доказательство того, что сообщество активно работает над популяризацией темы, ее продвижением в широкие массы. Борьбы предстоит много, но политический, а теперь и художественный активизм вселяет надежду на успех.

Жму автору руку и приглашаю посетить форум <ссылка удалена модератором>, если, конечно, ты уже не сидишь там под анонимным ником.

*

Чевой-та эту ересь так фпаривают? Фпаривают и не могут астонавицца. Почетюнькала и чевота плохо. Думала ынтересное што, а потом када суть да дело – фсплакнула. Аффттар ина-тажный школьник на гармонах. Рыцетт: бромү ф попку и в пастельку. Фключать пездни Визбора пака Виталег не уснет.

*

Я поставила одну звезду, меньше, к сожалению, нельзя. Это не роман, а похотливая фантазия полоумного педофила. Я была удивлена, что уважаемое мною издательство Шубиной соблаговолило выпустить в свет эту мерзость. Многие в отзывах прикрываются «интеллектуализмом», типа быдлу не понять, но либо они тролли, либо такие же извращенцы как автор. Что может быть интеллектуального в сцене изнасилования ребенка? Это ризома, остранение или метабола? Все намного проще. Это уголовная статья. Тираж изъять. В редакции провести кадровые перестановки. Автора проверить и наказать по закону. Такое попускать нельзя. Особенно в наше время.

*

Полностью согласна с предыдущей рецензией. Аширов – моральный урод, лечись!!!

*

Очень неоднозначное впечатление произвел роман. С одной стороны тонкий, изящный язык, отсылающий к лучшим образцам русской прозы, с другой – сомнительное, неприятное содержание. Сложно сказать, на кого он рассчитан. На каких-то социопатов. Но тогда, спрашивается, зачем выпускать в престижном издательстве? Для подобных опытов есть всякие лимбахи... Ридеро, в конце концов (не уверен, что пропустит тамошняя цензура). Все же надеюсь, Шубина поработает с автором, внушит ему правильные установки и следующий роман будет более конвенциональным, добрым и без насилия. Его и так слишком много в мире. И тогда пять звезд гарантировано. А пока только две.

*

Книга не заслуживает полноценного обзора. Поэтому коротко. «Смотреть в глаза!» – классический образец шубинской прозы. Здесь плохо все. Начиная от личности автора (на интервью выглядит как шизофреник после глубокого **шуба**, речь бедная и бледная, гримасничает, напуган. Человек явно нездоров психически, каким бы толстым слоем грима его лицо не покрывали), заканчивая типичным либеральным заигрыванием с лгбт и прочей педофилией. Ну и конечно, стандартное для птенцов Шубиной неумение в русский язык, композицию, персонажей... А других туда и не берут. Полюбуйтесь на словесные трюфели молодого дарования: «трафили им также и трюфели», «лазурь урюмой умбры», «столкнулась на стол». Аширов, зауглите, пожалуйста, что такое «трафить». Лазурь и умбра два разных цвета. А несостыковка надежных окончаний – это даже не первый класс, а детсад для дефективных детей.

Сейчас педофилия – а дальше что будет модно в кулуарах РЕШки? Животных сношать? Аширов, вы готовы?

*

Книгу брали в качестве подарка бабушке. На тот момент стоила 736 рублей 40 копеек. Деньги для нас немаленькие. Но потом в глаза dedu смотреть было невозможно от стыда. Он дочитать не смог – хотя он у нас очень современный и таких андеграундных авторов как Акунин проглатывает на ура! – но тут пошлость и озабоченность в каждом абзаце. Зачем это печатать? Что дает эта книга? Я сама роман полистала и с ходу нашла несколько отвратительных половых сцен с малень-

ким ребенком. Мне было мерзко, и настроение испортилось. Неужели такие люди как Аширов существуют? Зачем он такое пишет? Наверно, он сам больной и свою болезнь на всех выплескивает, я не знаю. Но уж точно никому не посоветую «Смотреть в глаза!» Вывод я сделала следующий: выбирать тщательней и не ориентироваться на зазывные рекламные объявления.

*

Мало света, одна тьма. Мелькнет лучик надежды и тут же гаснет. В романе Аширова нет Бога и властвует черт. Святая книга говорит: «бо азе ицех во крузе Его ащо це полах», то есть встань на рассвете, приди в Святой храм, ударься в пол, поведай священнику печаль свою, и станет легче. В романе тяжело дышать, нет воздуха, только черная земля. Она давит на грудь. Святая книга говорит: «бо разе вацех во друзе Его ище по целах», то есть поцелуй крест, прими Спасителя – и отступит ночь. Нет людей дурных, есть те, кто не принял Господа. Не губите душу, прощу вас...

*

ВНИМАНИЕ: «Смотреть в глаза!» ПОПАДАЕТ ПОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ ПОРНОГРАФИИ, А ИМЕННО УК РФ СТАТЬЯ 242.1.

ЦИТАТА:

Под материалами и предметами с порнографическими изображениями несовершеннолетних в настоящей статье понимаются материалы и предметы, содержащие любое изображение или **описание в сексуальных целях**.

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ ОТ ДВУХ ДО ВОСЬМИ ЛЕТ!!!

ПРОСЬБА НЕ ОСТАВАТЬСЯ РАВНОДУШНЫМ! СЕГОДНЯ ОН ПОРНОГРАФИЮ ПИШЕТ, ЗАВТРА ТВОЕГО РЕБЕНКА ИЗНАСИЛУЕТ!

ПОДПИШИ ПЕТИЦИЮ: <http://www.change.org/p/генеральному-прокурору-рф-требуем-возбудить-уголовное-дело-в-отношении-Аширова-ВД> <отредактировано модератором>

9

В панике нагуглил статью и с облегчением нашел пункт о том, что художественные произведения априори не считаются порнографическими. А у меня художественное! Яркие выраженные достоинства так и прут. И метафоры сочатся. И метонимии. «Очень... И вообще». Уверенность держалась на волоске и не принесла покоя, я сидел, обхватив голову, и думал: какие-то уроды готовы посадить меня и черт знает за что, за то что книжку написал. Обычно за такое хвалят, в крайнем случае бьют по морде – но решетка не входила в мои планы. Я выступаю за свободу! Петицию, к счастью, народ подписывать не спешил, отметились четыре человека. Я тревожился, ждал негатива, а потом плюнул и забыл.

(Шумиху с отзывами несомненно генерировали всем отделом РЕШки, а призывы меня посадить явно исходили от хихикающей Фейерман.)

Дел было невпроворот. Фейерман звонила так часто, что угадывал ее звонок еще до того, как он совершался. Хвалила продажи, требовала пойти и выступить, и я шел, выступал, но прежде всего фея озабочилась моим гардеробом, который, по ее словам, не тянул на писательский – и вообще не тянул... «Дранные обноски», обмолвилась она, и я молча согласился. В бутике выбирали форменную писательскую одежду. Старался не смотреть на цены, и все-таки увидел, и на мое недоумение она усмехнулась: «свои люди – сочтемся». Деньги для нее не являлись проблемой. Или для издательского фонда, откуда она их черпала. У меня появился костюм-тройка, модный клетчатый свитер с узким горлом, лакированные ботинки, хрустящие рубашки, мне подарили даже массивные механические часы, но я сразу отказался их носить – и было сделано первое послабление – зато золотой перстень надевал на каждую встречу с читателями, и еще толстые очки, превращавшие меня в ботаника (я им никогда не был), и таскал с собой пожилой макбук – неперменный атрибут современного писателя – куда время от времени делал таинственные (для

читателя) записи: беспорядочно щелкал по иконкам – нравилась плавная анимация сворачивания и разворачивания.

Мы посещали выставки. Вернисажи. Были на концертах классической музыки, я сидел в самых дорогих ложах – тебя должны заметить, говорила Фейерман, приметить, иметь в виду.

– Да кто?

– Нужные люди.

Этот цирк раздражал и смешил, в том числе попытки создать мне социальные сети. Ярый ненавистник интернет-общения, я открыто презирал лицемерную идею соцсетей и с удовольствием удавил бы идиота, который сие придумал, но редакция вела за меня фейсбук и твиттер, инстаграм и тик-ток, хитроумно распределяя между ними информационные ресурсы обо мне.

Вконтакте – неплатежеспособный контингент, сделаем фанатскую группу, пускай фанатеют.

Инстаграмм, по сути, магазин – пустим рекламу.

Фейсбук – связи с полезными и влиятельными людьми.

Твиттер – дань духу времени, нельзя быть модным и не постить в твиттер.

И так далее. Я особо и не хотел быть модным, меня туда силком тащили. Но послушно ходил на фотосессии и больше не допускал досадных промахов, был с иголочки, с обстриженной бородкой, напомаженными волосами. Уходу за моим телом Фейерман посвятила долгие месяцы, заставляла делать косметические процедуры, наносить маски, чтобы кожа лица перестала быть бледной, как у одутловатого трупа, выполнять упражнения в фитнес-центре – я впервые за годы расслабился, распластавшись на гремющих механизмах.

С писателями меня не знакомили, я был как будто не совсем еще писатель, мог испортить высокую компанию чужеродностью своего присутствия, зато активно водили на интервью, где я тараторил без бумажки, и даже заикание отступило (или сработали логопедические тренировки), и уже начинал получать удовольствие от внимания журналистов, впрочем, наигранного, и все равно эта игра тешила самолюбие – меня расспрашивают! Меня уговаривают! Со мной разговаривают! Со мной!

Я часто отступал от сценария, говорил резкие, и еще более парадоксальные (чем предписано) вещи, прослав эксцентриком, и Фейерман одобрительно пожимала мне плечо – растешь, Аширов, только не перегибай палку.

В библиотеках я наблюдал чинных старушек и медлительных старичков, реже приходили неуспешные и завистливые писатели из молодых (не признавались – по глазам видел), и читал безобидные отрывки, невыразительно, вяло, и было видно, что всем скучно и тоскливо, и они сидят лишь потому что так положено – или потому – что дома еще тоскливей – и можно вживую взглянуть на того, чья реклама там и сям всплывает в сети, а в Нижнем Новгороде – аж на билборде возле книжного, что меня перед собой возвышало чрезвычайно.

В 18.00 встреча с Виталием Ашировым, автором нашумевшего бестселлера (приврали) «Смотришь в глаза!». В 19.00 вечер с Виталием Ашировым.

Пермский прозаик делится творческими секретами. Пермский писатель посетил сыроварню. В планах уральского литератора... Нам удалось поговорить с Виталием Ашировым...

Пермская газета Искра написала обо мне настолько елеиную статью, что читать было неловко. С опозданием отозвался и Данилкин. В рецензии на ряд книг (опубликованной, кстати, в Новом мире!) упомянул и мою дурочку: «Яркая и умная проза Аширова относится к тем текстам, к которым периодически возвращаешься, потому что мучит мысль – все ли правильно понял, нет ли бокового ответвления, скрытой пружины, внутренней рифмы – и они находятся, и как в чудесном калейдоскопе меняют структуру при каждом перечитывании».

Спасибо я сказал ему позже, при личной встрече, и он посмотрел мне в глаза как-то уклончиво.

Валерия Пустовая ворвалась в критику (после длительного отсутствия) с длинной запутанной статьей о моей книге. О СвГ говорила немного, в основном о метареализме, о том, что это направление не сплошь мертво, как зряшно манифестируют. Не чурается литературных слож-

ностей, анжамбеманов и паралипсисов, растет из тематики распада, и тв-во А-ва лучший тому пример.

Борис Кутенков специально для портала Литерратура выпустил заметку, где поругал меня за чрезмерную увлеченность словесным эстетизмом, но отдал должное тому, что книга получилась захватывающей. «С чем и поздравляем автора! Сильный, уверенный голос в сочетании с бритвенно-лезвийным анализом перверсий – то, чего не хватало актуальной русской прозе».

Кропотливая работа приносила плоды – книгу раскупали стремительно, словно читатели не пресытились, не наигрались, или начались новые девяностые... И я еще не успел понять, что такое конференции, как я себя там чувствую, – поступили предложения сняться в ток-шоу в качестве приглашенного эксперта.

Я устался в зеркало – этот откормленный молодой боров определенно не я, но ему есть чем гордиться. В конце концов – достиг. Заработал. Почему бы и нет, почему бы и нет. Фейерман намекала: пора писать следующую книгу. Я робко сказал: одиннадцать в заначке. Издать одну за другой... Она колебалась и все же приняла архив, не уточнив, когда будет вердикт.

На ток-шоу была привычная работа по сценарию – прописывались истеричные возгласы из «зрительного зала», визгливые вопли защитников нравственности и бурные потасовки. Я получил немногословную роль мудрого, пожившего человека, – тема, кстати, поднималась «Беременная в 12 лет от собственного отца: норма или отклонение?» – и должен был дать положительный комментарий, ссылаясь на древнюю Грецию, киников, Японию и уголовный кодекс Таиланда, что мне удалось сделать легко и непринужденно, я даже ни разу не улыбнулся, хотя так и подмывало заржать. На меня бросился с кулаками известный правозащитник. По сценарию его оттащили, и я устался под хлипкие и редкие аплодисменты сторонников «моей» точки зрения.

Я не удивился, когда позвонила Шубина и сказала: тираж кончается, выпускаем еще, гонорар – триста. В сорок раз подняли, буднично подумал я и молниеносно отреагировал: шестьсот. Шубина, опасаясь, что попрошу миллион (будет вынуждена дать), согласилась и положила трубку. Шестьсот тысяч, буднично размышлял я над тем, куда кучу денег девать. А не поехать ли в Камбоджу, мелькнула мысль, там бывают... Очень. И вообще. Но боюсь обмана, подлогов, столкновений с полицией, невыносимая кутерьма, тюрьма... Лопочущий диалект, грязь. Шестьсот – мало, на самом деле (думал я, который никогда не работал и мог прожить месяц на двести рублей) не хватит. Явятся миллионы, съезжу...

Идея крупных денег меня (в отличие от Фейерман) не будоражила, я получал стократ большее удовлетворение, если читал отзывы или видел молодую девушку с моей книгой в сумке, слышал упоминание обо мне в утренних новостях. В кровь впрыскивалась дистиллированная радость. Без дозы чах и страдал.

10

Номинация наслаждения в тот период: кульминация романа на Большую книгу и необычайно быстрое попадание в длинный список. Рядом с Сорокиным, Вотриным. И Букшой, Букшой. Я открывал сайт премии, вновь и вновь находя, что книга осталась в списке, не пропала магическим, злокозненным образом. «Смотреть в глаза!» Виталий Аширов. Точнее сказать нельзя. Книга находилась на слуху, неудивительно, что залетела и в короткий список с десятком знаменитостей, а вот дальше – страшно и сладко, и сердце ухало, и конечно, не верил, и капризно отказывался ехать на церемонию, и все-таки поехал, и когда Дмитрий Быков назвал мое имя, некоторое время растерянно озираясь в поисках того самого Аширова, куда он делся, и это был я, и на ватных ногах – и вручили мне кубок (с формулировкой: «за вклад в развитие...»), вместо меня говорила Фейерман – я вдруг испугался тысячного зала – благодарила, благоговела, кланялась, выражала надежды, верила в успех, а я уже в креслах смотрел на нее аршинными глазами, и думал, когда же развеется морок, но ему не было суждено развеяться. Получала ли Букша Большую книгу – кажется, нет, а я вот получил... мыслил я, пешком возвращаясь после банкета, и там был Сорокин, и

даже пожал мне руку, и пах он селедкой почему-то. Люди казались нереальными, говорили громко, и пели, и пили, смеялись, и я смеялся, но как-то принужденно, и щедро отсыпал автографы, и на все интересные предложения отсылал к Фейерман, и люстры давили белым блеском, и получил я Большую книгу, и в потемках – послав к чертям услужливых незнакомцев на автомобилях – шагал через город, разукрашенную Москву, и думал: мы все призраки, призраки... И ведь это шесть миллионов, тут не только Камбоджа... и как же угораздило, получить, выиграть... Роман не так уж чтобы хорош – не идет в сравнение с Именами, там и букша... И вроде бы подходила, но я вяло реагировал, я был в прострации, я спал на ходу, и весь вечер и всю ночь – проспал бодрствуя. Количество подписчиков за несколько часов ощутимо прибавилось, и какой-то спам летел в личку. И вот он – я!

Перед зеркалом выпятил грудь, оскалился и расхохотался. Всем доказал, всех уел. Взорвался, ворвался. Сейчас запросто Сальникову напишу, и он ответит, будет заискивать, осторожничать. А я вот возьму и не напишу. А Сорокину напишу.

Я гадал, кому написать, и разразился витиеватым постом Букше – зачем-то пригласил в рестораны. Через пару минут был внесен в черный список, и удовлетворенно хмыкнул, дура как есть. Не до конца поняла, что я такой же? Что знакомство со мной увеличит медийность? Или у несчастной графоманки плохое настроение? Не то сказал, не так посмотрел...

Мелкие неудачи не могли омрачить радость, еще и потому – что манна небесная продолжала сыпаться со всех сторон. За Большой книгой был Нацбест, я ворвался в десятку, в последний момент вышел на первое место, и уже сам в переполненном зале произнес речь, кажется, зажигательную, и смотрел снисходительно и на Сальникова, и на Рябова, и всех, кто подходил, поздравлял.

Машинально черкал автографы и мысленно приплюсовывал миллионы к миллионам, получалась космическая сумма. Поеду в южную страну, и там-то, там-то... Гости истово танцевали, я дегустировал пирожные и как-то уже проникался этой дымной атмосферой, приглушенным светом, хотелось впервые в жизни выпить водки, но знал, что – не выпью, и покачивал ногой. Ко мне неожиданно подсел солидный мужичок с подстриженной бородкой – режиссер Кирилл Серебренников, не стесняясь в выражениях, расхвалил СвГ, предложил экранизировать. Я выдержал паузу (только бы не пропал, не заволокся сизым дымом), и сказал: подумаю. Деловой подход, похоже, его устроил.

Серебренников, конечно, хорош. И по Сальникову кино снял. И вообще – в Каннах... Да подойдет ли? Все-таки у него чернуха, а я приверженец чистого искусства. Найти кого-нибудь по-солиднее. Не удивлюсь, если Сокуров, например, изъявит желание. Как режиссер ниже среднего, зато мировая известность – и приятная, понятная для меня склонность к формализму. Да, позвонить Сокурову... и я видел, на другой стороне нашей задымленной реальности набрасывает сценарий и тербит менеджеров, чтобы связались со мной – да куда там, Аширов занятой, деловой... а потом на съемочной площадке суетится передо мной, старается, чтобы я вник, одобрил – сцены, эскизы... Буду придирчиво изучать и непременно отбракую ряд вариантов, не потому что неудачные, а так захотел, могу себе позволить.

Серебренников курил и буровил меня глазами, и я в них смотрел, и ничего не слышал от грохота музыки – обращения, призывы, пожелания со всех сторон...

Сквозь дым надвинулись пьяные девицы, наверно, пишущие. Спрашивали, свободно ли мое сердце. Оно было несвободно. Я встал и удалился – и только в черноте снежного сада почувствовал, что наглотался табачного дыма или вовсе наркоманского марева, все плывет, сливается, двоится. Пусть плывет! Пусть двоится! Это всегда так, говорил я себе, когда получаешь высшую литературную премию, да ты сам уже какой-то плывущий, двоящийся.

В дополнение к Фейерман со мной теперь работала улыбчивая, стриженная под мальчика Юлия Гумен – полезный человечек для установления международных связей.

Переводчики из Италии, Голландии, Норвегии (Америка, Франция, ау! – воротил я нос, и Гумен утешала) трудились над моим текстом, периодически присылая глупые вопросы касательно

значения того или иного оборота – особенно сложным для восприятия оказался: «трафили им также и трюфели», непереводаемая игра слов, изящный гиммик.

Зарубежные обложки были не в пример удачнее нашей. Минимализм, две-три линии, тончайший намек, полутьна тревожной неясности... Порой – макабр. В Голландии, например, на обложку выставили нецензурный возбужденный член. В принципе даже это сильнее вязалось с содержанием, чем наша поделка. Наверно, панибратские отношения с иностранцами повлияли на то, что я стал чувствовать себя увереннее, начал чистить зубы по утрам, а потом плюнул и на четыреста тысяч сделал сверкающие виниры – все равно мои старые пеньки были под снос. Еще триста потратил на компьютер, и до одурения играл во все подряд, иронически поминая деньки, когда не мог запустить даже квейк. Купил шлем виртуальной реальности, наушники... И разом надоело, и я опять бесцельно бродил по Москве, и мог позволить... ничего не мог. Никогда не сунусь в Камбоджу, за пазуху ночи...

Одно время развлекался, читая электронную почту (как-то нашли, не выкладывал) – писали по три, по пять раз в день, угрожали, признавались в любви, спамили от скуки и в надежде на помощь. Были сообщения от женщин за пятьдесят – подробно пересказывали многотрудную жизнь, запутанные любви. Огромная санта-барбара могла тянуться с десяток писем и затухала на особенно тягостной ноте. Иные просили оценить гениальное творение, и не отвечал, хотя порой открывал прикрепленные файлы – редко, но все же встречались интересные тексты. Сам еле держусь, сам только что встал на ноги, не стану распыляться на переписку, и вообще – мое слово, оно ведь чего-то стоит, и если начнут козырять, дескать, Аширов похвалил, надо печатать. Ну похвалил... Так и так выхожу крайним. Просили вступить в интернациональный союз писателей. Спрашивали – люблю ли жареную картошку. С лучком. Интересовались моими политическими взглядами (за Путина!). Требовали выйти на митинг против депутата Сенькова. Просили позволения поместить мою прозу на какие-то никчемные сайты, куда никто не заходит... Когда количество входящих превысило мой морально-нравственный лимит, велел Фейерман отправлять рабочие сообщения по телеге, а почту перестал открывать, и корреспонденция разбухла сама по себе, как интерактивная инсталляция сумасшедшего художника.

Весной приехал в литинститут и дал мастер-класс полоумным студентам, пропахшим водкой. У многих были книги и премии, но никто не печатался у Шубиной, я был как бы над всеми, существом высшего – парящего – порядка, и мне смотрели в рот, и записывали мои сентенции о творчестве. Я говорил наобум, напрапалую – то, что прочитал в паре статей по сценарному делу, и вычленил из своего опыта, хотя знал: все эти фразы – ложь, у каждого своя психика, и каждому придется выстраивать русский язык и литературу с нуля, десятилетиями, и там фигурные структуры невероятной сложности, шаг в сторону – рухнуло, начинай заново. Не пишите, произносил на каждом занятии ритуальную «мудрость». Все понимающе посмеивались и не понимали... Да и я не понимал, но чем-то нужно заполнять хорошо оплачиваемые часы, тем более в актовом зале груше негде было упасть.

У меня легко и просто, легко как никогда в жизни, появилось много приятелей из творческой интеллигенции. Бралась из ниоткуда, и уж не отступали ни на шаг. Я человек плохой, с людьми не схожусь, но эти делали все, чтобы мне было уютно, предугадывали желания и моментально исполняли, лебезили и стлались передо мной, как перед турецким султаном. Я не выделял никого, был привязан лишь к компьютеру, и знал: они рассеются как дым в случае падения индекса моей популярности, а может быть все это – заговор другого издательства, за мной следят, вот-вот подставят, подловят...

С писателями близких знакомств не завел. Это были странные люди, одержимые, ненавидели друг друга и самих себя, и ждали, жаждали разговора о своих книгах, и если оный не происходил или происходил не слишком подробно и хвалебно – старались убежать и забиться с нормальными, «понимающими». Букша, конечно, такая же... Многоступенчатый этикет фейсбучного общения был мне не по зубам, этим занимались специально обученные люди, хотя и пробовал понять, влиться... Почему нельзя поставить в качестве заглавной

фотографию своей измазанной калом задницы с торчащим геморроем... Почему-то нельзя. Тогда и не нужно мне интернет-общение, сложности, нюансы... Изрядно подлатанный финансово, в сущности, я оставался прежним, и никак не мог отдохнуть, подумать, хорошенько погрузиться. Фейерман утешала – будет лето, пляж.

Лето наступило, мы отправились в Германию на книжную ярмарку, это было ответственное мероприятие, меня строго проинструктировали, как разведчика перед высадкой в тыл врага – что можно говорить, что нельзя (политики не касаться!), от меня, впрочем, не требовалось почти ничего, я сидел за длинным столом, улыбался, переводчик тараторил, будто читая мои мысли. Иностранцев я видел немыслимое количество, почему-то они казались ненастоящими, словно писатели могут быть только в России, а здесь – обыкновенный народ, по недоразумению взявший себе громкое имя, и вели они себя не так, и ногой качали не так, и ступали не так, и не так говорили, торопливо, сумбурно, без эканья, жевания слов, без многозначительных пауз, и смотрели не так – не поверх, не в немыслимые дали высшего одиночества, а прямо в глаза, холодно и остро. И что они могут написать, думал я, ненавистник зарубежной прозы. Ничего не могут, не зря ненавижу. Случайные создания. Вырвали из потока прохожих, посадили под надзор: писать романы. Приходилось писать. Вся зарубежная проза – бесконечная, бессмысленная профанация самого важного в жизни А-ва. И не может быть столько... Тут, казалось, писали все. А в Перми, спящей беспробудным заколдованным сном, пишем мы с Селуковым. Два крепких прозаика, и достаточно. Конечно, Селуков слабоват, грязноват, но такой конкурент меня вполне устраивает. Сопьется, уйдет в тень, и останусь один я на весь миллионный город.

В Перми я вскоре побывал – в качестве маститого писателя. Встречали на вокзале, поселили в лучшей гостинице, с видом на Каму. После немецкого лоска я не мог насладиться колыханием тусклых волн, и дышать было трудно, верно, дымили заводы, и еда грубая, без излишеств, к коим привык, и какое-то все серое вокруг и непонятное.

Было бы здорово забыть пермский язык, подумал я. В каждом городе разные языки вместо единого русского... Недоуменно вглядываюсь в афиши, местные книги, слышу резкую гортанную речь, и не понимаю, и не прощаю Пермь за липкую тяжесть согласных, неудержимую глоссолалию...

В Пушкинской библиотеке собралась пожилая интеллектуальная элита, во главе угла был Абашев, доктор наук, филолог, он единственный осмеливался задавать мне вопросы, остальные притихли, как старцы перед священной реликвией и боялись пошевелиться – не исчезну ли я, не развеюсь ли дымом от их неловкого движения. Я прочитал политкорректный отрывок, ответил на вопросы о планах (в разработке два романа), любимых писателях (Саша Соколов), нелюбимых (Букша), о самочувствии, премиях, пермской литературе (Селуков, рекомендую), и вышел в сопровождении пустоты – никто ко мне приблизиться не отважился.

Селуков, казалось, выпростался из дождливого неба, протянул руку (не бойся; а я не боялся – инстинктивно вздрогнул). Мы разговорились, он посмотрел мне в глаза сочувственно, с пониманием, и уволок в бар, и все расспрашивал обиняками, я знал: его интересует зёмя, но тянул время, игрался, и выложил историю с Шубиной, поняв, что с ним нет смысла юлить, кроме него никто не поймет и не поверит, и поговорить об этом надо, потому что история успела подзабыться, и чем дальше, тем больше отдавала небывальщиной.

– Что же ты несешь, – неожиданно удивился Селуков, – какое еще зёмя, мы расстались у входа, и ты пропал в снежной крупе.

– Ты мозги все пропил, – рассердился я, – такое зёмя, настоящее, неподдельное.

– Глупое слово, – усмехнулся он, – а что оно означает? Эвфемизм какой-то?

– Да ты сам, сам дал, в гараже... зёмя! Зёмя! – закричал я.

На нас обернулись.

– Хорошо, хорошо, – зашикал на меня Селуков, – только успокойся.

Я встал, покачал головой и вышел. Он выскользнул следом, попрощался, и, не оборачиваясь, торопливо ушел.

- Зёмю, – повторил я вполголоса, – это составляющая любого хорошего текста.
- И ты мне его дал, – упрямо сказал я.
- Бескорыстно.

И побрел в гостиницу, не в силах осмыслить того что, произошло – водит за нос, чего-то боится или не было никакого зёмю, тогда, получается, я – псих, но я не псих, то есть, конечно, псих, да не до такой же степени, черт побери! Злой, разбитый, в недоумении шагал по компросу и облегченно приходил к идее, что Селуков скрывает, хитрит – зёмю все-таки странная вещь, функции расплывчаты, ценность – неясна, ему несомненно известно больше, чем мне, ему выгодно избегать эту тему... может потому, что я стал известен, и как-нибудь могу навредить.

А когда миновал стайку подростков на велосипедах (сплошь девочки), совсем успокоился, и удовлетворенно хмыкнул – все-таки не Москва.

II

Осенью меня пригласили вести курсы в школу креативного письма (Creative Writing School), отлично понимая, что это унылая и низкая форма мошенничества (будто бывают высокие), я согласился – в надежде наварить приличный куш, и ручки потирал, и не знал, что скоро конец. Действовал по инструкции. Рисовал радужные перспективы. Расхваливал галиматью. Ко мне выстраивалась очередь.

Современное письмо, вещал я, свободно от советской догматики! Проблема не в том, *что* писать, и не в том, *как* писать. Сложность нашего с вами ремесла заключается в том, как *продать* рукопись. Делать это будете вы сами, и желательно до написания текста. Моя задача состоит в том, чтобы не просто научить продавать, а продавать *выгодно*.

Цитировал я лекцию, набросанную для меня Майей Кучерской, директрисой заведения. Ну, правильно, американ стайл. И я в этом стойле вроде как главное животное. И выделяться, отказываться себе дороже выйдет. А там, глядишь, пригласят в бурбонский университет – конечно, языком не владею, но ведь выучу. И так я себя упрасивал и бодрил, оттягивая неизбежность собственного сочинительства, и сюжеты – как бывало раньше – не вились вокруг, не просились в заметки, ничего языкового, фантазийного не шевелилось во мне, одна серая хмарь, тревожное ожидание.

Я не придал ни малейшего значения посту Оксаны Васякиной и нешуточному хайпу около него, даже не заметил, сетевая суета с высоты моего нынешнего положения казалась несмешной клоунадой, и когда менеджеры навели меня на пост, презрительно хмыкнул (на колу мочало – начинай сначала) и провел пару неуютных часов, читая посты такого содержания:

Оксана Васякина

Этот человек преподаёт в Creative Writing School, как я поняла, литературное мастерство. В РЕШке у него вышла книга <ссылка>.

Этот человек эстетизирует сексуальное насилие над детьми, я считаю его опасным.

Этому человеку, я считаю, необходимо запретить приближаться к детям.

Комментарии:

– Какая вычурность в языке и самолюбование! Преподает литературное мастерство, говорит? Увы...

– Да просто бездарный пошляк. Как и кому он может преподавать?!!

– Больной, но опасный своим измененным сознанием для женской половины его студентов. Слухайно не из С-Петербурга? Будущий расчленитель.

– Какой позор...

– Эти комменты всерьёз? Творчество Аширова – простая и банальная графомания...

- Еще одно подтверждение невыносимой пошлости гетеросексуализма.
- Ути какие мы эротоманы.
- Такое ощущение, что он по жизни только дрочит.
- Наивотраительнейшая книга.
- Жесть
- Книга просто дебильная. Опасна такая экстремальная бездарность (
- о да(
- это дегуманизация ребенка до уровня моллюска!
- сексуализация детского тела отвратительна
- зачем я это прочитала, ну утро же, а фотография Аширова по ссылке функционирует как идеальный рвотный порошок
- жалко его нельзя зарепортировать правоохранительным органам
- Репортнула детскую порнографию, присоединяйтесь https://мвд.ру/request_main
- Надо репортить, прямо сейчас займусь. Говно какое((
- давайте перепост сделаем в фем группу и навалимся на этого педофила извращенца все вместе?

Что за бред, морщился я, неужели не надоело, неужели Фейерман на волне стихшего хайпа опять взялась за свои приемчики. Так ведь ничего не стихло, я еще огого! Имя звенит, гудит. Или Васякина таким способом привлекает к себе внимание. Судя по тому, что пост процитировала Комсомольская правда и радио Свобода – привлекла порядочно. (Фейерман отрешивалась от авторства и клялась, что сие – лично инициатива Васякиной.)

Феминистки меня никогда не интересовали, склочные некрасивые бабенки с психическими отклонениями – вот и всё, что о них думать. Но было чрезвычайно обидно, я уже хотел судиться, да вспомнил: моя книга и в самом деле на грани, и как-то отстранился от всего, вышел в оффлайн, выдернул провод интернета. Страсти будут бурлить неделю, и устанутся, и потечет жизнь, бес-событийная, тихая. Если бы я следил за тем, что происходит в сети, то знал бы, что сделаны сотни перепостов, не утихают дискуссии, меня в основном топят и ругают. Публика неистовствует так яро, что забыт Навальный и драчливые таджики, и девочка-вундеркинд, и безногий мальчик, и газеты соревнуются, кто быстрее выпустит очередную порцию грязи про Аширова, снятую с твиттера Васякиной и телеграма Брейнингер. Настроение девушек – и соответственно степень озлобления постов – менялись под воздействием этих статей, и было сложно сказать кто и как хайпует, и зачем, лишь бы бурлить, изливаться, извиваться – жить, жить... Я десять дней находился вне информационного поля, хотя так и подмывало заглянуть, убедиться: кончилось, переключились друг на друга, с чавканьем пожирают самих себя... И за все это время Фейерман не отправила ни одного сообщения, не сделала звонка, никто не связывался со мной, будто время застопорилось.

Я сидел в комнате с опущенными шторами, злой, угрюмый, и читал про Роду Маккормак, и воображал кармические кары для Васякиной, и думал, что в любую минуту могу сорваться, дернуть в Камбоджу, и там-то... Прения действительно поутихли. Васякина переключилась на рецепты овощных салатов; рецепторы журналистов почуяли иную добычу – воркутинский маугли, канабис в Малайзии; ручные велоцирапторы топовых фемок угомонились. И я снова иронически перечитывал пост, вызвавший бурю, и видел лексические, логические ошибки, и мыслил: Васякину никогда не читал и теперь не буду. И выходил на улицу без опаски (оказывается, опасался! – с удивлением открыл, – да ведь кто их знает), и ради гастрономической гиперкомпенсации нервного напряжения покупал гамбургеры, судорожно съедал. Мне было все равно, катарсически расплакался я, ничего не заметил, ну балаболят в сети, никакого дела...

Между тем продолжалась скрытая, темная жизнь отголосков того злополучного поста. Васякина – человек публичный, в ее подчинении (среди прихлебателей) немало людей со связями, они донесли кому надо, тот сболтнул кому не нужно, тот – связал это с газетными сплетнями...

На меня тихой сапой завели уголовное дело, я о том узнал утром, когда в окно ворвались оперативники, сволокли меня с постели, заковали в наручники. Я задыхался от нехватки кислорода, потому что сердце билось так сильно, как не стучало прежде. Номер обыскали, запихнули меня в воронок, и начался сложный, тягучий, невыносимо бессмысленный процесс. От меня не требовали почти ничего, держали в отдельной камере, иногда выводили подписать бумаги, я послушно шел, подписывал, не изучая...

Я сломался, кажется, давно. Не в воронке, не в участке, после удара, разбившего нос... А раньше, в детском саду, когда упал губой на машинку... И ничего не мог противопоставить машинке, своим неловким ногам, пространству, времени.

Меня держали в одиночке, из развлечений были книги, много книг – давно не читал классики, Тургенев, Куприн... Погрузился в них, чтобы не помнить, не понимать, и все эти адюльтеры, связи, женщины и мужчины в напряженных, малопонятных отношениях проносились мимо как призраки.

Я уже тогда сознавал, что кончилось, просто нужно было раньше, прежде них, предупредить... Но так надеялся на что-нибудь, Шубину, Камбоджу... ..так прятался от этого.

Мариновали долго, шли дискуссии, экспертизы, споры и ссоры, и свары и растабары, было известно, что предъявлена 242.1., остальное меня не касалось, что тут говорить... Фейерман, едва запахло жареным, внесла мой номер в черный список, и юридический отдел РЕШки не спешил на помощь, и Шубина величественно молчала, словно никогда не печатала мою книгу, я был для них прокаженным – мгла могла перекинуться на кого угодно. И я не винил этих добрых, современных людей, и надеялся на хорошего адвоката (деньги остались), и ни на что не надеялся. Впервые войдя в камеру, я принялся искать место, чтобы повеситься, кряк какой-то, что ли... должна быть надежда хотя бы на это, иначе никак...

Если бы я знал, что Васякина не вопит от счастья, а создала флешмоб #СвободуАширову, то сполна бы посмеялся. И радио Свобода вписалось в эту парадоксальную либеральную игру – сначала уничтожить (...), а потом ругать правительство. И фемки, и радикалы, и книжные критики визжали: #СвободуАширову. Бесновалась Васякина: долой цензуру! Оказывается, я написал не камерную абсурдную историю (воистину камерную), а «навел прожектор на трупные пятна разлагающегося режима».

– Смелая книга – не повод для заключения под стражу, – писала автор строк: «Такое ощущение, что он по жизни только дрожит».

– Путинский режим озверел!!! (автор строк: «Книга просто дебильная»).

– Скорее, на помощь человеку! Срочный перепост (автор поста: «Надо репортировать, прямо сейчас займусь. Говно какое»)

«Кровавые беззакония тоталитаризма» – откликнулся обширной передачей телеканал Дождь, и сплошь про меня, стриженного, грустного – и где фото взяли. Но это была узкая, активная, противоречивая прослойка, пафосно называемая в 19 веке «интеллигенцией». В основном народ подзуживал: живьем закопать, кожу снять, кастрировать, и тому подобное, и тоже волнами расходились взаимные одобрения. Две вселенных нелепо и уютно сосуществовали. До моего случая дела не было никому. Васякина любила покричать, покрасоваться, показать себя такой и эдакой, интересной штучкой, любила, чтобы все вращалось вокруг нее. А Дождь ориентировался на падкую до сенсаций зарубежную публику, ведь там чаемые миллионы... Реакция, просмотры. Никто из органов мою книгу бы не заметил, не стал принимать всерьез, да и не было там состава преступления, но после сетевой шумихи они почувствовали, что обязаны отреагировать, хотя бы для того, чтобы выступить в глазах народа защитниками справедливости и нравственности, набрать рейтинг, и выборы маячат...

А копнуть глубже: я был элементом высокой игры, истинный смысл которой не понимали обе стороны. По факту смысл отсутствовал, царил сумбурное переплетение узоров реальности.

Вакханалия закончится эмоциональными всплесками, мимолетными весельем или грустью, переклещением на другой канал, но я-то настоящий, я-то живой – о чем забыла Васякина, – я-то выключен из бытия, вырван из быта. Я забыт и забит.

Одoleвали меня темные страхи. Поначалу в одиночке я мыслил и страдал также, как на свободе, и знал, что последует, и все равно верил в адекватность – распределили ведь в одиночку, значит, понимают...

Буднично и быстро мне всучили пять лет строгого режима и заселили в исправительную колонию где-то в тамбовской области. Я не любопытствовал, механически собрал вещички, тихо погрузился, тихо прибыл, тихо заселился в общую хату, и уже ночью меня изнасиловали, не стесняясь видеокамер и назойливого обхода. Я не сопротивлялся, только жмурился и сильно сжимал кулаки, как в кабинете стоматолога. Многие мной брезговали, так что повезло – могло быть хуже...

Никто со мной не разговаривал, я жил возле параши, скоблил ее, а ночью приходил к тем двум зекам, и под импровизированным занавесом из простынки продолжалось унижительное действо.

Сложно передать мои мысли, не было ничего структурированного, голова словно наполнилась ватой – от тюремной пищи и затхлого воздуха начинаешь туго соображать – и конечно, я не был гомосексуалистом, даже латентным – им ведь легче – но в камере нет условий для суицида, разве что перегрызть вены (недостаточно озверел для подобной процедуры), и когда меня били (для профилактики) инстинктивно закрывался локтем, а потом перестал, и голова моталась, и думал об одном – выйти на свободу... Я видел так: встречаю одного из упырей ночью на пустыре, обездвиживаю камнем по голове и медленно ножом... издеваюсь, мучаю, пока захлебывается кровью, просит прощения. Но ведь нужно дожить, предпринять розыскные работы, – сложно, неосуществимо, – и главное, кто виноват – система? садист? пахан, сделавший приказ? – зато ярко воображалось и вселяло какую-то религиозную веру в высшее зло, зло над злом, лютейшее...

Довольно скоро я научился получать странное удовольствие от этого безумия, найдя в себе мазохиста, спавшего мертвым сном – ведь все, чем я занимался в прежней жизни, было, по сути, тем же, и девиантным, и унижительным, но завуалированным, – беспорядочные литературные потуги, когда берешься описывать героя, и поднимается тухлая вонь параши, когда завершаешь роман – петушиный акт петуха с самим собой – и вступаешь на путь петушиных мытарств, и всякий норовит обидеть, и никто не подаст руки... Обиженной был по жизни, обиженной и сидел. Вот мое призвание, думалось в минуты передышек.

Книг zeки не читали, предпочитая зависать в тайком принесенных телефонах. Кто-то слышал мое имя, но оно не зазвенело в полную силу, я был недостаточно медийным, чтобы хотя бы эта фальшивая магия меня защищала, и в то же время был тихим, безответным, готовым на что угодно, лишь бы не угрожали, не колотили...

Мой интеллект в среднем был ниже интеллекта зеков (о чем дома, на диване, в изоляции от людей, и предположить нельзя), пусть и тратили они свой ум на мелкие подначки, на обманные трюки. Я ходил не просто опущенным, а еще немного дурачком, меня редко трогали, разве что другие петухи по каким-то мутным причинам.

*Был безобидной мань
кой.
Сосал, прини
мал.*

Пришла разнарядка сверху (верно, связанная с моей литературной деятельностью) – иначе я не могу объяснить того, что произошло, зачем понадобилась кровавая баня.

Охранники отвели меня в изолятор. Там ждали исполнители, трое в арестантских робах, бледные, с пустыми глазами... Не стали предъявлять претензий, читать речи. Раздели, привязали к постели, и всю ночь, всю ночь до утра пытали, пока не убили. В записках патологоанатома значится:

«множественные проникающие ранения брюшной полости острым предметом, ожоги на грудной клетке, выколот глаз, вырваны ногти на правой руке...» и т.п. Родителям выдали официальное заключение: «Аширов Виталий Дамирович совершил суицид путем повешения на крюке», но ты не совершал суицид, это бред, беспардонная галиматья, на фотографиях видно, в каком состоянии тело, и ничего не исправить, и ничему не помочь, и все, кого ты не любил, знают и сочувствуют (опять Васякина, опять хайп и Дождь), и я их не люблю, но все-таки... Поднялась очень правильная волна, и нет смысла доказывать убийство – всем очевидно – или искать преступников (пока у нас нет ресурсов, чтобы бороться с *ними*) – единственная деталь очерняет твой, Аширов, почти безупречный, мученический облик, – педофильская мусть вокруг книги.

13

Я, администратор паблика вконтакте, посвященного твоей личности и замечательной прозе, докажу всему миру, что даже мельчайшие обвинения были безосновательны и строились на купленных экспертизах, что нарушения закона присутствовали повсеместно в процессе, что тебя упекли чистого как стеклышко, и тем самым не только перегрызли горло лучшему прозаику современности, но совершили прецедент облыжного использования статьи 242.1 в качестве наказания неугодных режиму...

Однако пора представиться. Зовут меня Коля Логунов, я простой парень из города Пермь. Мне двадцать четыре года. Я счастлив, что живу на этой Земле. Потому что вполне мог и не родиться. И не жить. И не видеть окружающего нас великолепия. Мои родители познакомились в туристическом походе и там же зачали меня. Папа струсил и сбежал. Беременность проходила тяжело. Врачи советовали маме прервать ее, бо ребенок вырастет с отклонениями, слава богу, мама не послушалась, и так родился я – Коля Логунов. У меня и правда есть отклонения. Я болею трисомией, что в простонародье называют болезнью дауна. У меня своеобразное строение тела, интересное лицо, я не отличаюсь высокими когнитивными способностями, зато добрый, уравновешенный, и люблю маму. Аширова тоже люблю, но маму больше. У мамы все хорошо, а писатель Аширов мертв, его честное имя запятнано, и без чужой помощи не отмоеется. Все сложили руки, сделали умную мину, забыли о нем, а ведь как сверкал! Как пролетел по писательскому небосклону – звездой сияющей! Пролетел и потух. И пропал.

С детства я любил читать, конечно, не все понимал в книгах, но глубоко идентифицировался с героями, переживал, и мама – школьный библиотекарь – устроила меня в помощники, так что с семи лет вожусь с книгами, понимаю книги, нюхаю книги. В школе я не учился, с трудом давалась математика, и писал плохо, каракулями. Мама выучила меня по индивидуальной программе, где не было счета и запоминания разных дат, за что ей безмерно благодарен.

В библиотеке я возился до двадцати лет и прочитал практически все книги, кроме сложных. Особенно увлекся современной прозой. Мой вкус с детства был безупречным, тонким. Я с презрением отбрасывал писателей неинтересных и набрасывался на цепляющих. Отрицая обыденное, приземленное, любил изломы стиля, виньетки мыслей, паутину синтаксиса. Не все понимая, интуитивно проникал: эта книга хороша, та – неудачна. Моей любовью был Саша Соколов, «Палисандрия». «Школа для дураков», конечно, тоже хороша, тем более про идиота, такого же как я, да стиль простоват, неказист, и вокабуляр небольшой, отчего возникает ощущение топтания на месте (и унылые христианские аллюзии). Палисандрия – широкая, размашистая, уносит далеко и формой, и чудесным юмором. Перечитывал ее раз десять, заучив практически наизусть, хотя моменты со старухами ставили в тупик – зачем? Неужели нельзя без извращенного секса продемонстрировать бесконечную гибкость русского языка? Но я инвалид, не все понимаю из того, что поражает и волнует здоровых людей.

Сексом я не занимался, мне это не интересно. Есть куда более важные вещи – кормить голубей, смотреть, как падает снег, слышать, как бьется твое собственное сердце, читать, скользить

по паркету, читать, трогать столешницу внутри стола, читать, подражать пению оперных певцов, покупать мандарины, сидеть на теплой батарее возле окна.

На улицу я выхожу с мамой. Мы идем покупать мандарины. Надо мной смеются, шепчутся: даун, даун. Я выше всего этого – сомневаюсь, что обидчики читали Соколова, Аширова, а если и читали, вряд ли способны оценить красоты стилистики. До встречи с А. я не предполагал, что меня может удивить современная проза, ибо отчетливо понимал: она не пошла по пути Соколова, Лапутина, Набокова... свернула в сторону политики, борьбы за восстановление справедливости в каком-либо предмете, но даже я, даун, знаю: что буквы на бумаге не восстановят справедливость, что зло – часть реальности, что оно ничем не хуже добра, а в чем-то и лучше, что пора перестать заниматься ерундой, и строить из букв не агитки и не жалобы, а холодные сверкающие миры, где нет ни злобы, ни добра, ни человеческих смыслов, лишь безупречно отточенная машинерия сюрреалистически искаженных грамматических структур.

Творчество Аширова стало для меня отдушиной. Я открыл книгу в магазине и выхватил случайную фразу: «трафили им также и трюфели». Этого было достаточно для того, чтобы навек стать поклонником и словно манной небесной ждать новых текстов. Соколов и Лапутин мертвы. Остался А.В.Д. Я видел Аширова много раз по телевизору. И однажды в библиотеке Пушкина. Он очень классный. Парадоксальный, язвительный, немного рассеянный, как бы не от мира сего. Самые любопытные его сентенции я записывал в тетрадку и перечитывал, поражаясь мудрости. Мне часто казалось, что Аширов смотрит прямо мне в глаза, выделяет меня, знает о моем присутствии и всячески поддерживает мою привязанность. Фотографии Аширова (218), интервью и статьи (96) хранил в папке на рабочем столе компьютера. Когда информации стало много, создал паблик вконтакте. Не ожидал, что взлетит, но в короткое время подписалось триста сорок личностей. И у каждого в голове свой Аширов, не похожий на других. Удивительно!

Электронный адрес Аширова я раздобыл быстро, но писать не решался, побаивался – проигнорирует. Наверно, по сто писем в день приходит – зачем ему реагировать на мою цидулу? И все-таки написал, изложил восторги и приложил свой текст для оценки (я немного пишу, для себя, без претензий). Ответа не получил, однако был счастлив тем, что мое письмо проникло к нему, внутрь его почтового адреса, и как-то там набралось ашировских электронов, да и вообще испытал облегчение: все-таки решился.

После первого почувствовал – можно продолжать – авось как-нибудь да отзовется в мире твое слово. Выслал ему рассказы и роман. Не ответил он и на второе письмо. И на десятое. И на сотое. Я написал ему в фейсбуке – и вот тут-то – внимание: оркестр играет туш! Взмывает тревожная музыка! – вот тут-то я получил первый и единственный ответ от писателя Виталия Аширова: «Иди нахуй». Трясущимися руками сделал скриншот и сохранил в папку с самым важным в моей жизни.

Я совсем не обиделся – ведь мог не отвечать – любой отклик от человека, обремененного огромным талантом, великий подарок для простого смертного. Конечно, таким не поделишься в старости с детьми, такое и произносить стыдно, но в контексте моей маленькой жизни даже такое внимание, настаиваю, огромно. Получив послание, я посчитал, что состоялся, что проживу не зря, что столкнулся с чем-то выходящим за пределы моего ума, загадочным проявлением высшей цивилизации.

А потом начался процесс, удаление «Смотреть в глаза!» со всех книжных сервисов, и тем ценнее она становилась, и тем большую значимость обретал Аширов, способный написать с десятком блестящих романов и подстреленный на взлете – кто знает, как развернулся бы его талант, с какой угрюмой, несокрушимой мощью заполыхал...

Обвинения в детской порнографии были столь смехотворными, что я, признаться, думал: рекламный ход или смелый пранк от маэстро литературных мистификаций. Видимо, скоро анонс нового романа. Но вместо этого прозвучало страшное: Аширов в СИЗО, и уже тогда от него отворачивались многие, но не я, не я. От группы отписывались каждый день. Пусть шелуха отвалится,

останутся преданные, настоящие. Засыпая, молил мироздание: прекрати процесс, верни мне моего Аширова. Мольбы были напрасны.

Я бросился перечитывать роман, будто надеясь силой, заключенной в нем, пробудить богов-хранителей писателя. Я читал вслух, экстатически, отчаянно. И оставил сие гиблое дело, и залез в юридические документы, в надежде найти лазейки, что-то, способное утешить и обнадежить, и ничего не понимал, и был от бешенства, и ненавидел устройство общества, где душат и давят только за то, что лучше их, свободнее их...

Педофилическая сцена в романе одна, да и то завуалированная, лихорадочно-нежная – найти в ней опасную уголовщину мог только насквозь извращенный – или недалекий – разум. Язык стоял на переднем плане, его мягкая изысканная плоть. В конце концов, мастера жанровой прозы десятками лепят тексты про маньяков-педофилов и не чураются таких подробностей, что Аширову и не снились, но их-то никто не трогает, они-то жируют и шуруют, а стоит представителю мейнстрима использовать те же приемы, к нему возникают вопросы – у самого-то поди тоже стоит на детей? Писал, поди, и дрюкал? Многих изнасиловал? Никого он не насиловал. Все остальное – личная жизнь человека, и находится вне компетенции художественного произведения. Мне эти вопросы попросту не интересны, но я знаю наверняка, что ему перекрыли возможность писать, и через пытки у него забрали жизнь. Появится ли новый Аширов? Возможно, лет через десять. И что теперь, десять лет сидеть на однотипных премиальных романах? Увольте. Аширова не спасти, преступников не призвать к ответу. Но смыть гнилую слизь с его имени я обязан. Тогда может быть наследники пороются в творческих загашниках А-ва, найдут что-то еще, заворачивающее. Издадут.

14

Отлучаясь на улицу без мамы, я надеваю маску анонимуса, чтобы не смущать народ неправильным лицом. А так – идет этакий веселый толстячок, никому нет до него дела. У витрины поправляю вихор. Прыгаю через лужу. Гавкаю на собаку – улепетывает в страхе. Возле стайки подростков на велосипедах снижаю шаг, втягиваю голову в плечи. Пронесло, жив. Ускоряюсь. Почти бегу. Бегу. Я ничего не придумал. Но мне хорошо, очень хорошо, потому что весна, снег тает. И у меня важное дело. Можно устроить опросы всех детей в городе П. и постепенно выяснить, приставал ли к ним Аширов, насиловал ли. Только детей сотни тысяч, и это растянется на годы, даже если каждый день беседовать с сотней девочек, а там ведь и на меня могут подумать, дескать, зачем к малышам лезешь с провокативными вопросами, и разве объяснить, что действую в целях справедливости, что разговоры занимают буквально пять минут и никакого негативного следа не оставят в психике маленького ребенка. Меня побьют. Башку разmozжат, размажут. И все-таки вариант. Что можно еще? Заявиться в архивы, истребовать уголовные дела за последние годы и внимательно штудировать – нет ли следов Аширова среди преступлений, направленных против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Долго, мучительно, непродуктивно. Если специально обученные люди не выявили – то что сделаю я? Нагромозжу кучу впопыхах выхваченных, высвеченных сведений и закопаюсь в ней, не умея соединить концы и начала.

Или прийти к нему домой, порыться в бумагах? Дельный вариант. Дельный.

Тороплюсь, заворачиваю на остановку и приплясываю от нетерпения, благо адресом располагаю – вытащил из базы данных. Автобус обдаёт меня парами бензина. Сажусь на заднее сидение возле окна, машу ручкой киоскам и домикам, которые непостижимо уплывают в цветные огни. Нет ключа. Нет плана. Нет заготовленной речи. Буду импровизировать и выкручиваться.

Но импровизировать не пришлось. Дверь открыл учтивый почтальон. Взбежал на верхний этаж, робко надавил кнопку. Открыла немолодая женщина в розовом махровом халате, ни слова не говоря, пропустила в коридор. Снял кеды, расстегнул ворот, разматал шарф. Она уже стояла на кухне и колдовала над кастрюлей.

– будешь? – говорит.

– буду, – говорю.

А что буду – сам не знаю. Пока готовила, прошмыгнул в комнату и прижался щекой к зеленоватым обоям. Аширов тут жил. Аширов. У балконной двери – корзина с игрушками. Резиновый пес, у которого откушено ухо. Кукла без волос. Заколка. Заколка. Трактор на батарейках. Я катнул трактор. Он завыл и помчался, тарахтя, через всю комнату, по тонкому полосатому паласу. У стены забарахлил и встал. Я снова катнул. Он опять помчался. Я засмеялся от радости и поставил трактор себе на лицо, ощущая жесткие рифленые колеса. Он должен проехать по мне. Лег и катнул. Машина завязла на животе, всхрипнула, завалилась набок. Увидел ковер, свернутый в рулон. Захотелось погрузить руку в длинную трубу, что тотчас исполнил, не ожидая найти ничего, кроме прохладной пустоты, но вытащил пестрый пластмассовый браслет с отломанными зубчиками, надел на руку, погремел как чешуей и прыгнул на диван, скрипящий пружинами. Я скакал на нем, стараясь коснуться потолка. Он подбрасывал невысоко, скрипел пронзительно. Я кубарем скатился и, воображая, что за мной гонятся, перекувыркнулся в соседнюю комнату, где всегда были задернуты желтые шторы, полумрак, рядом располагались две кровати, аккуратно застеленные, и под подушкой одной из них лежал тряпичный заяц с белыми ушами. Схватил за ухо, раскрутил, бросил, он глухо ткнулся в стену, забормотала женщина. Юркнул под одеяло, накрывшись с головой. Нужно заснуть. Сон не приходил. Я считал до ста, до тысячи, путаясь в цифрах и начиная снова, и снова путаясь, и лежа с выпученными глазами, и нарочито шумно дыша, и где-то раздражающе пищал комар, и женщина бормотала, будто не могла меня отыскать, но хотела что-то сказать, позвать. Когда она вошла в комнату, я уже спал, мне снились прыжки с крыши, безопасные, мягкие, огороды, города, тени людей. Когда она вошла, я не мог проснуться, потому что не хотел просыпаться, я так устал, и замерз, и тело было сквано магией неподвижности, и женщина бормотала, то надо мной, то вдали, то как будто вползая в ухо, влетала свой голос в мой беспокойный сон, производя внутри ячеистые структуры, и все-таки я спал, а значит не мог быть уверен наверняка, что она стоит надо мной, что бормочет, и нужно было проснуться, удостовериться, и когда открыл глаза, увидел: она сняла с меня носки и кофту, я лежу в одной майке и в маске, и тянется за маской, и отворачиваясь, защищаюсь, держусь за ниточки.

– будешь, – говорит.

– буду, – говорю.

Прошел день, и наступил вечер. Я провалился в полусон, периодически выныривая на поверхность и наблюдая за тем, как женщина наблюдает за мной, и куда-то порывается звать, но сразу же затыкал уши, только повторял: буду, буду, и она уходила на кухню и там гремела и звенела, словно раскачивая огромный колокол, и от нестерпимого звона ужасно хотелось писать (или писать), и я не делал под себя, потому что боялся последствий, и все выныривал, выныривал, хватаясь за тающие края реальности – свет, окно, плюшевые холмики игрушек, а потом она трясла, будила, и все норовила переменить подо мной мокрую клеенку, и я подгребал ее коленями, вжимался в постель, плакал, и приходил Мишка, спрашивал Витальку, и я восторженно гудя бежал за ним в бессолнечные дали, на коленях мы ползали возле ячеистой структуры из сосулек, налипших у продуктового магазина, и как переливались, как подплывали влагой в глубине, сочились невыразимым смыслом, откровением о всех нас, и в тонкие отсеки не проходил палец, застревал, гнулся, там были замороженные плевки и собачья моча, и другие таинственные радости, и я никогда не видел ничего подобного, и сквозь толстый лед смотрел в глаза размазанной пустоте, и Мишка предлагал шашки, мы бежали в подъезд, на искореженной батарее грели холодные руки, и чиркали спичками, оставляя следы копоты на стенах, и в квартирах звенели трехколесные велосипеды, лаяли псы, и мама уже не била в колокол, а куда-то шла с черным пакетом, с коляской, с девочкой-сестрой, и мы из шашек устраивали чапаева, я всегда проигрывал, мишка подводил меня к шкафу, где были книги, и я тут же читал, мгновенно отрешаясь от всего, и она тянула маску с моего лица, но та нее подавалась, точно была приклеена, становилось больно, я анонимус, меня нельзя увидеть, и рвался, и дергался, и выпрыгнул из постели, напоследок оббежал квартиру, поправляя маску, силясь что-то захватить, улики, реликвии, но не было ровным счетом ничего, и

все, до чего я касался, превращалось в дым, в сновиденное сущее, и в комнатах гудели колокола, и уже мужской голос добавился к женскому бормотанию, и дверь я не мог открыть, не было ключа, и распахивал все подряд, шкафы и шкафчики, холодильник, каморки, бытовки, и везде меня встречали темноты, углубления, пыльные запахи, и голоса, голоса, они подзуживали, подразумевали, сливались и переливались,

– будешь, – говорят.

– буду, – говорю.

В тщетной попытке удрать я вывалился в темный пенал задиванного пространства, и там-то лежала стеклянная банка с бёлю, я прижал ее к себе, взревел, и не обращая внимания ни на что, стал продираться через пальто и куртки, душащие, липкие, и полосы света, и колокольные звоны, мы, кажется, уже говорили с ней, с женщиной, которая перестала бормотать, а отчетливо отвечала на вопросы, и я как-то все понимал и знал: она сообщает важные вещи, необходимо запомнить, записать, но губы не шевелились, ноги дрожали, руки силились нащупать какой-то замок среди курток, бархатных платьев, и кожаных ремней, я щелкал застёжками, и убеждал взрослых, мне нужно выйти до темноты, потому что невыносимо слушать нашу беседу, не понимая ни слова, и уже на повышенных тонах, и речь бежала ручейками по стенам, и я бежал вдоль деревенских домиков за ручьем, куда пустил бумажный кораблик, он набухал, набухал грязной влагой, и провалился в грязь, и я сунул руку, по локоть, и дальше, дальше, грязь была податливая, теплая в глубине, и как-то выкатился бочком, каракатицей, в подъезд, там уже разобрался, куда брести, оборачивался на пятиэтажный дом, на балконе, казалось, кто-то стоял – мужчина, женщина, ребенок, комок бесформенной слизи? – и не колокол звучал, а заунывный гудок, или ветер, пролетая под скалами крыш, искажился, и вот я снова в автобусе, снова сплю, мне нужна конечная, кондуктор толкнет в плечо, разбудит, до кладбища два километра, я осматриваю банку на предмет повреждений, аккуратно протру, поцелую, взгляну на просвет, живое, живое бёлю колышется – как пена из пасти припадной лошади – уже на подступах увижу Селукова с ведром, он разгреб снег с могилы, набивает ведро мерзлой землей, и карманы, и периодически оглядывается, в страхе быть замеченным, при моем появлении стремительно убегает, за ним – едва пропустил – прыгает в сторону и другая тень – это Букша, у нее спортивная сумка, набитая чем-то черным, рыхлым, могила осквернена, распахнута как причиндалы эксгибициониста, я ойкаю, и зарываю, зарываю, и рыдаю, и зарываю, и утрамбовываю, прыгаю на снегу своими коротенькими ножками, и главное – крест, не покосился, но имя и фамилия мертвеца плохо просматриваются, чем-то заляпаны вонючим, зеленоватым, с жирными подтеками, и здесь понадобится бёлю, у меня его так много, что хватит на десяток ашировых, мыслю я, намазывая на табличку белую массу, она вступает в реакцию, шипит, быстро очищает твоё имя, наносит равномерные слои, малейшие следы зелени улетучиваются, ну вот, грязь полностью сошла, незапятнанное имя сверкает в снежной голубизне тихого вечера: АШИРОВ ВИТАЛИЙ ДАМИРОВИЧ, писатель (1982 – 2022), плоды моих трудов дадут о себе знать, скоро народ посмотрит в глаза твоим неизданным романам, а проверять социальные сети и новостные медиа, я буду, конечно же, сегодня.

СМОТРЕТЬ В ГЛАЗА!

Часть первая

I

На рассвете вы прибудете в Авиньон, омытый Тихим морем, гласит путеводитель, с облегчением оставите опостылевший пароход и вместе с молчаливой толпой туристов отправитесь к винтовой лестнице. Ступая в белые пески берега, вы услышите пронзительные крики чаек и за полупрозрачной пеленой облаков заметите огненный шар, что, несомненно, наведет на эгегиче-

ские мысли, разбередит неясные томления и мечтания. Вы остановитесь, и сзади идущие упрутся в вас с некоторым озлоблением, и подталкивая, подпихивая, недвусмысленно дадут понять недопустимость вашего своевольничанья. А что, скажете, разве нельзя обойти, на причале места хватит и роте мордатых солдат, растянутой вширь. Нельзя, ответствуют, регламентом запрещено, и продолжают ухищряться, сдвигая вас к синему пламени океана. Вы полной грудью вдохнете соленый воздух и тоскливо всмотритесь в даль, и там на пенных барашках будет раскачиваться всеми оставленный пароход. Пошто ты оставил меня, скажет пароход, если научится говорить, я же не умею плавать, еле держусь на кубистски изломанной поверхности волн. Держись, отвечаешь ты в мыслях, вернусь и обязательно тебя найду. Мы еще выкурим по кубинской сигаре.

Толпа, однако, насаждает, на все лады склоняя твое складное имя и понуждая таким нечестным образом понемногу сдвигаться, и ты уже, бросив на прощание ладонь, бодро идешь вперед и по-свистываешь. Железная машина, не в силах совладать с одиночеством, издает печальный гудок, и вот тогда к ней обращаются все мальчики и мужчины и, провожая ее жадными взглядами, проживают отчасти неожиданные экзерсисы экзистенциальных шевелений. Взабаламученное море с шипением захлестывает ваши ступни, вы ускоряете шаг, и поднимаясь по лестнице, рассуждаете исключительно здраво и благоразумно о котировках и планировке, о санкциях и эссенциях, изгаляется путеводитель, а вы – единичное лицо – не рассуждаете, но осуждаете окружающий гомон и, осуждая, предвкушаете светлый нумер, свежую газету, прохладный душ. С особливым тщанием мыслится последний, ибо физические оболочки душ нуждаются в уходе. Но постойте, куда это они уходят, не стойте же истуканом, догоняйте. Вы стремглав настигните толпу, и вместе залезете в трамвай с огромными окнами. Обожая обозрывать виды, предадитесь излюбленному занятию, покамест транспорт, дребезжа, плетется по мостовым.

Авиньон прекрасен ранней весной по сугубой причине ласковых ласточек над соборами и заборами, бесплотен зимой, бесплитен осенью, и безнадежно беспутен летом. Нет, вскричит путеводитель, не рекомендуется июльскими ночами шлендать по извилистым улочкам, навешая увеселительные заведения, ибо местные обитатели хотя добры и отходчивы, имеют криминальные наклонности, и беспрецедентная находчивость не уберезет от нечаянного исхода, ежели таковой воспоследует за чередой банальностей. Напротив, советует автор, везде и всюду придерживайтесь заведенного порядка, не отставайте от группы, будьте осмотрительны и счастливы, будьте скромнее; не бегите сломя голову, соблюдайте дистанцию, не заговаривайте с незнакомцами, а коли ненадолго заговорили, изобразите сердечный приступ. Не манкируйте прямыми обязанностями путешественника – они ждут вас, древние башни и современные музеи. В трамвайное окно вы увидите то да се, зеленые купы, гибридных животных, стеклянные высотки, но дайте впечатлению расплыться, не перегибайте палку, завтра размеренным шагом в сопровождении уполномоченных лиц изучите подробно прелестный городок. Может быть, вам приоткроется история, а если не приоткроется, то на десятой странице данного путеводителя прочитайте мелким шрифтом основные вехи и эпохи, и со вздохом закрыв брошюру, закройте и очи.

Мы допускаем, запальчиво допускает автор, что вас не прельщает увлекательная история Авиньона, а местные ист. памятники и вовсе наводят скуку на ваше извечно воспаленное воображение, но не можем допустить, что галерея Гарри Калишвили относится к подобному порядку заурядных якобы мимолетностей. Именно ради нее вы и прибыли. Не отнекивайтесь, не потупляйте жеманно глазки, будьте собой, соберитесь, вы не тряпка, а мужчина, гордый в своем творческом одиночестве семя, достойный член патриархального общества, представитель гильдии бухгалтеров, на худой конец – художников. Может быть – водитель или охранник, не знаем точно, да и что мы знаем, всего лишь выносим предположения, а уж как откликнутся в сердцах, как стакнутся с реальностью, не имеем понятия. Увы, понятия имеют нас, сокрушается коллектив авторов, хотя чего ему, казалось, сокрушаться и кукситься. В основе путеводителя – вульгарный шаблон, созданный древним умельцем на любые случаи, господи лишь номинально присутствуют, дополняя местными деталями ладно скроенную болванку. Влиятельный Калишвили, впрочем, вычитал исходник и предложил правки, в частности, относительно галереи.

Нет, размашисто писал Гарри, ничто не способно вытащить вас из теплой постельки в уютном Урюпинске, и повлечь чрез весь мир по морским и воздушным трассам. Куда симпатичнее и символичнее, а отчасти архетипичнее взирать сон чреватый победами над пространством и временем, нежели обозреть допотопные достопримечательности, пыль на подковах бронзовых скакунов, тяжелые бюсты властителей и примитивные приметы древнего быта. Понятно, в спрессованных пластах древних цивилизаций порой обнаруживаются любопытные артефакты, загадочные окаменелости, заплесневелые сервера, замшелые симки, смартфоны, сплюсненные тисками тысячелетий до плотности листа, клювы птиц и мослы сусликов. Но разве ты палеонтолог, нет, ты суть сама нежность, живущая в астральных пустотах байкового одеяла. Подняться никак, только если по государственным надобностям.

И что же заставило этого индифферентного индивида совершить путешествие, спрашиваю я вас, милостивые господа? Вы тарашитесь огромными очами и наивно предполагаете: галерея Калишвили, набитая, как мошна мошенника, шедеврами современной живописи,

– она,

твердо добавляет Гарри, – растягивает хронотопы и притягивает гостей со всего мира. Вы прастываются из одеял, снимают чепцы, спешат на утренний поезд, ночной дирижабль, кто-то и пешком добирается, а вы прибыли на пароходе и, не успев отойти от качки, трясетесь в трамвае. Сказано: оставь на завтра. Взволнованы, взвинчены, педалирует путеводитель, покидаете средство передвижения и в белоснежном номере стоите возле окна. 115-й этаж. Авиньонские шпильки пронзают облака, золотой шар нестерпимо палит на востоке, серебристые чаши крыш блестят.

Таким я тебя и представлял, восклицает автор, незнакомый город! Куда ни оберни взор, везде великолепие, золотая башня перинального центра вызывает восторг, стеклянный дом правительства обнаруживает трепет, органнй зал дворца композиторов не виден, но – есть, и заслуживает пристального внимания, завтра у вас не будет времени, но послезавтра – будет, и гуляя вечер, не премини зайти, и заслушавшись, всплакнешь о прожитой жизни, упущенных шансах, пропащих шахтерах, о чем-то и вовсе непостижимом, – о девочках. Кто мы? заключает коллектив, странники, проходимцы, и если не искусство, то что заставит забыть суету сует, бессмысленную толкотню однообразных дней, грубую клинопись времени на клонированных лицах, застыть ошарашенно возле смычка или мазка, напротив балетной пачки или ударной строчки. Только ради бога, дорогие гости, ни в коем случае не посещайте галерею Калишвили – слушайте музыку, она проще, лукавит путеводитель, намекая на интеллектуальное превосходство тех, кто предпочитает живопись, над теми, кто – органнйе фуги. Не входите в ее барочные залы, хитрит коллектив, что вам, тут не полонез, не лезгинка, не затрепещет ретивое, не взлетит болезная, одни токмо девочки, ибо подвизается Калишвили на почетном поприще поп-сюрреализма, сиречь лубброу искусства – что до меня, так я не упускаю случая забежать на оперу, проникнуться пафосом баса, и упускаю, трагически упускаю из вида – пусть это и чрезвычайно сложно исполнить – сеть галерей Гарри Калишвили, раскинутых по всему миру, как-то промахиваюсь мимо дверей, призывно разверстых, не смущают меня и броские плакаты, врет путеводитель, там и сям разбросанные – и в Салехарде, и в Урюпинске, билет по традиции – за баснословно низкий прайс, а кто сейчас при деньгах, и, проглядев, врываюсь в органнйе залы, с грохотом топчу бархатные ковры, и вот я в ложе, тискаю лорнет в предвкушении, и невдомек мне, такому уродцу, что буквально в километре, не дождавшись меня, изнывает в великой тоске современное искусство. Что мне искусство, кокетничает коллектив, мне подавай усыпительные песнопения и гармонические сращения нот, иначе не упокоюсь в креслах, а там, глядишь, и весь зал упокоился, храпят старики, сопит молодежь, воют артисты, фальшиво изображая любовь до гроба, занудно пилят смычки, вразнос пошло пианино, и в корчах бьется дирижер, остервеневший от мерзкой публики.

Иное совсем пространство в галереях Калишвили, намекает автор. Там уж не заснешь, а ежели удастся вздремнуть, немедля потеряют хранители: впьются в полотно. Как будто еще не достигли желаемого эффекта, авторы описывают архитектурные изыски построек, то, говорят, лаконичность и минимализм, а то – максимализм и бесконечность. Гарри мастерски использует разные

стили, и к открытию очередной галереи подходит с исключительной скрупулезностью. Хлопает шампанское, знать рукоплещет, взволнованный мэр разрезает ленточку и произносит речь, всех обносят креветками, обносят лишь Гарри, который, по обыкновению, сидит в углу в допотопном кресле и, как сытый кот, ухмыляется в усы, ибо скромн и прост. Обычный мужичок этот Гарри (про такого и писать не стоило, однако он великодушно спонсировал наше издание (фрагмент вымаран редактором)), в толпе не различишь, и постороннее лицо никогда не определит, богатейший человек в мире или оборванец, жмот, замучивший жену придирками. Да постороннему лицу будет плевать на увлекательные физиогномические упражнения, ведь незаметно, в мелких заботах, просочится в небытие первый день.

2

Посетив клозет и столовую, оценив морду метрдотеля и швейцарские часы швейцара, портеры портье и робу уборщика, на пружинистой постели вы приметесь почитать газетку. Например, «Авиньонские сплетни», не то, ежели не окажется, «Сплетни Авиньона». Несмотря на радикально разные названия, газетки, по сути, исповедуют одинаковую позицию – беспорядочно плескать в девственно чистый мозг филистера разнообразную информацию, увеселять и обучать – и пусть вас не смутят заголовки, где явственно фигурирует и доминирует Авиньон.

Наш провинциальный город настолько тих и скучен (вымарано редактором), что мало-мальски бредовых событий, излюбленных мешанами, попросту не происходит, или случаются иногда, но редко, поэтому ушлым писцам прежде приходилось сочинять отсебятину, то есть откровенно врать, вешать лапшу на уши, что не очень нравилось целевой аудитории, которая порой заявлялась громить редакционные офисы, не обнаружив там-то и там-то таких-то удивительных феноменов. О, подвальные призраки! О, говорящие камни! О, живые девочки! Много невоплощенных идей сгинуло в заметках, указывает путеводитель, не добралось до стадии реализации, и теперь пуганые и битые журналисты собирают пеструю смесь со всего мира, убежденные в том, что читатели не отправятся на Аляску проверять, правда ли тамошние медведи поют бельканто (поют, но не все, – приписка Гарри). И в пандан этому безобразию – в знак патриотической преданности идеям мирового патриархата – публикуются исторические материалы, призванные освежить в народной памяти давние события. Помпезная муть обычно пропускается, филистер, словно в ширинку, лезет в юмористический отдел, но вы-то не из таких, вас-то, лебезит путеводитель, вас-то влечет освежить и углубить, вам попросту скучно и книг в наличии нет.

Сегодняшняя дата обедеда траурной черной каймой: 22 июля, год 7021. Пять тысяч лет назад началась эпидемия коварного коронавируса, которая унесла миллионы жизней и потрясла не только экономику, а и всю структуру человеческого бытия, и даже, с придыханием восклицает газетчик, изменила генетический код.

Пусть желтушные журналисты ударяются в конструирование теорий, мы не верим, верит читатель риторическому обороту, мы убеждены, что коронавирус пришел из Китая, накося выкосил половину земшара и улетел в небо, окучивать иные планеты и цивилизации, и с ужасом, а некоторые с иступленным восторгом, человечество ждет второго пришествия заразы. Хотя не переживем, утверждает путеводитель, на страницах коего разворачивается подробное изложение содержания запальчивой газетки.

Итак, коронавирус погрузил людей во тьму. Закрылись заводы и фабрики, застопорились мелкие предприятия, зависли планы и замыслы, зловещая тишина объяла переулки и арки, районы и перроны, лишь пораженные болезнью опасно выглядывали из окон, чтобы тут же спрятать изъязвленные лица, но разве спрячешь, когда корона проникла в жилища и нудит и зудит возле изголовья как сама смерть, отчаянно надрывается писака, зарабатывая копеечку на хлеб насущный. Трупы, говорит он, трупы покрыли видимое и невидимое пространство, источая зловоение, и словно из самой бездны слетались огромные черные птицы и выклевывали глаза, не то довольствовались языком и тестикулами. Стон стоял, короче говоря, непрерывный, и жуировали мерзавцы. И висельники, разлагаясь, скакали галопом по детским телам.

К слову, о детях. Наводя жути, автор изображает святую невинность, трепетно описывая маленьких умирающих девочек (будто знает, как выглядели!), с протянутой к безмолвным небесам ручкой падают на колени и жалобно шепчут, но вирус беспощаден и насмешлив, язвит и жалит без устали. Автор, неистово антропоморфируя, описывает его в облики представительного джентльмена с котелком, в лайковых перчатках, только вместо лица сплетение ядовитых змей. Собираясь убить, злодей протягивает руку и приглашает ту или иную плачущую девочку на танец. Пара долго танцует под военный вальсок. Выбившись из сил, ребенок просит пощады, да где там, ковид всеми змеями впивается в детское тело и с хохотом уносится, оставив кучку кровавой плоти.

Вы перемигнетесь. Но вспомните – статус газеты, мягко говоря, несолидный, и успокойтесь. Любые спекуляции на тему девочек смехотворны, хотя и встречаются одобрительным похрюкиванием в невежественной среде. Доподлинно известно одно: налетев чудовищным смерчем, и порушив, если не сказать похерив, ход цивилизации, коронавирус сломал что-то в генетической цепочке, потому что после того, как он прекратил нас терзать, девочки перестали рождаться. Мальчики горохом сыпались из маток оставшихся женщин, а девочки исчезли. С тоской и грустью ученые отметили фатальные изменения в ДНК и лихорадочно пытались вернуть все на круги своя, но ход времен неумолим, неукоснителен – признав поражение, вы опустили головы.

Владимир Будин выгодно использовал всеобщую разруху и совершил невероятное, объединил города и страны, правое и левое, веси и села, и, весь невеселый, сформировал единое правительство, за что ему до сих пор благодарны потомки, ибо не всяк знает, как бы повернулось колесо жизни, если бы не предприимчивый поступок российского президента. Он стал отчасти небольшим утешением за мутные столетия коронавирусной доминации. Тогда еще существовавший на сыворотке молодости, вечный, блистательный, остроумный Будин и ныне с нами, витийствует газета, только несколько постарел, но благородно, будто древний дуб. Роскошная борода касается пола, но решения все также точны, ум – цепок, слово – веско. Потому ли так, что добавляют ныне в сыворотку синтезированную кровь петухов – неведомо, а верят слухам сплошь дегенераты. Да не уподобимся личностям с отклонениями, друзья! А коли есть у нас отклонения, мы радуемся им! – на мажорной ноте заканчивается заметка, переходящая в славословия Будину, что, конечно, абсолютно нормальная практика, но сколько можно! Тут, в солнечном Авиньоне, вы надеялись ускользнуть от политики, и поскользнулись на ней.

Мирьону (газетчику) не терпится освежить школьные знания, выложить про систему кабинетов министров, строгую международную иерархию, мир во всем мире, делегации и пролонгации, не обойдет он вниманием и многочисленные памятники неизвестным жертвам вируса, храбрым путешественникам в небытие, то гигантские, по двести, триста метров, а то крошечные – то, конечно, детские, и в основном изображающие мальчиков. Девочек если и воплощают, лишь в абстрактном виде. Никто не помнит, как они в действительности выглядели, а дать маху перед суровой правдой всемирной истории добросовестные архитекторы не решаются.

Некто Х. поступил просто – вылепил большую Д в центре Москвы. И вот уже который год толпы пионеров кладут венки к подножию литеры в память о несбывшихся сестрах. У., по заветам поп-сюрреализма, вылепил многорукое мохнатое существо с глиняной бомбой вместо головы – и что, тоже девочка, и тоже пионеры, не сдерживая чувств, рыдают на подступах к объекту. Знаменитый Z. создал гладкий розовый шар диаметром тридцать метров – самая реалистическая, по мнению современных антропологов, передача облика маленькой девочки, водрузил на тибетской горе Карум, и бедные пионеры, сбивая в кровь коленки, забираются туда, отдать дань мужеству вымершей твари. Попытки вылепить что-то антропоморфное давно прекратились за неимением точных доказательств, что девочки выглядели как, ну например, мальчики, с косметическими изменениями.

Nota bene: облики взрослых женщин также размыты в нашем сознании, ведь дамы не питались живительной петушиной сывороткой, а когда человечество спохватилось, многие достигли

преклонного возраста и пачками умирали. Предпринимались суровые и безнадежные меры все изменить. Женщины были объявлены существами стратегического значения, занесены в особые списки, и различными способами в них поддерживалась жизнь. Не способные из-за почтенного возраста рожать, несколько тысяч избранных, тем не менее, сумели прожить еще несколько тысяч лет. Мумифицированные женщины (пять драгоценных экземпляров) находятся в крупнейшем пекинском музее, и – увы, не пионеры, те не пекутся о судьбах своих гипотетических матерей, но любопытствующие филистеры нет-нет да и забредут на огонек, рассматривая страшных, сухощавых, замотанных в саван особей.

Кем они были? – проносятся мысли. – На что способны? Покорны и ласковы или агрессивны и безумны? Самка богомола, в минуту откровения признаются биологи, пожирает самцов после соития. Не гнушались ли женщины подобным беспределом? Или веяли негой, покоряли красотой и шептали на ушко очаровательные благоглупости? Во всяком случае, дамы до сих пор наблюдаемы воочию (в Израильском пансионате сохранилась последняя женщина, она совсем возрастная, и ничего вразумительного поведать не может, но с удовольствием принимает гостей, и с такой ажитацией пьет сыворотку, что диву даешься), а девочки – нет, их не удалось запеленать, дети сплошняком гибли от ковида, поэтому нынешнее поколение с неким внутренним колебанием мы называем потомками тех, кто появился и выжил в трудную эпоху, мы – семья доковидных еще обитателей шара.

Как вертелось дальше? То вяло, то скоропалительно, исподволь превращаясь в обыкновенный кровавый фарш истории. Счастливые мальчики, понукаемые чрезвычайными обстоятельствами, рождались, пока могли. Меж тем в лабораториях творились лихорадочные несусветности. Запросто изобрели искусственные матки для воспроизведения полноценного потомства, но из оных большей частью выпрастывались мутанты, посему решили искать в другом направлении.

Профессор Тай Му (в начальных классах ты непременно делал специальный доклад и помнишь его фото) запустил операцию по тотальному клонированию мужской половины, что было многожды испытано на комарах и с облегчением пущено в оборот. Проблема рождаемости отчасти разрешилась, теперь никто не волновался, посыпая голову пеплом и причитая о скором конце света. Исчезнувшие враз, женщины оказались в общем-то не нужны. Кое-кто, впрочем, по ним скучал и даже в лютой тоске лишал себя жизни, однако люди настолько были измучены коронавирусом, что с признательностью, достойной свидетельских показаний, довольствовались тем, что осталось.

Незначительные затруднения, вызванные новым положением, не стоило и упоминать, но ушлый Мирьон так сильно хотел попасть в заданный загодя объем материала, что коснулся и сексуальности. Дескать, в древние века наличествовала не только у животных, но докучала и людям. Непоправимое изъятие женского тела привело к росту однополых страстей, что, конечно, и бесплодно, и бессмысленно, противоречило религиозным догматам и вызывающе шло наискося моральных норм и нор цивилизации. С нашей тысячелетней колокольни трудно понять, чем докучала, но видимо настолько сильно, что у всех будущих клонов – на уровне прототипа – Тай Му отсекает возможность сексуальности как таковой вместе с соответствующим органом, мозговыми рецепторами и телесной чувствительностью, что, безусловно, пошло человечеству на пользу, отвратив от низменных влечений и повернув в сторону творческих и иных социально полезных порывов. Охолощенное человечество не возмущалось, потому что клоны стабильны, добры, услужливы и рады всему, что предложит справедливое правительство, а так как оно давно состоит из клонов (ВБ не в счет), то ничего вредного для самих себя измышлять не станет.

Нельзя сказать наверняка, являлась ли сексуальность для древних людей мистическим таинством, посвящением в высший ранг, как для некоторых видов гималайских горилл, или была будничным спрядением, не приносящим ярких ощущений и эмоций, как для водяных ночниц и бифидобактерий *longum*. Нам сложно представить отношения самцов и самок – сходились ли на две минуты ради быстрого содрогания или, прилепившись половыми органами, проводили десятилетия, не то – не прилепившись, жили бок о бок, периодически обдавая партнера телесными

выделениями, а то брали на себя полную заботу о нем, впадающим в каталептическое состояние после спаривания – на сей счет имеется миллион догадок.

Что нам остается? Ученые из кожи вон лезут, пытаются разгадать, как было на самом деле. Археологи исполосовали пласты земли, чтобы добраться до нужной эпохи, а без толку – физические признаки древних цивилизаций слились до состояния неразличимости с природным материалом, посему мы по большей мере довольствуемся устными сказаниями, которые долговечнее и надежнее объективных фактов. За долгие годы интерпретаций и вариаций они трансформировались в народный фольклор и философские спекуляции, поэтому никто не берется с окончательной достоверностью утверждать что-то о сексе, женщинах и отношениях.

Ясно одно: происходили события смутные и непонятные нам.

Так же и наша жизнь была бы странной и диковинной для гипотетического взгляда древних, и дело не только в отсутствии межполовых чудачеств, но и в нашем облике. Мудрый Тай Му был прав, когда говорил: разнообразие порождает чудовищ. Приверженец китайской религии, он стремился к совершенной унификации, и создал не бесполезное множество лиц, а одно, идеальное. Теперь мы – вещает журналист – пятнадцать миллиардов раз продублированный мужчина.

Образцом служил портрет сына, прекрасного ребенка, умершего от ковида. Остроумное решение сумело спасти мир от грядущего краха и упорядочило социум в невиданной доселе манере, так что разногласия и усобицы, прежде вызванные в том числе и внешним видом, прекратились одномоментно. Словно по мановению волшебной палочки, исчезла дискриминация – нет рас, гендеров, социального неравенства, нет ничего, что огорчало и ссорило – мы единое существо. Нет стычек, недопониманий, ибо мыслим одинаково, одинаково верим и видим, говорим и страдаем, что, конечно, полезно в любых областях жизнедеятельности. Так, ученые могут замещать один другого в лаборатории. Музыканты не опоздают на концерт. Нет стран, семейной жизни. Нам снятся одинаковые сны. Давно отменили денежные знаки, нам ни к чему материальные блага, мы пользуемся тем, что заслужили по итогам рабочей недели. Принадлежим единой всеобъемлющей культуре, говорим на великом русском, носим одинаковую одежду. Работаем на одной и той же фабрике. И легко умираем в один и тот же день. Мы избавились от недостатков человечества, перевели его в новую фазу.

«Продуктивность и свежесть!» – наш девиз, пересказывает К. старенький учебник истории.

3

Со стороны может показаться, общество клонов сплошь тоталитарно и даже антиутопично, и это, конечно, брехня, потому, что в тоталитарной среде такая смелая подача фактов, стилистика и поэтика, как в том учебнике, невозможна – откровенного автора укутут в карательное заведение, перекроют ему средства к существованию. Нет же, он здравствует и жирует, уважаем и обеспечен.

У нас нет ограничений для граждан, нет препон и условий, нет полиции и пенитенциарных учреждений, войн и территориальных споров. Мы не придерживаемся закрытой общественной системы, каким был великий древний тоталитаризм или его младший брат-дурачок, капитализм. Развитой патриархат открыт и целеустремлен. Мы никого не заставляем работать и редко наказываем за случайные поведенческие aberrации. Ежели индивид обнаружит творческие наклонности – приветствуем нового художника, музыканта и стимулируем его способности к созиданию. Фабричный рабочий день творца сокращается на два часа, которых с лихвой хватает для творчества.

Отсюда не вытекает, что у нас нет развлечений и угрюмыми буками по утрам тащимся мы в грохочущие цеха. Пусть дни отдыха строго регламентированы (среда каждого третьего месяца), они до отказа заполнены танцами, просмотром любимых фильмов или блаженным валанданием на диванах.

Впрочем, коли бы мы обладали правом голоса, пишет коллектив, то уж непременно не преминули бы напрямик заявить: прежде было интереснее. Под плотной земляной толщей утеряны электрические технологии, развитые когда-то до баснословного уровня. Если создать освети-

тельные приборы мы смогли, используя магнетическую ауру светлячков и половые железы экзотических рыб, то покорить небо не сумели, не обзавелись компьютерами и сложными средствами связи, о коих ходят противоречивые слухи.

Официально принято считать: карманные гаджеты зомбировали граждан, и те, лишаясь собственной воли, становились послушными пешками в кровавой игре корпораций. Кто-то начинал слышать голоса. Подстрекаемые вкрадчивым электронным приятелем, дети зачастую кончали самоубийством. Лучшие друзья, пообщавшись через гаджет, становились врагами на всю жизнь.

Мы, вымышленные мирьоны, благодарны правительству за то, что оно избавило нас от такого «прогресса».

А вот неофициальная точка зрения – и мы, авторы, дерзко разделяем ее – заключается в том, что технологии превращали древних практически в магов, способных покорять пространство и высвобождать скрытые силы материи. Нас отбросило за пределы научно-технической революции, и если кое-где мы поднаторели (а в генетической области, возможно, опередили предков), то в целом безнадежно отстаем. Несмотря на бодрые увещания идеологических наставников, негласно принято: отхлынули, попятись. И постоянно трудимся, не покладая рук, может быть потому, что в душах тлеет надежда настичь и обойти.

Объективности ради надо заметить: в безнадежных поисках создать действенную вакцину против коронавируса мы походя сумели справиться с большинством заболеваний, докучавших человечеству.

Мы не нуждаемся в больницах. Проблемы, вызванные несчастными случаями, эффективно решаются в перинатальных центрах. Физическое состояние клонов столь совершенно, что мы без всякого ущерба для себя могли бы работать двадцать часов в сутки (заботливое правительство ограничило рабочий день девятнадцатью). На ежегодных спортивных празднествах клоны берут рекорды, которые и не снились древним людям. Мы поддерживаем очень низкие и очень высокие температуры, ничего не выделяем, полностью растворяя пищу, сильны как медведи, гнем подковы, перекусываем стальные пруты, поддерживаем длительное погружение под воду, – иными словами, нас сделали так, чтобы мы были на порядок лучше природных людей.

4

Но мы удивительны не только телесно, притворно удивляется Мирьон, над нашими духовными потребностями работали не менее кропотливо. Мы не должны были быть (со школьной парты ненавидя этот тавтологический оборот, Калишвили презентовал его несимпатичному журналисту) тупыми машинами, ордой мускулистых имбецилов, и всем без исключения великий Тай Му подарил веру.

Мы глубоко религиозны. По смутным слухам, раньше было множество учений и конфессий. Спорили, ссорились, народ перемещался внутри культов и нигде не мог окончательно закрепиться, потому что истинного знания не было ни у кого. Президент решил вопрос кардинально – отсек все религии, кроме православия, ибо только в нем протекает незамутненный родник истины, а прочие – бесовщина, морок, игра ума.

Дети неосознанно молятся уже в колбах, торжественный благовест будит младенцев на кормление, адаптированную книгу бытия читают воспитатели в интернатах.

Отдельные воображаемые нечестивцы могут возмущенно высказаться на тему отсутствия выбора – дескать, клоны обречены верить.

Но разве, спросим мы, Христос – не сияние света? Не мерцающий луч божественного начала? Не сама милость, сгустившаяся в цель и цвет? И разве он не справедлив и бесконечно благ? И кто если не он? Мормонское кровожадное чудовище? Суфийский распаленный бес? Индийский гермафродит? Ведический камень?

Напоенные духом, выходят клоны из священных храмов, и райской музыкой кажутся фабричные гудки.

Мы производим по большей части сырье для новых клонов, и тем важнее наша работа, ибо связана с невыразимой радостью рождения.

Всех клонов зовут одинаково, таким было строгое указание Тай Му, который придерживался единообразия в мелочах.

Постойте, почему именно Калишвили? притворно изумятся те, кто в детстве до оскомины переиграл в театральных кружках, а не, к примеру, Мухин, Мурадов, Мыр. В конце концов, хорошее имя – Мыр! Мы требуем, нанесите, пожалуйста, на робы, вместо ГК, нанесите Мыр!

Легенда гласит, ГК был приятелем Тай Му, образчиком обаяния, оплотом надежности, бузотером и повесой, так, что, впад в зависимость от его светлой личности, тот повелел клонам называться Калишвили, дабы элегически ностальгировать при взгляде на бесчисленное количество гарри, погибшего в результате несчастного случая (автомобиль был пьян, водитель визжал шинами).

5

Читатель поспешает к торжеству вернисажа. Ведем вас наиболее длинным маршрутом, дабы впитали в себя расточительное роскошество южного города. Колоннады и портики, пилястры и перила, капители и кариатиды – вы проносите мимо, не удосужившись запечатлеть в памяти богатства архитектурных построек. Вам не терпится. Но маршрут прочерчен столь затейливо, что вы еще добрых полчаса проблуждаете по хаотическим закоулкам боковых улиц, по идеально выверенным прямым магистральным, и мимо вас в пестрых тюрбанах и желтых жилетках будут шмыгать деловитые горожане.

Вы углубитесь в перипетии местного быта, патетику птичьего гомона, поэтику водных каналов, в перепалку ветра и ветряка, перистальтику поливочных шлангов и абрисы перистых облаков, вылепленных по одной и той же нехитрой схеме – бородатый профиль, греческий нос, загребушие руки. Вы упретесь в повозки мальчиков-рикш, запыхавшихся от шумного бега и вдруг вставших посреди улицы. В гаражные ворота и ржавые колонки. Вы потеряетесь в Авиньоне – с мрачной безнадежностью покажется вам однажды, и тут вековая бетонная башня выступит за массивом блочных строений. Насвистывая кузнечика, направитесь по этому ориентиру, ибо в ее подножье притулилась галерея Калишвили.

Нетерпеливо перелистываете страницу.

6

Синеет размазанная стена, переминаются с ноги на ногу зеваки и вояки, и приглашенные сановитые гости, чьи кареты стоят тут же (кучера шушукуются, мордатые псы лижут задние лапы). При вашем появлении толпа замирает, застывают и кровососы, а пылинки – те забывают о танцах, даже единственная лужа перестает морщить лоб и отражает вас в полном церемониальном облачении – белые перчатки, тяжелая трость, светский костюм.

С восторгом внезапного и приятного удивления читатель принимает бурные рукоплескания, да он уже и не читатель – и был ли (не был, встречает галерист, я себя изначально и описывал, и совершенно не ведаю, с чего вы взяли, будто я какой-то читатель, нет, не несу за то ответственности). Зато подгадали мы так, льстят авторы, что ваше появление сопровождается биографическим рассказом о вашей персоне.

Это незапланированная самодеятельность, – и не манкируйте счастьем освежить в заскорузлой памяти босоногие дни соломенного детства, достославные лета в ветрах, осени в просини, зимы у камелька, сиреневые весны.

Да, но что сказать о детстве – было, плескалось, цепенело. Очажный дым уж и не вспомнить, отплясал, улетучился. Камелек поблек, и добрый гувернер дядя Коля с красноватым, вечно обветренным лицом, любитель штофа и владелец штифта, штрипок и стаффордшира, подшофе вываливается в томную пазуху ночи и остается там навсегда – трудненько вспомнить то, чего не существовало, вспоминает Калишвили, пишете вы стандартный элегический зачин, призванный настроить на нужный лад порядком взволнованного читателя, который уже

разрезает ленточку, глухо хлопает шампанским и приглашает посетителей посетить галерею contemporary art.

Камелек поблек, пишете вы, да и что такое камелек – непонятное слово из прошлого, но как иначе передать то, чего у нас в принципе не бывает – а ежели не передавать, нарушатся традиции, принятые негласно, а кое-где и согласовано, исказится преемственность, испортятся элементы хорошего слога. Посему, действуя осторожно, мы действуем в рамках приличий. Нам дано существительное – камелек – и ежели не поблек, то что с ним случилось за долгие годы вашего отсутствия в детстве – неужели вымахал до исполинского размера, покрылся зеленой кроной, и в прохладной тени его разлапистых ветвей путники и распутники находят приют.

Как бы там ни было, в детстве мы скачем у камелька, сосем карамельные палочки, карамо-рой проносимся по коврам, залихватски исполняем карамболь и зажигательно танцуем краковяк. Длинный – вплоть до разношерстных прашуров – генеалогический ряд сопровождает наше рождение. Любопытны дядья и бабушки, братья и сестры, отцы и матери, хороши неведомые ятровки и девери, относительно неплохи племянники и племянницы. Так и тянет окрикнуть побратима, пожалиться на кума и пасынка, да оный необратим, попросту – невозможен, таинствен, исключительно затылочен и заколочен в семантическую темницу. Но бабушка обязательно восстанет из седой мглы, и обовьет четырьмя руками, и зычно протрубит хоботом, и предложит гостинцев – маковых плюшек из кунгурского непорочного крема, линов со светаной, напузырит полную тарелку рща, и воспарив в истинном обличии над обеденным столом, проклянет твоих обидчиков, так что оные поймут беспочвенность притязаний в отношении малоохольного ребенка, дадут лататы, и прозябая где-нибудь в Зимбабве, обронят слезу над покайнным письмом, однако поздно – та реальность заволоклась мутным дымом, эта – сейчас поблекнет – а камелек? Он поблек бы, да пока слабое пламя играет в его трехмерности, и на деревянном коне ты сидишь пообок, не подозревая, что бабушка – парит, языки – лижут или вот-вот примутся за лаковые уши твоей качалки, тех – нет, эти – далече, будущее обречено, настоящее сумбурно, и подлежащее сказуемо, и наказуемое преобразуется в несказанное, деяние – в дарение.

Концовку не понял, вопрошает Калишвили – о каком таком деянии, по всей видимости, уголовном, вы толкуете. Ничего, ничего, отнекивается коллектив, скоро поймете. Всего лишь фигура речи, призванная продемонстрировать крайнюю открытость миру, что характерно, по некоторым данным, для психики маленького ребенка двадцать первого века. Нам-то не дано наверняка и воочию – мы все больше обиняками, по дремучим преданиям составляем картину живописного прошлого. Но ребенок-то сгорит. Не сгорит, да и нет никакого ребенка, ведь вы же пробирочно-колбочный, дорогой мистер Калишвили – какая лошадка, о чем вы, окститесь! И мы снова журим и грозим, и увещеваем, но призрачно, в рамках дозволенного.

7

Вашей подлинной родительницей была биологическая станция м41, а вместо бонн и бабушек шуровали по извилистым коридорам молодые лаборанты в белых халатах. Номер 345-й, ты преспокойно зарождался в пробирке, будучи химической реакцией модифицированного генетического материала на реагенты, и единожды возникнув, уже не мог ускользнуть в небытие, стремительно проходил непреложные циклы формирования организма – пока не вымахал в человеческого младенца, которого из теплого водоема поместили в колбу 378.

Первое воспоминание – об этом. Длинный ряд стеклянных сосудов, наполненных физиологическим раствором, где скрючились твои братья, подсвеченные кварцевыми лампами, зародыши с морщинисто-красными лицами.

То и дело случались ЧП. Разве могут нерасторопные служащие углядеть за всем? На ваших глазах обмяк и съезжился номер 18. С воздушной помпой явились санитары, размонтировали устройство, и тут же трупик опустили в биологическую цистерну для дальнейшей переработки.

Мозг, развивавшийся молниеносно, все впитывал и учитывал. Блестящие поверхности стен, пола и потолка многократно зеркалили родильню. Цистерна в центре зала вращалась с истошным визгом. Все вокруг тряслось, замирало. Вспархивали пузырьки, носовые трубки доставляли полезные вещества.

Мы росли. Нас осматривали и регистрировали. Мы наблюдали мир, и он был прост как свет и тьма.

В колбах звучали учебные передачи, брнчали патриотические марши. Проникаясь правильным мировоззрением, ты вытягивался в длину, мордочка разглаживалась, что-то до боли человеческое проступало в чертах лица.

Принятию простого и отрицанию недостойного учил негромкий, но отчетливый голос диктора. С металлическими интонациями сообщал о беспремерном величии Родины, голубизне полевых цветов, о том, сколь счастливы будем, когда из родильного заведения попадем в перепутанные пространства реального мира.

Когда ты перестал уместаться в колбе, тебя вместе с другими такими же новорожденными и неоперенными перевели в бокс 64. Там предстояло провести десять лет.

И вот неутешительные картинки. Вы маршируете в умывальню. Конвоиры покрикивают, обращая внимание на неужоженность пижам и общую унылость рож. Мы должны хранить на лицах исключительно улыбки, в крайнем случае довольные выражения.

Коли замешкался – толкают, а то несильно бьют прикладом, ради профилактики, для страдания и взращения. Иначе не обуздать мальчишескую прыть, которая перманентно рвется, и никакие увещевания не помогают, только физическая сила. Ее мы уважаем, любим и боимся.

В душевой голые, гладкие спереди как куклы, сбиваемся в кучу и ждем, когда мойщик начнет поливать из шланга. Вода ледяная, мы повизгиваем от холода. Потом в гимнастическом зале обильные физические упражнения. Нас готовят кропотливо и тщательно – фабрике нужны крепкие руки.

До полудня патриотические и православные уроки.

Наконец, строим, под боевую песню – на работу. Несложная возня со скальными породами, тележка, свежий воздух, проникновенная мелодия.

Приятельство выбивают прикладами и дубинками. Лишние разговоры мешают производственному процессу. Не шушукаться! Не болтать! – ворчит надзиратель. Мне часто доводилось испытывать на своем хребте болезненные удары.

Питались отменно и до отвала. По вечерам повара приносили таз, наполненный бурой нажористой жидкостью. Мы набрасывались и черпали до дна большими ложками. Вкус детства! Его не передать.

Это было время тотального подчинения, фатального подличения и беспечного его препровождения. В серых робах с пришитыми номерами росли и мужали мы, и оттого стали полноценными сознательными гражданами, что в наше воспитание было вложено миллион педагогических усилий. Потому и показательных казней мне повезло увидеть всего две. Одного буйного, с отклонениями по биологической шкале, скрутили, когда набросился на охранника с явным намерением проломить тому голову. Вероятно, в юнце разыгралась оскорбленная гордость после многолетних взбучек. Уроки послушания нужно хорошенько впитывать, усмехнулся я, наблюдая за кровавой сценой. Вращаясь, химическая машина сантиметр за сантиметром поглощала беспокойное тело. Мы были заморожены, поражены.

Другой раз уничтожили материал, сбежавший из лагеря. Для какой цели он это сделал, преступник озвучить не сумел.

Дабы не заводили прочных отношений, нам было рекомендовано следить за всеми вокруг и нашептывать старшим о странностях, неполадках и проблемах, что клоны проделывали с удесятеренной бдительностью.

Я уже тогда был в тройке лучших. Знал: взрослые могут и наградить, и похвалить за точное исполнение указаний, и чувствовал – от их отношения зависит моя будущность. Конечно, я не со-

мневался, что займу достойное место на фабрике, но ведь имелся один процент тех, кому рабочие часы сокращали, порой – значительно.

С детства стремился к высокому. Был, если угодно, более развит, нежели сверстники.

О, я до одурения мечтал о фабрике! Проходная казалась вратами рая, суровый вахтер, едва различимый в зарешеченное окошко – архангелом.

Однажды мне попала газета. На развороте статья про старинных живописцев, с примерами картин. Погружаясь зрением в сплетения цвета и туннели теней, я будто погружался в некоего второго себя. Преображенная обыденность захватила. Одно время хотел стать художником. Увлекался кубами, кругами, рисовал на папирусе и папиросной бумаге, выводил силуэты на ладони, обводил блюдца и фигурки конькобежцев. Получалось из рук вон плохо. Линии не слушались. Силуэты размывались до призрачной голубизны. Перепробовал разные жанры, стили, направления, и нигде не сумел блеснуть. Получая сдержанные оценки наставников, сравнивая свое неуклюжее творчество с великолепными офортами и акватинтами древних, постепенно приучил себя к мысли, что если всевышний и одарил меня талантом, то он заключается в чем-то ином, и спокойно продолжил обучение, которое, к слову, подходило к концу.

С получением паспорта в четырнадцать лет должен был прикрепиться к фабрике. От меня зависел выбор (в демократическом обществе по-другому не бывает), куда отправиться – в жаркие алжирские пустыни или ветреные авиньонские предместья. Мне было все равно, где приносить пользу обществу. Я рванул в пустыню, и помчались светлые годы, наполненные самозабвенным трудом.

Благодаря выдающейся общительности, к двадцати годам сделался полезным человеком на подхвате у крупных чинов, и все меньше времени проводил в грохочущем цехе, возясь в основном с бумажками и напиваясь абсента в паровой бане с представителями администрации. Разузнав обиняками о моей прежней культурной деятельности в образе живописца-неофита, они стали советовать со мной по вопросам наглядной агитации и проч. Не прочь пустить в глаза огоньку, наводил на себя таинственный вид и с превеликим удовольствием высказывал необыкновенно скромное, но оттого еще более веское мнение. Быстро прославив знайкой, получил свободные часы, и не понимая, чем заняться (привык действовать стремительно, деловито), флианировал по проходным и размышлял о вопросах художественного характера.

8

В один из дней меня познакомили с господином Н., куратором местного совриска, человеком выдающихся качеств и возможностей, спекулянтом, снобом. Мы от нечего делать сошлись настолько плотно, что стали не разлей вода, иначе говоря, два сапога пара. Его бизнес в виде большой алжирской галереи процветал и приносил неплохие дивиденды. А пропос: от мертвой денежной системы общество отказалось тысячи лет назад, и теперь нам жалуют и презентуют нашивки на лацканы, палочки в личном дневнике, устные поощрения с занесением в летопись – что тоже, как подумаешь, немало. Ради этого стоит жить и бороться.

Присматриваясь к бурной деятельности Н., подмечал интонацию – плавно изменялась в зависимости от успешности собеседника – мелкие телодвижения в минуты переговоров, нарочитую расслабленность, внезапную непреклонность (в одну встречу отбрил нежелательного покупателя и обласкал вождельного), я получал хорошие жизненные уроки. Заодно и поднатерел в абстрактной живописи (Кусама и Твомбли, Раух и Баския – их шершавые имена ласкали мне нёбо), уяснив, что практически все в мире можно превратить в нашивку на лацкане, нужно только подойти с правильной стороны. Никому не интересны потеки краски на стене, но потеки краски, помпезно выставленные на аукцион, приобретают черты материальной и – самое удивительное – духовной – ценности и – еще удивительней – не теряют свое символическое приобретение с годами, а и умножают его уже сами, проваливаясь в собственную загадочную реальность.

Я пытался двигаться в направлении Н., но полностью развернуться удалось лишь после случайной смерти патрона в результате дорожного происшествия. Говорят, в тот воскресный вечер

малолетний рикша так вымахался, что бездыханным упал на колени, а повозка покатила под откос, лихо набирая скорость, и невзначай зацепила моего приятеля. Он беспечно шагал – руки в карманах, взгляд устремлен в звезды, в уголке рта – кукурузная пахитоска – пуха тебе, беспримерный дружище! Надеюсь, тебя привечают отныне Шиле и Хоппер, Ротко и Поллок, Мохоли-Надь и Боччони, и вы проводите небесные аукционы, где председательствует сам Седобородый.

Чувствуя, что обязан вести беспокойные дела покойного и будучи в курсе последних сделок, я с головой погрузился в новую сферу, и так постепенно обрел массу нашивок и поощрений. Расширяя сеть галерей, я и не думал перевести их полностью под свой контроль, однако судьба распорядилась иначе. Мне были выданы права и сертификаты, белые и черные списки клиентов, именной фрак, золотая цепь. С тех пор неустанно тружусь, и даже выкроив часик-другой от фабричной работы, являюсь на торжественные открытия выставок.

9

И эти сведения не нужны в данном контексте, брюзгливо вставляет Калишвили, речь о детстве исключительно и включительно. Нам бы хотелось исподволь упомянуть о босоногом счастье чумазого малыша: с удочкой шагает на пруд наш румяный мальчик. Завистливые детдомовские подростки, подкараулив с жирным уловом, избивают на глазах сердобольной девочки, что для нее не только не принижает его романтических достоинств, напротив, оные возвышаются, и, разговорившись, наши протагонисты спешат юркнуть в юрты. А утром, едва болезненная розовость окрасила небосвод, встретились под надуманным предлогом – да им просто хотелось побыть вместе, непонятно отчего, нам-то уж где понять, мы уже в могилах (перебор с мрачностью! Зато правда – взгляните на дату выпуска сей брошюры), а юные, положим, тринадцатилетние, барчуки проходят моментальные стадии того, что принято называть влюбленностью.

И вот я ищу твои робкие губы, и ты, тяжело дыша, отворачиваешься и вдруг отвечаешь с душераздирающей готовностью космонавта, и я уже как-то знаю, что можно, а что нельзя (все можно, ничего нельзя), и отвратительно описанный выше закат разгорается в полную силу, и веселая нежность переполняет наши сердца, и ты закрываешь глаза, я неловко целую тебя, и ты трепещешь, и всеми десятью щупальцами обнимаешь меня. Уверен, скоро буду тобою пожран – но этот великий миг – момент бурного сопряжения – нельзя откладывать, покамест всё в унисон – и мысли, и дыхание... я тянусь к твоей неразвитой жвале... – остальное злобно вымарал галерист, приписав на полях, что мы слишком буквально поняли его осторожное желание сконцентрироваться на детстве, и напшигвали параграф древними легендами, а действительно важные и знаменательные события нарочито опустили.

Какие же? Да вот хотя бы сон. Часто повторялся в малейших деталях (и прекратился в твоё одиннадцатое лето), настолько малейших, что упомянуть целиком нет возможности.

В гостях (давно позабытого)
школьного приятеля совершил нечто
предосудительное.

*Мужлан в трениках выволакивает
ребенка в коридор, и не жалея, лупит.*

*Гарри улепetyвает во дворы. Настигает другой
мужчина, покрепче. Оставив мальчика припертым к стенке,
уходит за подмогой или изошренным орудием избиения.*

*Гарри
бежит куда-то, в закоулке видит
двух
девочек
и понимает: могут помочь.*

*Ты написал, проснувшись: две годоватые д. в подворотне. Падаю на колени,
хватаю за одежду, плачу: исправьте всё, измените.
Качание головой.*

Сон впоследствии заставил Гарри мучительно переживать и сомневаться. Галерист был убежден: видел именно девочек, но их лица и телесные очертания выветрились из памяти, будто даже во сне не было ничего – дымный облик, зловещее колыхание пустоты.

Что вызвало болезненный детский катарсис? В основном мрачные рассказы товарищей о где-то и как-то – в иных планах и столетиях – существующих сестрах – о, торопливые перешептывания перед сном, когда отсутствие истинного знания заменялось буйной и бурной фантазией, когда достаточно было полунамека – и перед мысленным взором плыли невероятные видения! Никого не боялись мы так люто и никого не жаждали так отчаянно увидеть – хотя бы на мгновение, хотя бы в замочную щель, – как наших нерожденных, прекрасных, иноземных сестер.

И все это я безжалостно вымарал, сообщает Калишвили в язвительной сноске, не хватало еще, чтобы строгий параграф про детство превращался в литературичину дурного вкуса. Мы помнитесь, умоляли оставить, плакали в кабинете, а ты был неумолим, ужасный!

Так эффектно завершалась страница, и даже не требовался отдельный переход к основной теме – описанию галерей ГК, картин, наклонностей и направлений, и вот пришлось выдумывать, считать варианты, двигаться сторожко, да еще постоянно отчитываться в страхе, что и эту линию вышвырнут и растопчут, а нас того и гляди отправят побираться на жд вокзал, и разве не будет стыдно в студеное утро заслуженному коллективу стоять на коленях и получать нашивки от празднующихся граждан, нет, мы старательно исполняем и полностью соответствуем, и даже Мирьон не нашел бы ничего предосудительного в наших неустанных и непрестанных писаниях и переписываниях. А камелек? Что он знает о неблагодарном труде сочинителей. Он токмо поблекнуть может, да и то под давлением обстоятельств. Если бы сочинение важной брошюры доверили этому неодушевленному предмету, уверяем вас, он бы не просто поблек, а и съезжился, и скукожился, и сбежал, нахально спасовав перед гипнотической силой пустого листа – а ведь, как подумаешь, работать с деревом ему не привыкать.

Кать! иногда по старинке обратиться к коллеге, и она не преминет огрызнуться – выкать, дескать, прошу, – презрительно отвернется, шустро перелетит чрез стол и продолжит набирать рукопись, которая, к слову, не разбухает, поскольку проказливый Калишвили постоянно ворует листы и на полях ставит краткие штампы, то одобряю, то, понимаешь, отклоняю. В такой нервозе писать невозможно, о чем мы неоднократно уведомляли директора, да он и слушать не хотел, его позиция – сторона, его интуиция – молчание.

Вот целый ворох отклоненного – кровь души, музыка сердца, дивные плоды просвещения. Должно было ввести читателя в круг самоочевидных дел, некий художественный контекст, дать верное направление для понимания краеугольной важности работы галериста, что мы с блеском и проделали.

Чего стоят вдохновенные пассажи о крутых переломах судеб послековидного искусства!

Ю

Самая трагическая утрата, конечно, литература. По преданиям, она началась как заклинание, была таинством, способным пробудить грозные духи земли и небес. Передавалась устно, из коротких воинственных выкриков медленно оформляясь в таинственные истории о сотворении сущего. Мозг приматов развивался, мир якобы усложнялся, язык, соответственно, богател. Истории обрастали подробностями. Летописцы, пытаясь охватить пестроту реальности, однажды заметили, что кроме громогласной битвы богов имеется и еще кое-что – земной, не обласканный словом, бесценный мир, и стали робко фиксировать события. Сперва воинские или религиозные

– а безусловных различий и не было, – затем светские (литература шагала сквозь околесицу жанров), затем – вырождаясь в историю – фиксировала колебания общественных настроений – и только потом, возрождаясь, заметила угрюмое и обособленное существование отдельного человека, наглухо закрытого от интроспекций и спекуляций.

В уютном футляре бродить ему оставалось недолго, за него взялись лихо, как за дикивинную лягушку. Сначала окучивали и околачивали могучую знать, стремясь узнать ее тревожнения, любовные влечения и доблестные порывы, то притворно, то искренне восхищаясь сложными ролями королей, чистыми кровями принцев, смелыми петициями пэров и пахучими настурциями судебных палат. Да что там – париками и лацканами, петличками и светлицами, монокуляром и радиолярией – отвлекаясь порой на корсеты и Корсику, Гренаду и гренадеров, изысканное грасирование во время шумного бала, а там и вальсы, и скрипки, и буки, и нечаянные взгляды, и чаяния, и демонстративные утопления, и спонтанные дуэли. А то наступает охотничий сезон, и тут карабины, патронташи, гончие, и непременно ранняя осень, и случайно подстреленный друг, изящные последние слова, и какая-нибудь неуклюжая гадость наподобие медведя. Затем мы перемещаемся в гостиную и возле камина мирно доживаем свои деньки, нам мудро, нам beau, и вот письмо, твой трогательный почерк, оглушительный плеск апоплексии, розы, брошенные в гроб, белые перчатки камергера, сюита Брамса, мазурка Шопена, полонез Грига, и слезы, много, много слез. Так много, что они становятся отчасти самооценными, и уже социальное положение отходит на второй план, и обычные, непримечательные люди попадают в окуляр, на пергамент. Люди дворовые и просто воры, суровые, угрюмые и угловатые, с их незатейливыми положениями и поражениями, с их рожами, харканьем, мокротой, злыми словечками, поленом, сенями, водочкой и затюканным ребеночком в люльке, коему жить-то всего ничего осталось, а он и не хнычет, понимает, значит, ваше высокорodie, что бестолку, что помучиться надоть, а как же, вот на небесах и встретят радехонько, и бай-бай уложат на перинку-с (хорошая стилизация, по-детски радуется Калишвили, это Достоевский?), а там и матка отмучается, отстрадает сердечная, и заживут они счастливо, только умереть надо, всего лишь беспреренно помереть.

Смерть, смерть, зловеще шепелявили древние авторы, а когда вычерпали до дна печальные контексты, отступили от человека как такового, потому что сказать о нем было, в сущности, больше нечего, и увидели, что и помимо сапиенса есть о чем побалакать – пространство, время, звери и вещи. Углубляясь в неизведанные области, мы потеряли язык, ибо он всеми глаголами, кавычками и корнями изначально привязан к человеку. Приходилось его дробить, уменьшать. Изворачиваться, втыкать человека сбоку, и спокойно обходя его, вести речь о мелких материальных предметах – а им было, в сущности, все равно. Интерес пропал, обо всем сказано, все описано.

В конце двадцатого века литература затормозила величественное шествие и почти совсем прекратилась к началу двадцать первого. Были попытки вернуться к старым проверенным схемам, да заглохли, не встретив должного отклика у вздорной публики.

Аналогичный путь проделали прочие искусства – музыка, живопись, кинематограф, театр, скульптура и танец. Начинаясь как могучее заклинание, изощренный способ власти над извечной природной необузданностью, они предательски соскальзывали к единственно человеческому, дробились, мельчали. От безудержного воспевания венценосных особ – к восторженному целованию гниющих язв дервишей и проститутток, к точной фиксации бытия потертого ковровина, мутируя и утрируя, теряя сложные элементы, виньетки и узоры, упрощаясь до первичных, архетипических образов, и далее – до бессмысленного отсутствия самого события, искусства выдохлись, испарились, оставили славный след, помахали прощально ручкой, сделали книксен, всплакнули (нет, это мы всплакнули!), и отнюдь не пропали, но как-то вяло и томно влачили последние деньки.

И тут грянул коронавирус, с угрюмой нежностью слепого хищника добывая прекрасные цветы нашей жизни.

Старая гвардия авторов, беззаветно преданных творчеству, сгинула в небытие, а новая оказалась настолько дебильной, бездарной и неуклюжей, что их произведения крутились в узком

кругу, варились в собственном соку, и моментально забывались, не успев добраться до широкой аудитории. Искусство было выключено из кровотока общественной жизни. Народ понемногу вымирал, но делал это не под залихватское кинцо, не под разухабистые танцевальные ритмы – под вой заоконного ветра и абстракционизм треснутой побелки. Росло движение клонов, обновленных, счастливых землян. Заменяя безвременно преставившихся жильцов хрущевок и насельников приусадебных участков, мы изначально были лишены потребности в искусстве, нам требовались лишь четкие приказы и бодрый напор пропаганды.

Впоследствии генетику изменили. Под влиянием туманных веяний разрушенного запада или своего внезапно нахлынувшего прошлого, Тай Му ввел в биологическую кодировку блок 364, ответственный за тягу к творчеству и восприятие искусства. И, девяностолетний, умер сам. Этот загадочный гений (биография до сих пор недоступна обывателям) отказался от животворной сыворотки и не сподобился чести узреть плоды трудов своих.

Не скоро клоны принялись за создание оригинальных произведений, несколько столетий довольствовались огромным пластом уже написанного и сыгранного, изваянного и намазюканного, сплясанного и спетого. Постепенно бесценные подлинники покрывались патиной лет, крошились и гнили, обращались в пыль и песок. Способы воспроизводства тогда были утеряны нами и до сих пор возвращены не в полной мере. Жесткая необходимость заставила начать все заново, изобретать ноты, учиться скакать и дудеть, вальсировать и солировать, ловить светотень и крутить салто-мортале, черкать душещипательные поэмы и выкладывать мозаику. У нас имелся печальный опыт прошлых поколений. Мы понимали: у творчества особые границы, стоит их нарушить, и повредится его консистенция, поэтому старались действовать в определенных рамках. Дочеловеческое и послечеловеческое искусства мы презрительно отвергли и сосредоточились на людском, не забредая в дебри, не отклоняясь от общепринятых схем. Наше искусство исключительно формульное, заранее понятное, изящно решенное и редко несущее какое-либо обновление в разбираемую тематику (вот это коряво, мне вообще уже многое не нравится в стилистике, зевая, замечает Калишвили белому потолку).

Зритель свежего произведения заранее знает, что будет показано, спето, сыграно, и все равно радуется как младенец – свободные часы для посещения храмов творчества выдаются редко, а выплеснуть эмоции, всплакнуть над прекрасным необходимо.

Многие популярные прежде виды искусства технически ограничены или отошли на второй план. Взять кинематограф. Мы не смогли вернуть ему былую зрелищность. Предки с восторгом вспоминали немислимые эффекты, связанные с изменением реальности «на лету», морфинг, телесные модификации. Ничего этого не осталось. Да что там – мы даже не умеем записывать звук, и наше кино сопровождается бравурными партиями оркестра. Система биологического кадра настолько сложна, что для разработки киноленты три года трудится целая фабрика. Получаемый материал темен и лишен цвета. Транслируется редко, в гулких кинозалах. Конечно, у него имеются поклонники, но это сравнительно небольшая группа гиков. В сущности, мы вернулись к истокам кино, изобрели его заново. Нам есть куда стремиться. На сегодняшний день отснято шестнадцать кинолент длительностью в два часа.

Каждая картина на разные лады демонстрирует один и тот же незатейливый сюжет. Бракованный клон откалывается от коллектива, отлынивает от работы и однажды бежит в леса. Проведя тяжелый промозглый месяц (одиночка – ноль), возвращается на фабрику. Его встречают овациями и цветами. (Правильная, красивая мысль! И нужно ее внушать перманентно.)

Театральные постановки отличаются большим разнообразием. Часто ставятся фантазии на тему древнего мира. Поразмышлять о жизни и смерти предлагает популярная пьеса «Сундук». Романтический водевиль «Фиаско» переносит зрителей в декорации старинного Токио. Трагедия «Kekus» посвящена первым месяцам эпидемии. Пьесы идут при значительном скоплении публики и пользуются народной любовью. После представления раздаются выкрики: «Браво! Бис!» Актеры выходят из-за кулисы, получают пряники и конфеты. К сожалению, театральный сезон открывается раз в году и длится не более недели. Многие попросту не успевают попасть в театры.

Поэтому нельзя сказать, что пьесы широко распространены. Они всего лишь редкое экзотическое блюдо для гурманов и тех, кому повезло проживать рядом с дворцами культуры. Гораздо более простым и стройным является искусство танца. Тут элементарно – мы танцуем исключительно марши. Развив эту форму до грандиозной четкости, мы отказались от множества непристойных и недостойных элементов, присущих древним пляскам – кокетливости, плавности, провинциальной импровизации, и свели идею танца к повторяемости четырех основных движений. Колени, локти, подбородок работают одновременно у миллиона клонов во время осенних выступлений. Трясется грунт, пот пропитывает спецовки. Мы маршируем сколько положено – с утра до полудня. Будин с кремлевского балкона наблюдает за выступлениями. Мы лишены права разочаровывать президента.

Признаться, признается Калишвили, по молодости я неистово любил сутолоку и геометрию маршей. Люблю и сейчас, но истово, и что с того, что я постарел, в крови моей... – дальше буквы слипаются, почерк портится до нечитабельности, галерист погружается в дрему.

Уже далеко за полночь, заряд бодрости исчерпан, нормальные клоны спят в постельках и видят сны, только мы вынуждены корпеть над правкой. Неугомонные и злые. Много еще предстоит корячиться над замечаниями и примечаниями, приводить к общему знаменателю, рубить с плеча и рыдать навзрыд – мы донесем в точности как есть, было и будет, не расплещем.

II

Выше речь шла о малораспространенных или эпизодических искусствах, для развития коих недостаточно ни времени, ни техники, теперь коснемся поточно-массовых, а именно музыки и живописи. Только они служат для нас ежедневным мерилom и примером прекрасного. Значительно обогнав своих собратьев, они ревностно соревнуются между собой, и то вперед вырывается музыка, то, понимаешь ли, живопись. До финишной прямой далеко, они галопом несутся, попеременно опережая друг друга. Пока с отрывом лидирует живопись.

Или нет. Забудьте все, что мы написали. Завтра Калишвили проснется, примется инспектировать материал, упрется в нелепицу и строго спросит с вас. Читали? А как же, читал-с. И как? Да так, то-сё, наперегонки. Щеки у него покраснеют, он ворвется в кабинет и отхлещет – непременно наотмашь – нас по бледным и снулым физиям (толком не уснули, потому и снулые), урежет премиальные и пригрозит отправить на фабрику. Туда мы не хотим. Держите рот на замке, милостивый сударь. Отвлеките его. Расскажите смешное. Он любит. Между тем вычеркиваем и строчим, вот-вот материал будет готов.

Искусство музыки было столь востребовано в древние века, что потеря онога стала наиболее болезненной для выживших. Исчезновение носителей, электрических синтезаторов и доброй части аудитории привело к сокращению стилей и упрощению направлений. Что, однако, было на пользу зарождающемуся движению клонов. Нас сделали таким образом, что мы на дух не переносим дискотечную свистопляску или скрежет гитарных рифов. Мудрый Му рассудил так: негоже калечить души бесполезной какофонией. Музыка должна облагораживать, пробуждать свет, взывать к подвигу, очерчивать границы счастья. Сотворенные внимать божественной классике, мы внимаем ей. Увы, великие партитуры сгинули во мраке веков, пропали и секреты изготовления инструментов. Мы придумали восьмиклинный нотный стан, ударную грушу, мыльную штрипку, контрабус и мордалину. Методы филигранной обработки певческих голосов. Тонику и параллелизм. Майнор и мэйджор. Наша теория, по слухам, не годится в подметки сложнейшим разработкам древних, но на ее основе получаются великолепные произведения, за которыми прочно закрепилась народная слава – вальс «Народная слава», XXV концерт для штрипки и мордалины, детская опера «Кузнечик и Лев», симфония «Восшествие на Балкон Величайшего Бессмертного Бесподобного Человека» и др. Наша музыка анонимна, институт авторства на этом поприще потерпел сокрушительное фиаско. Кому какое дело, кто орудует мордалиной, кто чертит восьмиклинку. Музыка, прямо скажем, подотчетна, подчинена

принципам театральности. Труд уборщика не менее важен для хорошего концерта, нежели правильное попадание в ноты.

И довольно о сем. Коснемся литературы, печально лепечут авторы, она измельчала и оскудела. И паскудное состоит в том, что мы до сих пор не научились тиражировать газеты и книги механическим способом. Оттого и устаем, жалуемся мы, что вручную пятисотый раз набираем этот текст. Оттого и книг выпускается минимум, и все – барахло, безделица. Да и читать – извращенная пытка. Если первый экземпляр путеводителя набран бодро и бравурно, четко и сочно, то далее искривляются сочленения между буквами, строчки делаются расхлябанными (вот ирония! сами неотличимые клоны, мы производим исключительно корявые пародии), ленивые писцы шуруют сикось и накось, литеры бунтуют, и уже к сотому номеру чтение затруднительно, а тем, кому достанется трехсотый, можно лишь посочувствовать. Какой же достался нашему гипотетическому читателю? Поздравляем: второй. Да нет никакого читателя, кричит Калишвили, врываясь в кабинет, и наотмашь, наотмашь, это я держу двести девятнадцатый и кое-как инспектирую, наполовину угадывая содержание полосы, потому что сам сочинял, наполовину придумывая, ибо разобрать никак.

Мы виновато разводим руками и продолжаем: литература неимоверно ценится в узких кругах, за отдельными залистанными экземплярами ведется охота, иные ценители предпочитают трехсотые и тысячные номера, иные – собирают первые, и всяк бахвалится богатством. По глубине содержания мы сильно опередили древних. Литературные тексты делятся на две категории: воспитательно-патриотические и православные. Бывают еще путеводители, памятки грибнику, предостережения (бойся клеща!), списки и прейскуранты. Куча экспериментальной ерунды, котлирующейся в узких кругах. Всяк норовит от работы отлынивать, вот и называет себя писателем, ходит, посвистывает, поплеывает, черкает в блокнот, пока не явится инспекция. По результатам проверки могут разжаловать, пристыдить, вернуть к станку, и ночной часик накинуть для острастки, чтоб неповадно было.

Иначе обстоит дело с живописью. Писать может любое быдло без признаков интеллекта и таланта, а рисовать только избранный гений (издевается Калишвили). Сегодня живопись поистине народное искусство, доступное каждому, развитое до головокружительных высот. Художники, редчайшие примеры положительных генетических aberrаций, пользуются уважением и почитанием. Всяк украшает свое рабочее место возле станка изящным натюрмортом или строгим пейзажем. Художники заывают зевак сделать портрет за пару нашивок. Им же щедрой рукой государства отпущены дополнительные полчаса на прикидки, наброски, умозрительные расчеты и тренировочные мазки. Картины выставляются в галереях по всему миру, за ними выстраивается очередь. Существует ведомство по изобличению подделок. Имеется прочная иерархия ценностей. Широк и набор шаблонов для православно-патриотического направления: интересный ракурс балкона, светотень на лицах марширующих клонов, химическая машина.

У нас в кабинете висит полотно кисти Мыра. Оригинал. Называется «Смотреть в глаза!». В огромном зале на заседании директорий перед большим советом стоит маленький человечек и смотрит куда-то в пол. Он провинился, но точно нельзя сказать – в чем. Решается вопрос смертной казни. Глава директоров привстал на стуле (Мыр выразительно запечатлел этот момент) и протянул руку в его сторону, призывая поднять голову и посмотреть прямо в глаза. Словно от того, решится тот или нет, будет зависеть приговор. Загадочная картина! Выполнена целиком в официальном стиле.

Вряд ли древняя живопись была способна на такие откровения. Она развивалась стремительно, сумбурно и закончилась бурно, в 2021 году, когда от ковида умер Пабло Пикассо, последний великий художник. До нас дошли бледные расплывчатые копии четырех его работ – «Мона Лиза», «Рождение Венеры», «Крик», «Постоянство памяти». Удивляет виртуозная игра со стилями, внутренняя потребность выйти в радикально новое пространство. Художник и должен вечно находиться в поиске, добавляем мы.

Возьмем «Крик» – наша любимая. На картине изображен летний лес, пронизанный светом, сваленное бурей дерево и три медвежонка на ветках. Один приподнялся, будто услышал какой-то крик из глубины. Остальные играют, пока не замечая ничего. Кто кричит? Монстр? Путник, попавший в западню? Бракованный клон, отважившийся выживать в одиночку?

Мы испытываем почтение к старым мастерам, но предпочитаем иной путь, уникальный, величественный. Любой ценитель найдет что-то свое в длинных сетях галерей, раскинутых по земному шару. В какой подвальчик ни заверни – наткнешься на выставки. Открытия и аукционы следуют друг за другом. Галеристу сложно выделиться из общей массы, удивить и покориť публику.

Гарри Калишвили был из тех, кто сдюжил, покориť.

Гениальный ученик Н., он не сделал ставку на осточертевший мэйнстрим, но вывел на всеобщее обозрение картины, которые детально и отчасти документально изображали его страхи и чаяния. Подпольное существование лоуброу вяло продолжалось с десяток лет, изредка становясь темой обсуждения патлатых хипстеров, там и сям прорываясь отдельными непонятными картинами, и только благодаря причудам богатого клона вышло из темноты и за считанные месяцы сделалось основным направлением художественного мэйнстрима.

12

Разрезая ленточку, Гарри ступает в холл. Притихшая толпа с опаской следует за ним, ожидая подвоха (дельцы искусства вечно отчебучат этакое), но впереди залы, залитые светом, увешанные яркими, бесноватыми картинами. Авторы первой волны мнут в отдалении (почти как мы), не смея и пикнуть без приглашения К. – от него зависит успех. Он разливает шампанское, приветствует экскурсоводов (совмещаем, да-с), чувствует себя как дома, и с любовью оглядывает «низкопробную» живопись.

Гарри специализируется на ускользающих образах девочек, на фантазиях художников, вращающихся вокруг сей претенциозной и прецизионной темы. В целом лоуброу арт, конечно, шире, ибо включает многие прочие фигуры и обстоятельства, однако Калишвили скрупулезно отбирая «правильный» материал и делая собственный особый акцент, добился-таки, что лоуброу (сперва – второй волны) отныне ассоциируется с изображением девочек – в принципе, не так плохо, коли учесть экзистенциальную неисчерпаемость этих гибких и призрачных образов. Нужно ли говорить, что Калишвили глубоко аполитичен и бесплодным поиском истинного облика (как прежде искали философский камень) некоего мягкого, аморфного и добавочного существа пытается отгородиться от реальной жизни. Нужно! Да будет ли это истиной? Отнюдь. Зачем тогда говорить? Потому что вы, дураки, потрепаться любите. Вам дай обо всем поговорить, пусть даже в пустой болтовне пропадет суть дела.

Я безумно люблю поля и перелески моей многострадальной Родины! От и до поддерживаю замечательный курс великого президента, борюсь с уклонистами, исправно выполняю рабочие обязанности, важно вписал Калишвили в наши заметки (обратите внимание: почерки различные). Искренняя и чистая любовь к Родине и правителю лишь дополняет и усугубляет мою давнюю страстишку к древностям. И сон... (вымаран тавтологический абзац).

Признаться, нам ой как не хотелось выступать на публике, мы и ораторы не ахти, костюмом не обзавелись, но раз уж редкостное торжество, пришлось приосаниться, нафабрить усы и кое-что прочитать про лоуброу, чтобы не дать маху.

Далее следуют десять страниц познавательного материала, откуда бедный читатель (откуда ты взялся?) узнает о вещах общеизвестных, и настолько его покоробят эти эффектные факты, аффективные фикции ли, что, не гнушаясь, вырвет оные из путеводителя, и сверкнув глянцевой белизной, свернет в трубочку и яростно запишет в темное нутро урны. Мы внезапно окажемся в патовом положении. Назревает экскурсия, а у нас ничего нет. Мы не готовы. И если память хранит остаточные крохи информации в распылчатом, взболтанном состоянии, то фактографическая основа потеряна. Не имея наглй самонадеянности воспроизвести гиль, мы не вправе

и отменить увлекательный рассказ, ибо собрались и вперились, и сам Калишвили, подбоченясь, ободряет взглядом из-под кустистых бровей. Нам делается дурно. Мы в панике листаем перепутанные страницы, и то открываем рты, замирая истуканами, то прелестно улыбаемся, предобморочной бледностью охвачены, то порываемся нечто отчаянное произнести, и даже говорим, ватно и помногу. Оттянуть неизбежное помогают уборщики: периодически вклиниваются с настырными просьбами просеменить туда оттуда, не грызть семечки, не кантовать, пока тряпки бурно, со всхлипами елозят по паркету.

Нет, это я, грозно признается Калишвили, всхлипываю и расхлебываю все, что коллективно накуролесили.

Да нас уже и нет. Половина смылась в смутной надежде вернуть ворованное, обаять или обути читателя – как получится, иная – схоронилась под столом, загодя строча заявления по собственному. Разъяренный тиран рыскает по комнатам. Читатель незаметно слился с миллионами других таких же. Нельзя определить, он или не он, да мы и не пытаемся, а горестно плетемся назад, попутно проверяя урны на предмет нужных бумажек. Сколько гниет уникальных человеческих документов: чеки нашивок в несметном количестве, справки об исправности и бракованности, квитанции за свет (с ними расквитались жестоко), суровые дневники рабочих, рукописные газетенки, рекламные прокламации, обрюзгшие брошюры на тему конца света, почтительные докладные начальству, обстоятельные эпистолы и куцые записки. Там и наш многолетний труд притирается к прочим, скукожился, закутался в капустные листья. Тем будет сложнее понять и унять – содержимое и беспокойство, неразличимое и неумное.

Нет, пишет Калишвили, на месте вырванной речи должно быть что-то, негоже сдавать в сем прискорбном виде. Проще всего пихнуть ваши увольнительные – смотрелось бы чудно, и случайный читатель, чувствуя вину за содеянное, быть может, ворвался бы в кабинет, легко взъерошил ваши волосы, пожурил, прижал к сердцу, пообещал синекуру и, синеоко подмигнув, сгинул в папиросном дыму. Или тот самый – признал бы вас потерпевшими, зажмурился и навсегда остался жмуром – пустил пулю в висок. Мурыжить свидетелей явится участковый, и участь ваша будет незавидна, ибо косвенно способствовали. Зачем провоцировать неприятности? Они воспоследуют рано или поздно, семя или овано, и ошую и одесную, витийствует Калишвили (вокруг собирается толпа), и мы решаем скоропалительно избавиться от начальства методом милосердного умерщвления.

Дорогой коллектив! – пишет Калишвили, – еще никогда мы не стояли столь близко к порогу безмерной беды! Куда пойдем, безработные, беспорточные, оглашенные, куда ни пойдем – наткнемся на сук, попадем в передел, оступимся, покалечимся. Возможно, нас увлекут игровой песней птицы, и те – обманут, всюду зияет капут. Воздымем стальные клинки, как псы со спины накинемся, обрушим на голову, погрузим в тело, вот тогда-то мы, голубчики, и покорчимся, радуется Калишвили, на крайне некомфортном пыточном аппарате, за то, что посягали на жизнь и постигали коварство. Да ведь это вы сами, робко сопротивляется наш коллега, вписывает своим характерным округлым почерком, так что мимо, мимо.

А вы, что, подглядываете?

Любуюсь, отвечает, и вытягивается по струнке.

13

Отвлеченные обрисовки страданий без предупреждений и предубеждений перетекают в описания пени и прочих обязательных выплат, стиль становится суховат, молодецват, подтянут, натягивает плащ, щелкает хлястиком, и сам как бы обращается лицом к народу, замершему в утомительном ожидании. Потеснив нас, Гарри в непринужденной манере рассказывает о том, что мы хотели поведать в принужденной и даже вынужденной.

Были и другие сны опосля описанного, словно продолжая недавнюю линию нашу, произносит он, и все они проплывали в мире, отличном от мира клонов, я будто проваливался в иную реальность (диктует Гарри, сверля очами потолочную балку), и совершая всяческие бессмысленные

действия, в итоге лицезрел девочек. Просыпался и понимал: неспроста мерещатся. Лет приблизительно с тринадцати стал думать о них неистово, фантазировать кругосветно, и проходили они в моем помраченном сознании облаченные в свет, никак не удавалось ухватить точную форму, зафиксировать, расплатать и распылить образ и облик. Сны испарились быстро, а стремление узреть (не увидеть) девочку с удесятенной силой мучало меня, к девятнадцати превращаясь в навязчивую идею. Маршируя на празднествах, я думал о них. Галопируя на учениях, в предметах скачкообразной реальности видел девочек. Протирая станок, мыслил, что прикасаюсь к ней. В других клонах тоже видел девочек и желал, чтобы меня обтекала толпа. Я носил с собой бинокль и резко всматривался в пыльные кусты и высокие окна, надеясь застать врасплох малышей, где-то беспардонно ликующих. Но не было никого и ничего, я будто блуждал в темноте и хватал пустоту. Я и сам их рисовал, неумело и криво, и рвал нацарапанное. Я не ждал невозможной встречи, но если бы мне показали издалека хотя бы блеклый абрис – жизнь моя была бы оправдана и спасена, обрела цвет и суть. Тусклые сумерки обернутся цветущим рассветом, шептал я в припадке вдохновения поэтические строки, и тут же забывал. Непонятные, понятые заочно, заоблачные девочки опять теснились в голове.

Краем уха я слышал о луброу искусстве, которое, говорили, специализируется исключительно на них, однако долгое время не мог попасть на вожаемую выставку, поскольку фабрика отнимала свободные часы, и только судьбоносная встреча с господином Н. решила проблему радикально: я угодил на вершину, ухватил мечту за лацкан, обласканный солнцем, нырнул в целебный источник. Предварительно, конечно, испытал немало катарсисов. Уже на подступах к богатым галереям меня выворачивало и потряхивало от какой-то нестерпимой то ли нежности, а то ярости. От яркости первого впечатления перехватило дыхание. Эти все девочки? повел я рукой. Абстрактная мазня, усмехнулся провожатый, девочки во втором зале. И там я стоял с открытым ртом и не смел шевелиться. Во мне бушевало странное, незнакомое чувство. Словно спал десятилетия, и вот проснулся, и новый дружелюбный мир окружил меня красками и паухами, призраками и сюрпризами. Девочки, пусть и воображаемые, находились здесь в количестве достаточном для того, чтобы бедному согладатою сойти с ума от эйфории.

Сперва я не пытался подойти ближе, потом ринулся – прижаться щекой, притереться к деревянной раме – да был остановлен гневными колокольцами сигнализации. Н. понимающе кивнул и оставил меня один на один с пестротой хаотических образов. Перед каждой картиной я бухал на колени, вливая и вникая, уповая и поникая.

Пока мы приятельски общались с Н., во мне разгоралась великая зависть. Дескать, ему принадлежат великолепные девочки (галерист обладал властью над художниками и сюжетами оных), а мне – скупно отпущены скромные минуты посещений. Отъявленный холерик, я не мог ждать и надеяться на гипотетические удачи в необозримом будущем. Решил действовать немедленно.

Я пристально приглядывался к работе господина Н. Заключалась она не только в распитии изысканных напитков в душевной компании гениев, а и в расставлении приоритетов, в искусствоведческих штудиях. В мастерском обращении с лупой. Начал почитывать, благо тема девочек всплывала там и сям. Запоминать имена, структурные особенности, выделяя таких-то, брезгуя такими-то.

К тому времени под бременем повозки скончался мой патрон. Я внезапно сделался единоличным повелителем сети галерей, где произвел любезные сердцу перестановки – абстрактные и пейзажные залы велел упразднить, негоже осквернять девочек таким скользким соседством. Название поменял на свое, и принимал отныне единственно луброу, сперва с огромной радостью давая приют любому образчику Л., затем стал придирчив, скрупулезен, в каком-то роде пресыщен (хотя девочками нельзя пресытиться), браковал картины откровенно эпигонские и откровенно примитивные, давал от ворот поворот бессмысленной мазне, храбро выдаваемой за Л. Но в остальном не брезговал ничем, в кратчайшие сроки прославив знатным меценатом, экстравагантным знатоком искусства и экспертом по девочкам.

Внутри меня, говоря сентиментально, заливались соловьи. Беря же реалистический тон, скажу: был счастлив, наблюдал радужные перспективы нашего с вами безысходного существования. Мой сон нормализовался. Глазомер усилился. Периодически хотелось вскочить и закричать (авиньонские чайки вторили диким воплям), треснуть по стене, обнять кого-то и заплакать. Я ходил по вечерним улицам с блаженной улыбкой и уже не ощущал разъедающее одиночество. Меня ждали, цвели и расплывались в золоченых рамах обреченные и ослепительные девочки, девочки, девочки.

Конечно, я тогда еще не до конца понимал, что конкретно алчет мое существо и кто такие девочки. И всякую форму озираю увлеченно, благо луброу предоставлял максимально широкие варианты внешностей сих полумифических созданий. И только спустя несколько насыщенных месяцев окончательно уяснил, что меня странно, безумно и отвратительно притягивает вторая волна луброу.

Часть вторая

I

Короткий исторический экскурс в корни и кроны этого искусства начну с определения. Лоу – по-латински девочка, броу – центр. Л. девочкацентричен раг excellence. Отцом-основателем был чудаковатый авиньонский живописец Гарри Калишвили (однофамилец). Он прожил чрезвычайно насыщенную и отчасти преступную жизнь, поскольку был сыздетства бракованным. В пятнадцать откололся от коллектива, убежал в дубовые леса, провел в шалаше юность и зрелость, изнывая от караморы комаров и тигриных игрищ, и лишь на четвертом десятке явился с повинной, был прощен, пожурен, обеспечен стипендией и каморкой. Вокруг него уже тогда вились стайки поклонников, ибо в лесах явилась Гарри патологическая страсть рисовать девочек. В многочисленных монографиях указывается: разум отшельника помутился от одиночества и плохой пищи. Юницы призрачно зареяли. Дабы не растерять остатки личности и ошметки сознания, он принялся черкать головки, крылышки, колеса и гаубицы. Получалось на удивление достойно. Окольными путями рисунки попадали в город, вызвали восхищение одних и порицание прочих. Вокруг художника собралась группа неумолимых подражателей и фанатов.

Фирменный стиль сформировался быстро. Очарованный поэтикой и политикой леса, Калишвили видел девочек в антиформах деревьев и кустов, там и сям пририсовывая сюрреалистические элементы в качестве дани сориску. Девочки – пустоты между стволами – расплзались в чистый дым и сходились в образе сургучных печатей, танковой брони и проч. Зачаточный луброу маскировался под скромные флористические упражнения. Сразу никто не мог понять, что в незамысловатых пейзажах прорисованы девочки, но меткий взгляд, брошенный в пробелы между растениями, указывал однозначно.

Изначально негласной, а после согласованной эмблемой Л. стала картина «Аврора», где в облик героини вплеталось восходящее солнце, как бы озаряя ее пустоту, обрамленную ветвями березы. В целом доантропоморфный период не считается полноценным луброу, ведь и Калишвили под закат жизни отошел от него, рисуя фигуративно и точно. (А пророс: маэстро частенько подвывал у собственных адептов и подражателей. Старость не щадит никого.) Однако воздушный, невидимый и многими ненавидимый период выдал инструменты, техники и потенциалы для раскрытия образа д. на многие годы вперед.

После смерти отшельника л., будто освобожденный от строгого стиливого диктата, развивался ускоренными темпами, напрочь отринув флоро- и буколический уклон.

Возник некто Калишвили (однофамилец). Его девочки, отчасти напоминающие человечков, накаляканых детьми, были плоскими, всегда в профиль, обладали греческими носами, распахнутым ртом, полным острых зубов, и рядами тонких ручек, которые держали бытовые предметы – зубочистки, утюги. Не умея рисовать, он прославился агрессивной манерой промоушена своих произведений, во время презентаций постоянно кого-то калечил или калечился сам. Фигурируя

в скандальных хрониках, способствовал расширению луброу как направления в искусстве и парадигмы мировоззрения.

Два начальных К. сегодня воспринимаются снисходительно, не то – скептически. И все же будучи первопроходцами, они поставили тему, задали координаты. На смену им с неожиданностью вкрадчивых полтергейстов пришли рукастые технари, мастера темперы и пастели, энкаустики и гуаши, в прошлом – маринисты, баталисты.

Некий Калишвили (однофамилец) первым постановил: негоже исполнять облики девочек спустя рукава, требуется продемонстрировать максимум возможностей, выработанных человечеством. В игру вступали объем, цвет и тень, композиция и наррация, компликация и компиляция. Его героини были всем хороши, только напрочь лишены голов и конечностей (о сем ГК издал обстоятельный трактат, вызвал кривотолки).

Трехмерные обрубки, выписанные со студенческой тщательностью, наряженные в пестрые платья, покоились в викторианских постелях под балдахинами, в ромашковых полях, на пляжах Неаполя и Кипра, в изысканных интерьерах, с чинными терьерами по правую, пardon, руку и гувернерами по левую. Нижние половины собачек и стариков порой оплывали как подтаявшие свечи, в верхних отчетливо просматривалась трупная оцепенелость. Однако внимание зрителей были привлечено к девочкам. Оные все время порывались ползти. Мышцы обрубленного организма находились, что называется, в тонусе. Преобладали зеленые и черные краски.

Исследователи, будто грецкий орех, дробят творчество ГК на два периода – верхний и нижний. В первом случае (юношеские и ранние вещицы) обрубок вальжно располагался в верхней половине холста – на листьях лиственницы, в корзине воздушного шара. Во втором (зрелость и старость), соответственно, смещался вниз, на дрезинах и лифтах, сливался с темной окантовкой картины, покамест не вошел в землю и не стал малозаметной – и оттого тревожной – абберацией почвы, переданной в разрезе. Балакают, никто не мог выдержать и пятиминутного взглядывания в слоистый мрак. Возможно, чистой воды мифология. После смерти ГК завещал работы второго периода похоронить в отдельных гробах, что и было исполнено. Остались старательные копии, выполненные кистью верных учеников. Названия художник писал на выдуманном языке, используя изобретенный шрифт с обилием кружков и точек, и был косноязычно-туманен относительно содержания своих шедевров – у нас нет прямых ключей к его обскутному, исподволь курослепному творчеству. Тем поразительней станут открытия будущих искусствоведов, осквернителей могил.

Другой знаменитый представитель первой волны луброу, полный тезка и некогда большой поклонник ГК, сперва рисовал в похожем лаконичном стиле а la aprutее, не отрицая влияние Калишвили, а всячески приветствуя его. За что был издевательски прозван (ранний период) эпигон и шарлатаном. Пресса глумилась и улюлюкала. Обиженный Калишвили взалкал справедливого отношения к своим художественным достоинствам, и в считанные недели поменял стиль на противоположный. Если ГК рисовал девочек в виде обрубленных тел, то второй К. нашел себя в скрупулезном изображении отсеченных конечностей и голов. Претерпела обратную метаморфозу парадигма верха и низа. Не сверху вниз, но снизу вверх по холсту двигались персонажи по мере того, как художник обретал опыт. И не тревожное, но радостное чувство вызывали картины. Конечности и кукольные головки парили на дирижаблях, гарцевали на облачных конях, вздымаясь в звездную пустоту, и чем старше делался К., тем призрачней и прозрачней становились девочки, и светлее, солнечней – картины. Облаченные в свет, головки и ножки утекали от наблюдателя за верхний край холста, сливаясь с лучами обильного солнца. После пяти минут созерцания зрителя охватывала эйфория, грудь бурно дышала, щеки краснели, он расплывался в блаженной улыбке и долго не мог прийти в себя.

Картины перед смертью были сожжены, дымком поднялись в небо и развеялись по ветру.

Другой видный представитель луброу (одномифец) избрал иную стратегию трактования маленьких девочек. Этот Калишвили не являлся поклонником вышеназванных виртуозов, прирожденный шутник и гяур, он перенял у великих предшественников единственную черту – движение по холсту. Его девочки – в отрицание прежней дробности и трупности – были единым правильно

сформированным целым, с ногами, руками, завитой головкой. Облачены в куртуазные платьица, они в различных обстановках двигались слева направо (первый период), справа налево (второй), сверху вниз (третий) и снизу вверх (четвертый). Разменяв восьмой десяток, Калишвили умер и не оставил никаких указаний относительно картин. Их можно увидеть в музеях, на торгах, в узких галерейных коридорах, и наблюдай за ними хоть сутки, не ощутишь ровным счетом ничего.

Тем не менее идея цельносоставного живого организма закрепились надолго. Девочки – первые – задышали, потянулись на носочках, затеребили шерстку своим вечным спутникам – псам, забили в ладоши. Они пугались и радовались, вперялись и блуждали взором, плакали и пели. Некто Калишвили (однолимец), тщательно изучив существующие вариации луброу, с негодованием отбросил идею сдвига по холсту, в программной статье назвав ее «лишенной отрезвляющей логики смысла». В творчестве он строго придерживался единственного размещения девочки – по центру. Она впервые никуда не двигалась и сурово смотрела в глаза клонам. Зато мир вокруг находился в непрестанном движении и смещении, все сходилось, спутывалось, верх заменялся низом, низ – верхом, только девочка была устойчивым центром и предстала в одинаковом облачении: красное платье, лайковые перчатки, теннисная ракетка. Лицо усредненно-кукольное, в определенном роде – безликое. Что, безусловно, отвечало требованиям и задачам подлинного лика.

К слову, никто не видел картин К., поскольку тот никогда не выставлялся, предпочитая орудовать пером, посредством газет активно доносить до масс, дескать, есть гениальный художник, обойти вниманием – неприлично. Добившись лояльности публики, К. описывал картины, красочно и сочно, кусочно и поточно, не оставляя и тени сомнений, что возник настоящий искусник. На предложения галерей отвечал уклончиво и вкрадчиво, не то – решительным отказом. На пике узнаваемости и вовсе утверждал: его картины не предназначены для соглядатайства. Сторонний наблюдатель способен изменить свойства микромира, что же говорить о картинах, более тонких материях. Взгляд клон не должен упасть в глаза девочки, повредится структура холста, консистенция масляных мазков, этика воображаемой вселенной. Легенду приняли на веру (нашлись сторонники из числа невезучих мазил). Канонизирован в качестве крупного луброу-артиста, К. прожил короткую жизнь и умер от гадючьего яда.

Триумфальное шествие луброу набирало обороты, завоевывая сердца публики и выставочные залы престижных галерей. Вспыхивали новые звезды, уточнялся метод, подвергалась перестройке система интерпретации, расширялась география. Представители иных направлений за просто переходили в луброу, изменяя школам и менторам.

Один кубист из Кубы уничтожил свои угловатые творения и разорвал сотнями полотен умильных малышей в розовых мантиях. Видные экспрессионисты, в ночных экспрессах мчась в цитадель девочкацентризма, сиречь Авиноньон, давали обстоятельные интервью пришлым акулам пера, где с отсылками к сумбурным мыслям величайших философов поясняли необходимость сдвига и слома. Им в прессе вторили импрессионисты, творя историю здесь и сейчас.

В национально-патриотическом лагере также наблюдались брожения. Лаковые перила знаменитого балкона меркли перед большеглазыми созданиями. Уступали пшеничные поля. Сдавались купола и березки. Каждый новоиспеченный маэстро старался поразить публику оригинальным выкрутасом. Не похоже ни на что, образы девочек множились в геометрической прогрессии. Фантазия клонов оказалась так щедро и богдро, что вскоре исследователи луброу запутались в вычленении крупных фигур, в ранжире жанровых характеристик и своевольности символик. В параллель оным затупились и взоры посетителей соответствующих галерей. Возникло пресыщение, отчасти вызванное непониманием, на какой алтарь молиться, кого возвышать и унижать. Во многомерной музейной рассеянности наличествовали тысячи форм и причудливых комбинаций.

Умножая образ маленькой девочки в бесконечных кривых зеркалах, художники не приблизились к нему ни на йоту, скорее отступили на милю. Изобильные полотна, по мнению культурологов, столь явственно выражали деградацию стиля, что стоило немедленно провести внутрицеховые репрессии, кое-кого сократить фигурально – понизить в чине, лишить амбиций, иного

– буквально, лишить очумелой головы, дабы не расплзались пестро и бессмысленно, избыточно и несбыточно девочки, девочки, девочки.

2

Ситуация накалилась до предела и разрешилась сама собой. Речь о втором периоде лубброу. Не имеет значения, какой из Калишвили первым заметил, что благодаря (или вопреки) многообразию парадоксально стирается индивидуальность, картины унифицируются, маркируя горячее желание выпендриться. Девочки выплескиваются на периферию экзотических техник. Центральность местоположения д. в бесконечных потоках мазни становится фиктивной. Низлагается идея, заключенная в названии направления. Для возвращения жанру былого статуса нужно предпринять комплекс нерядовых мер и прежде всего отказаться от набившего знатную оскомину института авторства. Неважно, кто рисует, важно – что нарисовано. Отречься от облыжных поисков узнаваемого стиля, остановившись на гармонической живописной фактуре, принятой воображением широких масс в качестве маркировки хорошей техники. Отступить от элементов сюрреализма, абстракционизма и прочих агрессивных измов, бо зарекомендовали себя неудачно. Использовать простейшие фоны (светские гостиные, пасторальные лужайки), призванные служить выделяющим объект и тотчас тающим пространством.

На девочках не должно быть одежды, гнусного и постыдного наследия предшествующей стилистической эпохи. Девочки – существа духовные прежде всего. Нельзя скрывать огонь духовности под плотными складками ткани. Впрочем, отдельные предметы гардероба допускались и даже приветствовались, если художник умело подчеркивал при помощи них лучезарную красоту – изящные подвязки, прозрачные чулки, узкие трусики. Особенно эстетично смотрелись лисьи шубки на голых плечах. Встречались и костюмированные представления: длинные хвосты, кошачьи ушки. Но основным приемом была максимально реалистическая передача обнаженного тела. Примитив содержащий в этой форме космический потенциал, клоны уж не сходили с него, раз за разом повторяя один и тот же нехитрый репертуар.

Калишвили, чувствуя тайный призыв и сладостный ужас даже в самом имени «девочка», впоследствии привык и обозревал полотна первого периода с легким разочарованием, поскольку подспудно знал: в девочках есть что-то еще – то, что существенно больше бесконечного вихря причудливых личин. И едва начался неумный бум второй волны, бо страхом признался: найдено. Просто, элементарно. Чертовски примитивно. И все-таки завораживает.

Нужно было лишь отказаться от происков и поисков безумной фантазии и, словно мудрый факир на змеиных глазах, сосредоточиться на духовных подробностях раздетой плоти. Ощущение, которое испытывал Калишвили стоя в одиночестве перед лубброу, было высшим, трансцендентальным, оглушительным.

Он будто лицезрел благосклонного идола другой религии, более милосердной и в каком-то крамольном роде – более святой.

Формально вероисповедания являлись свободными, и все же, с детства запрограммированный петь осанну Спасителю, Калишвили ужасно стеснялся того, что в груди зарождаются славословия иному божеству, и скрытно, стыдясь, считал себя иноверцем, негодяем. Премного наслышанный о буддистских практиках, видел в своем духовном увлечении девочками подобие целостной медитации.

Как же добиваются анонимные художники этого изумительного эффекта, используя минималистичные приемы позирования... – Чаще всего девочка фигурировала одна, в редких случаях добавлялась гибкая напарница. Раритетными считались холсты, где рядом с юными персонажами были нарисованы клоны, однако арт-сообщество редко позволяло себе подобные вольности и в последние годы концентрировалось всецело на девочках. Любимые картины Калишвили никому не показывал, опасаясь, что, напивавшись чужими бесцеремонными взглядами, полотна потеряют чудесную силу.

3

В подвале галереи был оборудован интимный зал, куда Гарри приходил набраться света и радости.

Когда накатывала беспричинная хандра, щелкал по кодовому замку, открывал толстые ворота и вступал в небольшое помещение. На белых стенах висело с десятков картин, изысканно освещенных снизу. Он садился в позу лотоса, сгибал пальцы в пучок и предавался созерцанию. Цена простоты, часто обращал взор на картину № 43: голая девочка лет восьми лежит на спине. Рыжие волосы распущены. Ноги согнуты в коленях, широко раздвинуты. На ярко накрашенных губах – тень улыбки. На сосках – голубые блестящие. Половой орган ее (средоточие духовности и света) одаренный живописец выписал настолько выпукло и подробно, насколько возможно в наши дни – пухлые складки кожи, липкая красная щель, откуда просматриваются интересные перспективы альтернативной анатомии. Фантазия художника не была своенравной – он взял, как положено, за кальку стандартную нагую натуру, сформированную в ходе развития лобброу. Размер щели, количество отверстий, впрочем, постоянно уточнялось, и уже котиrowались другие формы (некогда прорывная идея полового органа теряла актуальность), однако Калишвили был навек восхищен этой.

Он не отводил взгляд от голой маленькой девочки и чувствовал – напITYвается безмерной мудростью и радостью. От влажной щели веяло спасением, не тем, которое на картинках в священных житиях, а истинным.

Нравилась и другая картина, принадлежащая позднему периоду. Автор не поспешил на два отверстия. Девочка (годом старше) стояла на коленях, задней частью к наблюдателю, ее же задирала вверх. Отчетливо проглядывал вожделенный перечеркнутый орган, и над ним, между раздвинутых (руками смеющегося божества) ягодиц было отверстие неясного предназначения, небольшое, упругое.

Если первое веяло прямой мудростью Создателя, совершенством сверхновой звезды, то второе излучало глухой рокот черной дыры, обиду уязвленного демона. Калишвили понимал, нужно концентрироваться между ними, дабы обрести духовный баланс, и подолгу медитировал, ослаблялся, правильно дышал.

Мозг захлестывала эйфория. Растворялись внутренние преграды. Исчезали страхи. Таяли житейские волнения. Он бессмысленно улыбался, непроизвольно выпускал слезы нечаянного счастья и, посвежев, поднимался вверх, в реальную жизнь, где, конечно, были другие картины с девочками, но столь сильно не действовали, хотя тоже приносили свет Афины в однообразие серых будней.

Калишвили назубок выучил основные позиции и композиции: на боку, на коленях, в Баку, на оленях. На яблоневоm суку, изогнувшись (за нее давали пятьсот нашивок). Плашмя в мокром песке, в пене набегающих волн. В постели (одеяло, спадая, открывало бледный задок). Пользовались популярностью различные вариации у зеркала – в перчатках и без, с вуалью и без, с отражением, без отражения. В немалом количестве тиражировались простые сюжеты – девочка прилежно склонилась над учебником православия, спавшие трусики задрапированы синими тенями; в душевой выжимает волосы, влажно блестит темный пах; или вот, музицируя, провинилась, взяла неверную ноту, и клон – вероятно, строгий наставник, возложив нерадивую на колени, приготовился наказывать ремешком. Чаще всего рисовались банальные, под кальку, позы – стоя, сидя, лежа. Похожие лица порой выражали легкую грусть, порой ничего не выражали, присутствуя номинально, ради приятного дополнения к красноречивой наготе.

Публике не могла приесться раз и навсегда, думал К., найденная тема. Надеялся он, сознавая горькую призрачность надежды, что никогда народ не загорится чем-нибудь иным, и вечно, я повторяю – вечно! – в коридорах галерей и каморках заводчан, в столовых и кафе-шантанах, в золотых и серебряных рамах будут висеть мои мудрые, навечно найденные девочки.

Я преисполнялся высшего почти каждый вечер, чего уж там – жизнь суетлива, сурова, требовательна, и коли периодически не погружаться в эйфорический рай, можно запросто слететь с

катушек, гикнуться с печи, натворить дел, и удивляясь благоразумию клонов, Калишвили взволнованно переходил на рассказ от третьего лица.

Хотя и напрасно.

4

Мы всю ораторствовали перед публикой, провинциально импровизировали, переваливаясь с третьего на десятое, начинали за здоровье и кончали неловко, бубнили и пороли горячку, бурчали и посверкивали буркалами. Немало седых волос возникло бы у директора, будь ты случайный слушатель нашего повествования. К счастью, твоя блистательная речь лилась в пустоту. Сам ты был огорожен редакционными стенами, и восклицая в пароксизме нетерпения – записываете? – тут же удостоверился: записывают.

Однако се изысканная ловушка, иллюзия надломленных переотражений. Зеркала мы расставили так, что собственный рукав, очерк спины, клоч штанины К. в блаженной слепоте вдохновения принимал за наши сторбленные станы, и восклицая порывно – пишете? – уж ни на кого не смотрел, а прохаживался, как Достоевский (помните, мы его мастерски стилизовали?) перед запуганной институткой, и сам не рад, что чрезмерно разговорился, и все-таки тянуло на открытости.

Калишвили был доволен, что обошлось без кокетливых экивоков. Многожды повторенный в свечных сумерках, головоломно заикленный на себя, он свидетельствовал, что с потрясающей ясностью сразу осознал: девочки на него влияют сильнее, нежели на других. В лицах зевак и ценителей не мелькало и тени того восхищения, коему К. предавался так часто. Они могли проторчать до закрытия, но впитав стилевые особенности, уходили восвояси и не возвращались до новых вернисажей. У них не подгибались колени, не тряслись руки, не дергался уголок рта, им не хотелось броситься через ограждение, прыгнуть в картину, усыпать слезами бессмысленного обожания навзничь простертую девочку. Для одних это был смелый тренд, другие забредали по рекомендации, третьи от скуки.

Назубок выучив нехитрую типологию посетителей, Гарри увидел, что его месса отличается от общего места и принялся скрывать всполохи неожиданной нежности – хоть в этом не имелось явного резона – не знал, чем могут отозваться в народе его подвальные увлечения, ведь и добродушный великан может в мгновение ока стать разъяренным извергом. Да краем сознания пробегала неприятная мысль: а вдруг бракован, протестируют и швырнут в химмашину, а хочется любоваться лунным блеском, рвать одуванчики, до хрипоты спорить, что лучше: карабин или ковролин, и дерзко выбрав последний, пройтись по нему в гостиную, и прежде чем спуститься в сокровищницу, потрепать по холке кудлатого пса. Впрочем, никаких собак.

И прежде чем... Прежде чем начнется... завести ходики, пролистнуть глянцевого нумер, постоять на балконе с блуждающей улыбкой, под монументальной лепниной грозовых облаков, над шпилями и пилястрами Авиньона.

Я сделался замкнут, подчеркнуто суховат, скучноват. Тяжеловат на подъем. Меня обуревали странные желания. Хотелось упасть на девочку, распластаться сверху и, ничего не делая, лежать, как муха в солнечном луче. Мучали бестолковые кошмары, в одном из которых я очутился рядом с позирующей милахой, непременно нужно было что-то засунуть в ее призывно приотворенное отверстие, но я не знал – что, шарил по карманам, ничего не находил и, понимая, что она вот-вот исчезнет, по-детски хныкал. В другом сне голая девочка обыскала меня и, не обнаружив чаемого, принялась монотонно отчитывать.

Непрестанно думая о них и мечтая забыться, я погружался в слякоть и гул праздничных улиц (готовились к марш-броску), наполненных усталыми женщинами, карманными воришками, магазинами бытовой электроники, с плакатов зазывали Билайн и Билан, из ларьков несло: «бай-ландо», тянуло баландой из школьных столовых, блондин в телогрейке правил надолбы, и ничего этого не замечая, я неспешно шествовал на пляж и подолгу смотрел на голубую линию горизонта, размышляя над тем, что делать с собой, как работать, жить.

Собрав самую большую в мире коллекцию луброу № 2, я фактически не знал о них ничего, и раз за разом возвращался к исходной информации, почерпнутой из учебников и газет. Если их не было пять тысячелетий, если их подлинный облик, функции и фрагрантика безнадежно потеряны, то почему меня странно тревожит и будоражит нежная нагота здесь и сейчас нарисованных тел? Почему я равнодушен к кляксам Кляйна, пейзажам Зажа, натюрмортам Мора и портретам Рета, не говоря уже о пассакалиях Саля? И ведь как-то с детства повелось, нападали тяжелые выморочные сны...

5

Что же притягивает в девочках?

(Если оставить в стороне загадочные отверстия (версты и версты до окончательного понимания пройдешь), отложить выморочный символизм других, обрамляющих, округлостей, отбросить непроницаемые бледные лица, тонкие пальцы, спутанные волосы – то даже до своего вероятностного явления в образах безумной фантазии девочка влечет – формой слова, тайной эволюции.)

Мне, наполненному луброу, казалось, что цимес поместился между расширенных ног, в чудесной формуле овальных ляжек (ее предстояло открыть), физике крепких икр, порочной лингвистике: *fesse, fessier, si ge, poix*; в перехватывающей дыхание космонавтике тесно сжатых нижних губ и теологии вывернутых. Была еще гибкая линия шеи, невозмутимая ясность очей, и ночь подмышек, и сумбур пупка, но главное, повторяюсь, хранилось внизу и выписывалось с особливym тщанием. Не жалея точных мазков и красных красок, гораздых на любые оттенки, трудились художники над гениталиями, рельефными, как бы живущими отдельную жизнь, и все-таки рядом, все-таки заодно, сговорившись с дивными локонами и огромными очами. И то, что они хранили – слишком часто пуская дрожащего соглядаята одним глазком подсмотреть – было тем самым, на определение чего я потратил немало бурных лет.

Дырочки донимали. Беспокоили. Уязвляли, в какой-то мере. Иногда я становился неуправляем, мог в галерее усесться на пол и застыть в экстазе перед новым удачным экземпляром. Или припасть и высоко грустить. На меня шикали. Посматривали неодобрительно. Да и сам понимал: дикими выходками могу привлечь внимание санитарной службы – коли уже не привлек – и, сублимируя страсть, задался целью найти разгадку потного волнения.

Одаренный блестящим умением читать книги, одно время пытался отыскать ответ в научной литературе, и убедился наверняка: современники потрясаяще слепы к детским дырочкам. В исторических материалах по теме луброу об этом немаловажном аспекте говорилось удручающе мало. Чаше просто упоминали, реже – игнорировали.

О бархатной архитектонике багровой щелки в добавочных материалах одного подзабытого издания высказался автор, некто Калишвили (однофамилец). Он придерживается той мысли, что *gumpunt tunicas* служит композиционным центром современного луброу, подобно вспугнутой медузе стягивая в одно целое смысловые и технические аспекты. Что же внутри? – задается автор заковыристым вопросом и резко отвечает: по всей видимости, мозг художника. Доступный избранным. Изображенный остро и провокативно.

Решительно не согласен с этой поэтически-плоской трактовкой, я далее не читал и лениво перебирал другие рукописи и фолианты, не задерживаясь нигде, ибо остальные начетчики мою тему затрагивали вскользь, интересуясь побочными мотивами: световые эффекты, сюжетные переклички, роль младенца Христа в чувственной поэтике луброу.

Велись бесконечные войны с первой волной. Ученые доказывали: безответственным и бездарным был тот период, и коли не превратился в наше пышное цветение, выродился бы напрочь, унося искусство живописи в выгребную яму истории.

Для меня это было очевидным фактом. Я просто хотел, чтобы наконец заговорили о главном, произнесли, не менжусь: мокрая щель! Раздвинутые ягодичцы! И много такого воображал, бывало, закрывшись в подвале, не понимая, что делать дальше (допустим: сказано), где искать, как тяжесть унять.

В осеннюю слякоть, на книжном развале, куда случайно забрел, прячась от ветра, я растрогал удрученным видом степенного старичка, который выбирал журналы по хозяйству, и в ответ на прямой вопрос впервые не отшатнулся, не напел про зубную боль, а выложил по существу: так, мол, и так. Густобородый дед, понимающе кивая, переспрашивал: так все-таки девочки или дырочки? Меж ними колоссальные различия. Хорошенько задумавшись, я выдал: дырочки. И, подумав, добавил: в девочках. Он отвел меня в дальний конец развала, где высились стопки бумажного хлама, и, послунив желтоватые пальцы, вынул старинную книжицу с пустой О на обложке и многообещающим заглавием «Щелеведение». За авторством некоего Калишвили (однофамильца). Равнодушный продавец бойко оторвал нашивки с моих погон. Старик произнес напутствие – дескать, от щелочек поднимайся к девочкам, – и моментально испарился.

Я стал владельцем примечательного чтива. Словесный плясун, автор отталкивался от щавеля, обнаруживая лингвистический гиммик редкой наглости (там было недалеко и до Авеля, но взял себя в руки). Так и сяк он искривлял слово и объяснял значения.

6

Покамест рассказчик сквозь щелочь и Щельяюр добирался до щелеведения, миновала четверть томика, и галерист уже, сонный, сдвигал брови и морщил нос, однако вот замелькали нужные детали, задышали правильные образы, толпа вперилась, захвачена вашим негромким голосом.

Взаимно загипнотизированный ее веским присутствием, вы поднимались на носки, жестикулировали, то и дело вздымали указательный перст, выхватывали жирные детали. Заходились. Блистали. Неистовствовали. Из хвастовства ли, а то по зову долга. Нам не терпелось записать и выпустить отдельной брошюрой сей эталон дарования, да сейсмографы, как назло, разбились. Заметим, нас не было в залах, о поразительном вашем красноречии мы могли лишь догадываться. И мы догадывались. И в ударных (удачных) местах запускали в потолок удочки, кофемолки – все, что не приколочено, – и ревели в бездарных и проклинали вас, а потом снова удочки, кофемолки. В моменты затишья, когда вы шелестели бумагами, мы изможденно валились на стулья и забывались, и уже какие-то туманные грезы реяли пред нами, и тяжелые предчувствия сдавливали груди, и вот опять – кофемолки, удочки.

Да что вы мелете без умолку, буркнет Калишвили, записывайте, и тут же сбоку другим почерком: я вовсе не диктовал, я моцарствовал, следя неукоснительно, чтобы вы фиксировали вдохновенные излияния, и в уме воображал гладкую обложку путеводителя – шпили, пилястры, либо девочку голенькую, потеряла розочку, на четвереньках всматривается в душный мрак, и задок приподнят достаточно, чтобы банальная сценка превратилась в произведение искуснейшего искусства. А то обойтись одной щелью, но здесь на ценителя, не все поймут.

Если суммировать вышеизложенные кунштюки, мы записывали вашу речь в зале, а вы тем временем – или иным – лепетали у зеркала, оглашая события давно отболевшие, причем и тям и сям выступали мы, а не вы, не разбирая уже, как в таком сумбурном состоянии выпускать путеводитель, что в нем уяснит пытливый читатель, не говоря о читателе липовом, верхогляде.

Панихиду, однако, рано справлять (приписано мелко), дайте мне все высказать шкафным переборкам и внимательным плинтусам, а там уж сам взойду в залы, задыхаясь, одерну вас, галантно извинюсь за опоздание (надеюсь, меня не спутали с ч.; отчитанный мной, виновато стоит в сторонке) и без лишних предисловий – о второй волне, наобум, подробно, косно.

Ваш выход также запланирован, и вероятно, прошел без сучка и задоринки, заодно, и когда не вызвал фурор, то ажитаж наверняка. Оглохшие от грохота оаций, вы кланяетесь клану поклонников л..., коротко отвечаете на пресные вопросы и долго на чудесные. Вам не до книги. Не хочется возвращаться к переписанному и неошипанному, и ошеренному, и орошенные лунной росой, под зажмуренными очами фонарей – в пакетах ворованное клико, и трюфели, и ливер (а ты бы удержался?), во взглядах – муар, в мыслях – интересная профессия сомелье (когда-нибудь мы устанем ворошить чужие жизни, городить корректорские знаки, сомлеем и вольемся в хмель-

ной коллектив подавальщиков отборного вина (нет, не уд... доольноусно, бормочет Калишвили, поглощая наши припасы).

7

Мы, клоны, выражался другой К. в начале долгожданной главы, пребываем в непосредственном соседстве с уймой отверстий – от маленьких до великих, от еле заметных до постоянно применяемых по назначению. И дверные проемы, и ушка игольные, и окна, и ванны, и бреши меж зубами, и каменные каньоны, и таинственные полости под козырьками подоконников и щитами канализационных люков, и захватывающие дух пропасти, через которые лихо перекинуты веревочные лестницы, а также провалы в памяти, пробелы в знаниях, каверны в сердцах, дупла в дубах – сквозят, веют, перевешивают время повседневной мороки бременем нулевой вероятности, расплывчато замечал автор. Дырочки растут с нами, растут в нас, да что там, мы живем в мебелированных норах крошечных комнат, внутри дырjвы, неплотно пригнаны жизненно важные органы, кожа прошита сеткой мелких ячеек, вселенная, по сути, сплошная бездна, звезды пронизаны пустотами. Язык испещрен отсеками и разделениями. Куда ни ткни – провалишься в дыру, куда ни гаркни – зазвенит эхо, что ни задумай – получишь шиш.

Развивая идею, автор приходит к поистине платоновской мысли, что, дескать, все в мире есть щель, и природное, и людское. Единственная наука, сообразная этому обстоятельству – щелеведение, и она облыжно игнорируется кое-какими недоумками, не желающими признать непреложный факт пандырчатости. Отрицая самостоятельную ценность материи, и признавая оную в качестве строительного вещества для отверстий, Калишвили создавал небывалую онтологию, где человечество имело периферийное значение, а дырка, напротив, реферальное. Исследуя ее скольжение и мышление, молчание и напряжение, автор обогатил философию понятиями «следодыр» и «дыромыр», а также намечал перспективную идею дыродыра, и существующего и не существующего одновременно.

И все же К. (настоящий) просматривал эпистемологический гнозис с нарастающим раздражением, поскольку детские дырки автором несправедливо игнорировались, а намеченная сперва пунктиром война с научным сообществом, упрямо не желавшим принимать тезисы гениального трактата, становилась магистральной темой. Особенно доставалось некоему Калишвили, научному оппоненту, знатному противнику пандырчатости. По мысли К., именно он натравил, если не сказать науськал на него академическую свору.

Все дело было в том, что тот Калишвили придерживался противоположного воззрения и выпустил монографию, где последовательно развивал тему панпупырчатости. Отрицая значение (и сомневаясь в бытии) провалов и брешей, он воспевал плотность материального и прочность вздутый, и громил, не гнушаясь площадных оборотов, автора иных взглядов, который, соответственно, шел вразнос и отбивался еще более беспощадными и беспородными словесами. *Idée fixe* «Щелеведения» была в торжестве дырок над пупырьками, но в задиристой полемике онтологическое мышление притупилось, отпрянуло, язык стал нечитабельным (рукописный экземпляр зачинал вторую сотню), и книгу раздраженный Калишвили утопил в придорожной канаве (что тоже, как подумаешь, неплохое отверстие), отчаянно желая автору познакомиться с дырой канализационного люка в лютую беззвездную ночь.

Оставшись в неведении относительно истинной сути отверстий, Калишвили не прекратил попытки добраться до правды, однако рвения поумерил. Галерист довольствовался тем, что есть.

8

Эта книга о беззаветной (и безответной) влюбленности в искусство, о способах его постижения и пострижения в него же, поэтому, когда маниакальная страсть главгероя стала выходить за пределы оногo, постреливать глазками из-за кустов, нам сочинять расхотелось. Да вы разве сочиняли, напомним импозантный мосье, лепили по лекалам, пекли по рецептам, заполняли пропуски в бланке, торовато орудовали методичкой – собственные истории запрещены законом.

И все-таки имея в распоряжении конкретные имена и дискретные факты, умудрились нагородить отсебятины, гневно вопиет Калишвили, взглядывая на пухлую стопку исписанных страниц. Конечно, шутит, ибо знает: с подчиненными нельзя давать слабину, иначе распустятся, начнутся шатания, беспредел. Дай волю этим неписям, примутся балакать и балагурить. Разнежены, томаты, закроются в курилке и косточки пересчитают всем твоим предкам, вплоть до Тамерлана. И вот он, педант и буквалист, страшает нас для проформы, и для проформы делаем мы умные лица, будучи уверены, никогда, ни при каких обстоятельствах Калишвили, бесценно занятый, затаенный в тесные сети личных перипетий, не заглянет в наше скромное рукоделье, где уже нагорожено столько блистательной отсебятины, что, минимум, Лейпцигская премия обеспечена (коли не тюрюга, рукой Калишвили на полях).

Моя жизнь вырождается в фарш, то есть фарс, и я бегу по строчкам минувшего, не понимая, как мог столько раз промазать мимо главного, и постоянно исправляя чужой словесный рисунок, кривоват, тороплив, приближаясь к финалу длинного повествования – крible-краble, бубнит другой искаженный сказитель, не я, не мы, подернутый совсем уж туманным пологом, и отчаянно боясь отчетливо услышать его голос, говорю тем бодрее и ровнее в трепещущую пестроту окружившей толпы: потерпев и перетерпев неудачи с расшифровкой своей грандиозной мании, я не впал в уныние, не бросил попыток встроить ее в реальность, которая делалась все более блеклой и докучала тем сильнее, чем дольше я сидел в подвале с девочками.

Коллекция пополнялась своевременно и бесперебойно отборными экземплярами лоуброу. Я знал многих художников. Сплошные анонимы, в массе своей они предпочитали пользоваться мерцающим статусом инкогнито. На вернисажах, впрочем, отвечивали, ибо любили выпить халвяного винца и послушать разговоры пролетариата – восхищение, все шло в масть (трафили им также и трюфели). Сторожкой стремился развешать, не испытывают ли они те же чувства, что и я – обожание, преклонение, – создавая из неотступного ничего очаровательных голеньких девочек. Отвечали формально, скупое: испытываем, да не очень. В основном к работам личного производства, полотна даровитых соратников по жанру оставляют равнодушными – вплоть до порицания.

С душевной сумятицей и возмущением я однажды узнал, что существует устоявшийся ком-плект сюжетов и поз, выходить за его пределы решаются отдельные смельчаки, и сим поступают-ся блаженной и благотворной анонимностью.

Многие из нас, откровенничал имярек, рисуют спрехвала, набекрень, и пользуются трафаретами для имитации технического аспекта. Ведь интересен количественный прирост, а содержательный – пресен. И, предвидя дальнейшее, добавил: трафареты продаются в лавках москательщика. Прикладывай к холсту, обводи прорези, подкрашивай, иначе – твори! – напутствовал меня неизвестный художник.

Напуганный обескураживающей простотой современного творчества, я несколько дней беспробудно пьянствовал, засим прошествовал в лавку и приобрел пикантный наборчик. Уже держать абрисы моих ненаглядных девочек было упоением. К счастью, ничего не получилось. Ока-зывается, от контура до рисунка – по меньшей мере космический перелет. Не обладая навыками рисовальщика, я в клочки изодрал и развеял по ветру свои неуклюжие попытки приблизиться к девочкам со стороны их геометрии. И все же у меня оставалась баснословно большая коллекция, синоптический паноптикум, многообразный универсум, и я забуривался в подвал тем чаще, чем становился сановитее, виднее. Я был привязан к картинам. Протирал золото рам, ухаживал за текстурой ткани.

На пике развития моей «болезни» начал разговаривать с ними. Приветствовал дружную компанию, любопытствовал: как поживает маменька? Что подельвает папа? Любите ли играть в серсо? Ах, не любите, в сердцах восклицал, а во что любите? Ах, не во что, ну тогда я не знаю, тогда придется за дерзость язычка наказать малюток стыдобой. Например, виноватую героиню картины №157 голенькой выставить возле окна, дабы прохожие останавливались и в театраль-ные бинокли наблюдали непристойные виды, и перешептывались, и хмурились, и жмурились.

Да ты уже и стоишь, о-ла-ла! Вот так. Постою до утра, до утра следующего тысячелетия, не понимая прелести своих раздвинутых ляжек, и там... я задышался, не умея выразить то, что отчетливо ощущал – так космонавт, испытывавший полет в невесомости, подбирая слова, рассказывает о нем случайному знакомцу, и всё не то, блекло, поверхностно.

Короткие диалоги становились пьесами. Нехитрые роли затвердил зубок и, бывало, расхаживал, декламировал, покамест, подбадривая бесстыжими взглядами, смотрели на меня девочки. Драматический финал наступал скоропалительно – малышка застывала в исконной позе своей картины, я клал дрожащие пальцы на ее акриловый пах (меня будто било током) и набирался – сквозь высокую нежность нечеловеческого существа – теплой энергии невероятной концентрации. Еще немного, и перельюсь через себя.

В гривуазных ролевых играх помогали атласные тесемки, коими связывал рамки так, чтобы возникли марионеточные петли. Пользуясь ими, передвигал картины, словно хрупких кукол. Щедро наделяя девочек старинными именами, порой восклицал: погоди, Аннет! Или – стой, Коллетт! И широко размахивал руками, дабы поймать резвунью, и хватал ноющую пустоту.

Дни летели настолько быстро, что я несколько постарел, пиджак пообносился, штиблеты рассыпали весь колючий блеск в звездную тьму, погасла и рожа, будто выключили внутренний прожектор. Некогда неумные, мысли приобрели ригидность кристаллического сланца, и только лобуроу по-прежнему будоражил.

Скажу напрямки: я поклялся – если не выйдет какого-нибудь волшебного кунштюка вокруг этой темной темы, если реальность не перекрутится так, что я пойму особое, замечательное про девочек, если не добуду из них таинственного и невозможного – о чем всю жизнь немо кричит моя душа – и не знает ни тело, ни логика – чего нет в недрах летописей, докторских диссертациях и помраченном сознании идиотов, – переложу то, что пережил в бесчисленных подвальных сессиях, на язык художественной литературы – ведь должно остаться что-то, должен найтись смысл моего безумия.

Смысл безумия, с сомнением повторяет Калишвили. Так и тянет исправить, но точные слова кончились, их кончики затупились, а нас, мастеров и сподвижников, пираний пера, атлантов слога, танталов таланта и латентных аталант, под рукой нет, мы, обильно жестикулируя, докладываем.

9

Публика заворожена, и тем сгущается плотнее, чем плавнее закругляется время, драпируя синими тенями пилястры и шпили, закутки и кутузки. Округленный вспыхивает свет в далеких фонарях. Авиньон проваливается в себя тысячей искр, и напоследок блещет зеленой чешуей поверхность океана. А лучше сказать: темнеет, сквозит. Становится сыровато, воровато. Калишвили то и дело поглаживает часы: перевалило за. Прервать выступление не позволяет самолюбие, отчасти – слабование. Народ в основном молодой, жадный до жареных фактов и некритичный к небылицам.

Чувствуя: разохотился и вот-вот выложит важное, что ни в коем случае нельзя сообщать, Калишвили замолк посередине абзаца, выдержал паузу и пригласил задавать вопросы, не то – расхаживать по залам, шущукаться. Неопределенное лицо ехидно выкрикнуло: так что же все-таки такое – лобуроу? Демонстративно проигнорировал, понимая: народ устал, ищет разрядки. Были еще вопросы – абстрактные, полемические. Лектор прояснял нюансы юных ню, или уводил в сторону, когда затрагивалась область, в которой он ни бельмеса. Начались брожения, шарканья. Без предупреждения галантная публика рассеялась.

Некто единственный продолжал угрюмо смотреть в глаза Калишвили, разместившись на скамье у входа. Наш меценат не заметил его сперва и зашагал к нам – одернуть, пожурить, да мы, переглядываясь и неловко улыбаясь, дали понять: пристально следят.

Незнакомец опирался на толстую палку.

Вы обратились в око и устроили нам нагоняй, едва уловили, что соглядаята не кто иной, как Мыр!

Затворник и обскурантист, истый ненавистник современного искусства, он прославился тем, что не посетил ни одну скабрёзную выставку – и вот на тебе! Прослушал лекцию. Не грохнул в обморок.

Стараясь изобразить мину послащавее, посветлее настроить окуляры очей, вы бежали к нему на цыпочках. Нет, это мы бежали и падали, оскальзываясь на вощёном полу, а вы нарочито от-вернулись и озирали огромное полотно с обнажённой девочкой, балетно позирующей возле спокойного озера в вечернюю благодать. Гордость коллекции, картина пробуждала жалость: реяло комарье. Как изящно напряжены подъятые ручки! Как чудесно выгнут белесый зад – удивительной красоты ягодицы, нежные, не сформировались! Яркий рот приоткрыт: что же ты говоришь, вот бы узнать хоть слово.

Сладко закружилась голова, и предвкушая сегодняшние игры в подвале, я нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Я ожидал подвоха. Оный не преминул последовать. Меня затеребили вы, задышали в затылок, зашептали неразборчиво: быр, мыр, гыр, дыр, пыр. А потом собрались, расхрабрились и выдали на-гора: желает срочной встречи наедине, настроен воинственно, навострен. Это несколько нарушало плавность планов, но вызывало определенное любопытство. Где же пересечься? Взгляд упал на приоткрытую дверь подсобки, откуда струился молочно-белый свет.

Я решительно направился туда, рассекая шагами воздух. И намекая. И мы, невообразимыми жестами ладоней рассекая его же, принялись намекать товарищу Мыру. Простоват, староват для восприятия всякого рода ухищрений, он включился только тогда, когда мы приблизились и указали.

Он был зауряден. Коренастый, низкорослый, коротко стриженный дед – типичный пенсионер, домашний тиран, транжир крошечной пенсии – таким он представал стороннему взору, и все же мы не обманывались первым впечатлением, ибо видели его монументальные картины, с трепетом рассматривали классический портрет в энциклопедии – в контровом свете, с блестящими седыми волосами.

Со школьной скамьи мы знали, сколь много значило творчество Мыра для официального искусства – считался одним из главных среди живущих, – посему не отрывали взгляды от мощной спины, пока не вошел в подсобку.

Дверь щелкнула и закрылась, прищемив хвост тревожной собачке света.

Ю

Обстановка располагала к уютной беседе: колченогий стул сутулился в одном экземпляре, глумливое ведро показывало дряблый язык мокрой тряпки, тонкостенный шкаф с санитарными жидкостями источал химическое зловоние. Хозяин, как принято, стоял, скрестив на груди руки, знатный гость – присел, обхватив мясистой пятерней подбородок. Мы же устроились кое-как, спрохвала, на коленях, сгорбившись, в замочную скважину наблюдая за немой поначалу сценой, которая постепенно переходила в мою, то есть я прочищал горло, готовясь извлечь мелодичное «чего изволите». Товарищ Мыр мрачно буровил меня глазами, а я, далекий от официального искусства, лихорадочно вспоминал его биографию, смутно знакомую по школьным учебникам.

Мы вспоминали, пока беседа шла по касательной, – вот родители, чиновники из дома правительства, гуляют с коляской, пухлый малыш, еще не вполне осознавший жизнь, рисует мелками на асфальте затейливую здравицу всему, что окружает его. Вот незабвенный первый класс. Любимая учительница зарумянилась от смущения, когда поднес собственноручную акварель – гладиолусы. Это мне? Вам. Не пренебрегайте опытами юного дарования, дабы цвело как сия немудрящая флора, и переходя в зрелую фазу, бесконечно печально и нежно вспоминало о вас (цитируем по памяти). Или не печально – конечно, весело, бравурно. И все-таки нежно.

Пропустим незначительные детали (областные выставки молодых гениев, награды: грамоты), приближается поступление в столичный институт культуры на отделение живописи и кройки. Лучший на курсе, увлекся отвязной болтуньей, в приступе неловкой любви, переходящей в иступление, ослепление, чуть не свел счеты с природой, плюнул, забыл, навсегда зарекась иметь дело с капризным и неугомонным женским полом. И трижды не сдержал слова. Четырежды. Перечень его пассий нас нимало не занимает (формальность, шаблон, – как вся жизнь, созданная из гладких клишированных фраз, не имеющих отношения к тому, что было: категорически не принято писать о перинатальном центре. Некрасиво, воспоминания выйдут угловатыми, зыбкими. То ли дело друзья-хохотуны, робкая первая любовь, перипетии мучительных раздумий – какой пассивности предпочесть какую, теплая постель, подслеповатый «Рекорд», нетрезвый сосед, и первый снег, залепивший стекло бледными кляксами, и все равно как на ладони ночная улица, чернота, расцеленная цветными огнями; подвыпившие дебилы оприходовали скамейки – оголтело готовятся к вялой драке), зато пронимает перечень достижений – там медаль, здесь овалция.

Матерея, достославный Мыр обзавелся костюмом в мелкую клетку, отдельной студией на чердаке человечника и великолепным чувством стиля, который помогал ему вычленивать из всего хаотического бытия современного искусства то, что витально и валидно, солидно и правильно, и с презрением отвергать несущественное. Несущественным были модные тенденции к рисованию малолетних девочек, важным было придерживаться величественного официального стиля.

Мыр считал себя любителем и блюстителем традиций, что пришлось по нраву городской верхушке. Заметили, отметили, поставили в один ряд. Его масляные вариации на тему балкона украшают торжественные залы съездов и комнатухи летучек. Реплики портретов выдающихся деятелей государства висят в гостиницах и ночлежках, в пивнушках и кабаках. Наполненные солнцем пейзажи декорируют театральные ложи высоких чинов. Аккуратные натюрморты можно встретить в трюмах грузовых кораблей. Он выставляется рядом с Зажем, Ретом, и подчистую игнорируется публикой, безобразно разбалаванной детской эстетикой. А ведь, по легенде, его полотна висят даже в спальне у Самого...

О чем исподволь втолковываем не только мы себе же, но ведь и беседа вовсю идет, и Мыр громит лобброу. Не разобрать, наши ли то мысли, или его взволнованный говорок (или мой. – ГК). Свидетель гнусных метаморфоз аморфного совриска, он болезненно воспринял очередной дырчатый изыск в изображении мифических девочек. Как яростная эманация официального стиля, явился выяснить отношения с противоположным лагерем. В облике галериста перед ним маячил лобброу. Думал, легко расквитается (думали мы, что он думал, – думаю я. – ГК.).

Калишвили был subtilный, рыхловатый, изнеженный. Стоящая за его спиной мазня должествовала быть такой же. Мыр не ожидал встретить сопротивление. Говорил отрывисто, брызгал слюной, буровил мутными глазами невозмутимого собеседника.

Обозревая необъятные богатства нашей Родины, говорил он, вы преисполняетесь почтительности. Судя высокие дела президента, вы почти крез в душевном отношении и зеркало в экономическом. Так и тянет взять кисть, взмахнуть, помедлить в раздумье – какую краску предпочесть, и, набрав красную, ибо пронзительна, провести линию – фундамент будущего завода. И я спрашиваю, что случилось с клонами – бегут красного, чураются фабричных труб, солярки и черепицы, всего эпохального, значительного. Стремглав бегут они к девочкам, кукленьшам в розовых блестках, и сдается мне, это лишь повод, чтобы изгаляться и куражиться, корежиться и разлагаться, втуне оставляя прекрасный остов страны. Работая на убой, мы, преданные сторонники правильной техники, держим честь и предвидим участь некогда великого искусства. Да и вообще – что за идиотское влечение к детской наготы? Это нормально?

Вопрос был риторический, и Мыр продолжил: клон классического неизъяснимо влечет балкон, брутальность перил, пертурбации выхода, роковая внезапность ухода. Он вожделеет, в конце концов, катодов и анодов, а не катюнь и ань. Пилястров и шпилей, а не оборчатых юбок. Его влекут несжатые нивы, а не тесно сжатые нижние губы. Он адекватен, работающ, охоч до интегралов

и гренок. Он ежедневно молится спасителю Христу, а не пресмыкается перед голыми прелестями десятилетней инфанты. Свальная инфантилизация общества гибельна.

Мыр перешел на трагические завывания, чем вызвал снисходительную улыбку у Калишвили.

Отчего же, – позвольте перебить, – отчего нельзя утром любоваться на нивы, а вечером прикасаться к иному пригожему? Утром, знаете, катод, а вечером – катюнь. Утром сталь и шлак, вечером сласти, нежности. Ваш мир какой-то одномерный, мой друг, – заметил Калишвили, – не будьте букой, не замыкайтесь в частностях и околичностях заданных рамок, раскройте избыток сотворенного и, может быть, обретете мудрость. А то вы, право, элементарный.

Мыр не ожидал отпора. Однако слабенький реципиент не только дал отпор – был груб, насмешлив. Ощущалось: ни малейшего пиетета не испытывает заносчивый галерист перед монументально-патриотическим стилем и готов вести любые разглагольствования – припасено немало убедительных аргументов.

Мыр задрожал, от гнева затряслись мясистые щеки.

Вот и ваше искусство, продолжал добивать его Калишвили, погрязло в бесконечном пережевывании одного и того же. Взять балкон. Соглашусь, идея гениальна. Персонаж колоритен. Лаковые отблески неотразимы. Но достаточно одного, двух, трех исполнений – исполненная же миллион раз тема изнуляет зевотной навязчивостью, вязнет. Следите за моей мыслью? Портреты Рета однообразны, пейзажи Зажа монотонны. У народа выработалось откровенное пресыщение повторяемостью.

Мыр застыл возмущенный.

Девочки исполнены в том же ключе, не спорю. Так ведь лоуброу не тысячи лет, а десяток. Не успело приесться. Клонов и кочергой не отгонишь от выставок. Вот как народ устанет, застонет – милости просим, стыдите меня, устраивайте взбучку. Крушите опостылевший стиль. Покамест ваши инсинуации беспочвенны и беспардонны. Вижу, вы очень, очень пожилой человек. Вам до одури скучно в палатах правительственного дома. Не зная, чем занять время, коего – уйма, коли не сказать – тьма, вы в поисках сердобольных собеседников колесите по Авиньону и докучаете оным разными способами. Не удивлюсь, если навеваетесь к молочнику и грешите на свежие веяния в производстве кефирной палочки – дескать, прежде палочка была эфирней, рафинированней.

Негодование Мыра достигло предела. Художник стал запинаться и выражаться невнятно, пытаясь опровергнуть Калишвили. Засим понес ахиною. Слушать становилось невозможно, галерист из уважения к собственным ушам походя их прикрыл, чем вызвал бурную реакцию.

– Девочки заключают в себе имманентную гибель нашего общества. Они опасны, – возопил Мыр.

– Прекрасны, – мечтательно улыбнулся Калишвили.

– Ужасны и опасны! Вы даже не знаете, как выглядят они в реальности, а истово, и – что более отвратительно – неистово их защищаете и ощущаете!

– И что с того? – вскинулся Гарри, – что с того? Истово я их защищаю или неистово ощущаю – не имеет значения. Убежден, выглядят они именно так, как их малюют. Один клон может ошибаться, все скопом – не могут.

– Ага! Не могут?! – торжествующе закричал Мыр.

– Не могут.

– А если могут?

– А если нет?

– А если я докажу, что могут?

– Тогда вы, милсдарь, дока.

– И примете доксу?

Калишвили отвечал согласием:

– Окда.

Мыр приблизился и зашептал на ухо:

– То, что я поведаю – страшный секрет. Обязуйтесь дать слово: мое откровение не покинет этих стен.

– Даю.

Мы навострили слух и тоже зашептали: даем, непременно даем. Хотя мы находились вовне, и в нашей клятве изначально содержалось нечто порочное, не совсем порядочное, но не дать ее было некрасиво и непростительно, и мы, пересилив себя, приносили, и с такой силой наваливались и навалились на дверь, что вали и лили нашего нетерпения голосили пронзительно. Их было не унять. Высокий гость заложил руки в карманы и прохаживался кругом, отнимая почти все свободное пространство.

Калишвили иронически наблюдал. Его беспокоило лишь одно: нудно тянулось время, а картины в подвалах алчут немедленного преклонения согласно расписанию.

II

Мыр заговорил внезапно. Стоял он возле дальней стены, так что голос звучал приглушенно, и мы, не имея возможности расслышать хотя бы гран смысла, приоткрыли дверь и на четвереньках поползли в подсобку, где было темновато, пыльновато (солидным читателям путеводителя во все незачем знать сей незначительный эпизод из нашей профессиональной карьеры – вырежьте, уважьте! Оставить. – рукой Калишвили на полях), так что нас не заметили, и все последовавшее последовало незамутненным.

Мыр начал издалека. Напоминая Гарри о незабвенном детстве счастливых клонов, он против правил напомнил о перинатальном центре и стеклянных колбах, образующих бесчисленные ряды, где по законам генетики формируются и зреют эмбрионы будущих патриотов. Сперва я не мог взять в толк, к чему он идет проторенной дорожкой, и даже поторопил его. Будто не услышав и слова, Мыр расписывал в красках неизгладимое: идеальны пропорции, основательная близнецовость, этапы физиологического развития рассчитаны по секундам. Команда ученых безропотно и кропотливо трудится над точностью формул и степенью консистенции исходного вещества. И ведь бывают досадные осечки. То там, а то, понимаете, сям в технологические процессы закрадываются ошибки, материал сопротивляется, порождая труп и чудовище, чучело и образину, коих приходится в срочном порядке ликвидировать, выскребывая в химическую машину непотребные тела.

– Дальше, дальше, – морщился Гарри.

Десять лет назад произошел странный выворот ген: впервые за тысячи лет в одной из колб загордилась обыкновенная девочка, моментально вызвав смятение и переполох среди руководства. Ошибку определили умертвить буквально спустя сутки после обнаружения, но информация просочилась в высшие эшелоны – элита возбудилась, вступилась. Ребенка оставили в качестве экстренного исключения из правил. Как мечтали они – сильнее, чем вы, не ухмыляйтесь, – увидеть хотя бы одним глазком, что представляет из себя обыкновенная девочка! Колбу переместили в тщательно охраняемую лабораторию. Фиксируя каждый час развития небывалого плода, слетелись и съехались генетики со всего Авиныона. Посмотреть на диво дивное хаживала вся верхушка. Дело курировал лично Будин. Наполненные дикими домыслами дремучих веков, от формы будущей девочки они ожидали чего угодно – каменная полусфера, голубое сияние, лошадь с мордой кабана, явись ты хоть орогащенной лужей – потрясение не было бы таким мощным, каким оно стало, когда в колбе околпаченные докторанты и властители увидели человеческое существо с единственным радикальным отличием – вместо гладкой области между ног у нее имелась прорезь непонятого назначения. Предвидя ваши вопросы и любуясь вашими удивленными глазами – они столь огромны, что отражают комнату (какие-то дышащие тени сторбились на заднем плане – или мне кажется – вам кажется, шепчем ему в ухо, чтобы наш голос принял за свой, внутренний) – и подтверждая подозрения, скажу: из гулких лабораторных палат в народ – слухами, обиняками – просочилась идея антропоморфной девочки, отсюда началось восхождение лубброу, здесь кроются истоки современной фиксации на убогом отверстии.

– Прекрасном, – машинально произнес Калишвили.
Он был потрясен.

Народ жил в неведении. Слухи роились в высших сферах и оседали в миру совсем уж искаженными, а тех, кто намеревался выйти к клонам с благой вестью о рожденной сестре, разными способами останавливали. Держать в тайне эту небольшую мистерию было легко. Девочка завершила стадию колбы и воспитывалась в доме правительства. Сейчас ей десять. Отделенная от всех, она не знает о мире практически ничего, кроме того, чему учат наставники. Сведения их обрывочны, неточны. Она скользит по огромным залам, кокетливо заглядывает в зеркала, музицирует, играет в крокет. Она любит котят. Украшает пушистые шеи розовыми бантами. Ждет праздники – у нас постоянно что-нибудь празднуют – ей достаются лучшие сласти, бонбоньерки, золотые сережки, колечки. Она весела и счастлива. И обожает нас. Мы, соответственно, без ума от нее. Члены палат, вхожие артисты, мы в ней души не чаем. На старости лет она для нас и отрада, и отравы в каком-то роде. То есть как это в каком – в прямом. Регулярно кто-нибудь заболевает и мрет, заболевает и мрет. И если до определенного числа покойников данное обстоятельство не связывалось с присутствием девочки, то ныне эскулапы установили связь. К сожалению, фармацевтика недоразвита, нам попросту не требовались пилюли. Несмотря на стойкую (четко фиксированную медиками) связь между сестрой и смертью, мы не можем помочь захворавшим. Ученые говорят о возвращении коронавируса, закрыв лицо руками, шептал Мыр, якобы зараза исходит из нее. Мы безоружны, бессильны. Человечество на грани аннигиляции. Одно известно наверняка – болезнь на этом этапе не передается от клона к клону, лишь точечно поражает тех, кто долго контактировал с девочкой. Что будет завтра – бог знает. Принято важное решение: во имя светлого будущего утилизировать источник заразы.

– То есть?

– В химмашину.

– Когда?

– Через неделю. В настоящий момент, – Мыр приосанился, – она позирует. Мне выпала великая честь запечатлеть девочку в истинном облике. Для будущих поколений правительства. В назидание, в утешение. Бедное дите! Я уже несколько дней вижусь с ней, говорю, ласкаю, когда плачет – без причины, о своем – ношу на руках, когда заставляет, играю с ней, и много рисую. Я сделал сотни набросков, я потерялся в ней, вы понимаете меня?

– Отлично понимаю, – сквозь зубы произнес Калишвили.

– Говорят, картина будет висеть в гостиной Самого... Это ли не триумф моей жизни! Рядовые клоны, конечно, никогда не узнают, что был такой казус, что черная тень снова выглянула из пещерной мглы, но вас-то, человека образованного, влиятельного, я должен предупредить и по возможности переубедить – прекратите заикливаться на дырках и девочках. В реальности они смертоносны. Уж не от них ли пошла первая эпидемия? Подумайте. Остыньте. Узрите спокойное величие балкона. По крайности – довольствуйтесь пейзажами Жажа. Он неплох. Не хотите Жажа? Вот вам Рет. Его портреты грандиозны. Пропагандируйте здоровое, проклиняйте ущербное. Забудьте о девочках. Давайте скооперируемся, станем рисовать балконы вместе, вычищая из памяти клонов розовый образ обнаженной сестры. А если не умеете рисовать – будьте моим промоутером. Я ведь – хех – скоро умру, в таком случае завещаю коллекцию картин вам – под торжественное обещание гордо нести лаковые отблески перил в безалаберные народные массы.

– Подумаю, – потерянно произнес Калишвили.

– Подумайте! – со значением подмигнул Мыр, пожал его безвольно болтающуюся руку и стремительно удалился, чуть не прищемив наши пальцы.

Текст, доселе вялый, ускоряется. Мы еле успеваем за ним. Бежим, подтягивая подштаники, катимся колобками, да он уже скрылся из виду, и только сизый дымок маячит на горизонте и вот-вот растворится в сумерках. Нам грустно блуждать в пустоте.

Читатель, потирая ручки, устроился поудобнее – началась динамика. (Невдомек ему, что вскоре его не станет.)

Часть третья

I

Жизнь Калишвили поделилась на до и после. До странного разговора и после резкого, как удар хлыстом, ухода Мыра. Переварить информацию было тяжело. Оглушенный, обезволенный, он долго стоял возле тряпок и ведер, то бессмысленно улыбаясь, то открывая рот, будто собиравшись что-то произнести. Потом вышел, так хлопнув дверью, что надвое рассек укромные тела пары авторов, и пока мы хлопотали над ними, сшивали и утешали, уже скрылся в подвале, откуда не появлялся до утра.

Я должен был еще раз, вслух, медленно проговорить то, с чем поделился неожиданный гость, иначе не вынести. Бормоча: коронавирус, вирус, Сириус (будто не чирей – а Чириус), я окунулся в великолепии баснословных богатств своих, но даже на коленях, даже уткнувшись носом в плоский акриловый пах, не извлекал привычного спокойствия. Разом поблекло сверкание лобброу – в шаговой доступности живая девочка! И ровно такая, какие снились сумрачному творчеству наших художников. Это было запредельно (что она делает сейчас?) и дико. Объемная, настоящая. Дышит, зевает, разговаривает, поворачивает шею, поправляет волосы, и все те обнаженные позы, какие я наблюдал уже много миллионов проклятых лет, она ведь тоже принимает, не может не принимать. Я порывался бежать и тут же осаживал себя. Озадаченно бродил и думал, думал. Конечно, я сомневался в словах Мыра, поверить в них мог лишь полный остопоп (кем я, как выяснилось, был). Напуганный моим веселым напором в начале разговора, он сооружает блистательный блеф, чтобы меня подразнить и уязвить. Уловка сработала. Соперник повержен. Мыр гордо удаляется, втайне хохоча. И чем больше я об этом размышлял, тем сильнее (со злой яростью) верил ему. Пускай история кажется неправдоподобной, но если есть хотя бы микроскопическая тень надежды на то, что она истинна, значит, Мыр каждый день видится с девочкой. Его равнодушным глазам за просто так доступны ее невозможные прелести – и губки, и реснички, и нежный исподляжек, и всё, всё... Меня выворачивало от банальной зависти, я хотел быть на его месте, касаться и указывать, и будучи защищенным непроницаемым коконом взрослого статуса, делать с ней дивные вещи духовного порядка. Взаимные медитации, абсорбции лишних энергий. Что-нибудь и вовсе невыразимое через примитивный язык клонов. Если допустить, что все именно так, как в красках он живописал, то преступно оставаться безучастным, продолжать пялиться на картины (лобброу было ступенью к постижению чего-то настоящего) и бездействовать.

Прошло несколько дней, а томление не унималось. Реальность виднелась сквозь дымку болезненного воображения. Тогда я решил проникнуть в палаты Мыра, удостовериться, что он обманул доверчивого простачка, и с легким сердцем возвратиться к двухмерным сокровищам.

Сделать это было отнюдь не просто. Дом правительства, где ныне располагались мастерские Мыра, был строго охраняемым объектом, в него без приглашения не мог залететь и комар, что говорить о клоне, хотя бы и значительном галеристе.

Я наводил справки, перебирал знакомых, способных оказать посильное участие, впал в отчаяние, и вдруг в отдаленном уголке кусочничающей памяти обнаружился некто Калишвили (однофамилец), бывший официант в особом ресторане (первый этаж дома правительства перестроили под длинное кухонное заведение: чиновники любили поесть и поплясать), он знал все ходы и выходы. Я припер друга к стенке, грозя рассказать комиссии о его тайных воровских делишках (страдая клептоманией, оболтус оставлял гостей без запонок, тростей и книжек), коли не поделится секретом скрытного проникновения. Уговаривать долго не пришлось. Униженный, поникший официант выдал день и час, когда охрана менее кучна, назвал стандартный пароль, передал робу и дрожащим тенорком выразил уверенность, что меня схватят на этажах и размозжат в машине. Он не сказал ничего подобного, ибо видел мое состояние, близкое к одержимости. Я плохо понимал, на что иду. Чувство опасности, мой извечный спутник, нивелировалось в огне бесконечного желания.

К операции не готовился. Спонтанно собрался, нахлобучил колпак, фрак и поехал на трамвае. От крайней остановки рукой подать до искомого адреса. Дребезжало, тряслось. Солнце скрылось за облачной пеной, Еленой. Плен, плева. Никак не мог нащупать слово. Проезжая мимо туманной набережной, с облегчением припомнил: пелена. Но было поздно. Солнце выскользнуло и полыхнуло на стекле небоскреба яркой дорожкой. Зачем проволоочки, зачем ты все это рассказываешь – ретардации, традиции – господи, как они мне надоели, мои постоянные соавторы, лезут в уши, шмыгают за пазуху, шуршат в ногах, нудят или трещат. Куда ни ступи – их след, и сейчас надо мной невозмутимые личики, скупно прорисованные в плеве стеклянного утра. Мы не понимаем вас, мы не пони. Окончательно отказываясь от бесплодной игры в слова, я топчу каблуком, уничтожаю коллективное тело, да оно все равно зудит и нудит – одну тварь прихлопнешь, тут же вырастают две с еще более внушительными оправами толстых очков. Так и лезут заглянуть в глаза, удостовериться, что прочел и одобрил: всё ободряю, обдираю, обтираю, обретаю.

2

От предвкушения знобило. Вот километровый небоскреб с Мыром, Будиным, кликой оруженосцев. Там балетно прыгает непоседливая егоза. Или ничего нет, но тем лучше, тем проще.

Он миновал остроугольные клумбы с охапками пряных цветов и по застекленной площади, по собственному темному отражению, просеменил к боковой дверце. Хмурая и нарядная охрана не повела носом, когда он, предательски запинаясь, произнес пароль, и пропустила в анфилады телескопически развернутых коридоров и залов, где – такие же, как он – в ливрейных фраках суетились официанты, суя подносы на длинные сдвинутые вместе столы и окружая господ различной заботой. Несмотря на раннее утро, чины пировали, и судя по многочисленным пробелам в рядах пирующих, их количество будет увеличиваться. Поднимется гвалт, зазвонят музыканты. Пока робко настраивали инструменты, но уже пара пар покачивались возле барных бра, обсуждая политические вести. Осторожно внедрившись в среду слуг, Калишвили доставил поднос с двумя серебристыми чашечками, принял пустой, и понемногу сдвигался к боковому ходу – за ним лестница, ведущая на все этажи. Подспудно осознавал, предприятие – аховое, схватят обязательно, подвергнут публичной казни, и тем не менее шел, даже внутренне хихикал, ничуть не меняясь в лице.

Строгая современная простота обернулась барочным великолепием. В тяжелых рамах темнели монументальные картины. Грузные люстры с хрустальными спиралями переливались пойманным блеском. Тучная, прочная мебель встречала всюду, и я, мельком рассматривая таблички на створках, пронеслся наверх, в мастерские. Изучал запутанную паутину указателей, досадливо крякал и опасливо сторонился, если из скудно освещенных коридоров вымахивали важные персоны. Как безупречно составленный путеводитель, система стрелок вела к цели. Поднимаясь, замечал: богатеет, усложняется обстановка. Пышные ковры, комоды. Рыцарские латы, канделябры. С многоярусными подшивками папок бегали секретари. Встречались пальмы в плетеных кадках и клетки с певчими птицами – нахохлились, не заливались. Вдруг я достиг какого-то порога. Изысканность пропала, замаячили пустоватые, строгие коридоры. Мое сокровище поблизости: это знак! Обуреваемый детским любопытством, заглядывал в замочные скважины, и видел за работой клонов, от которых зависело будущее и настоящее Авиньона. Погруженные в государственные мысли, ученые мужи нависали над стопками бумаг, и то проводили мелкий штрих, то принимались активно строчить, или рвали в клочья, швыряли в корзину, и шептали короткие, грубые слова на незнакомых языках.

В конце последнего прохода стрелки кончились, но я уже по стойкому запаху определил – и, приоткрыв, бочком прокрался в мастерские. Это был узкий пассаж, уставленный такими же дверьми, заляпанными краской. Я старался не дышать, чтобы не выдать свое присутствие, но художники и мальчишки были настолько увлечены, что, кажется, не заметили бы меня, если б я носился как слон, колошматил и топал.

Вовсю шла работа – там в темно-красный подкрашивали статую балкона, здесь – в три руки, в три золоченых кисти грунтовали холст. К стене неловко, вот-вот сползут, прислонились несколько одинаковых пейзажей Жажа. Закрытую дверь огласил густой бас Рета, согласным гудением вторили тонкие голоса подмастерьев. Но я ничего не слышал, потому что на дальней двери заметил табличку «Мыр» и упал на колени, целясь правым глазом в замочную скважину. Во мне трепетали не чуемые доселе струны, и не сразу картинка сфокусировалась.

Я предчувствовал, что первая встреча с девочкой произведет во мне великий фурор, но реальностьхватила много дальше, и оторопев, забыв дышать и мыслить, я смотрел на нее. Совершенно обнаженная, как мечталось и снилось. С длинными распущенными волосами живое всамделишное дите стояло на мягком диване, утопая по шиколотку, и скрестив на груди руки, недобро смотрело на Мыра, который скрылся за мольбертом (то и дело вылезал колап, острый локоть, туфля) и клевками кисти доставал красную, черную краску. Картина почти закончена. Очередная работа в знакомом стиле на этот раз совершала неожиданный трюк. Вместо привычного, прищуренного Будина на балконе стояла голая девочка, и коленопреклоненные клоны застыли в экстазе.

Восторг и ужас. Несомненно, крупная удача Мыра. Жесткий удар под дых поклонникам луброу. Перенимая лучшие черты модного стиля, полотно было официальным, монументальным, и приоткрывало невиданные перспективы развития темы. Я представил, как на смычке противоположных искусств образуются иные славные вариации. Например, «Смотреть в глаза!». Вместо судьи голенькая девочка. И обвиняемый с угрюмой улыбкой смотрит, смотрит в ее миндалевидные зеленые глаза, ведь с ребенком не так страшно иметь дело. Нарисованная, эта версия бесспорно прояснила бы глухую тайну, таящуюся в исходнике. Девочка стояла в пяти метрах от меня, я слышал дыхание, шелест кожи, видел, как моргает она. Бесконечно сложно описать ее странную красоту, словно из темницы, где я оставил тридцать, сорок лет, меня выдернули и опустили перед цветным колыханием ангельского шествия, макнули в лучезарные радужные перья, и, не умея насытиться текучей красотой, я вздрагивал и морщился от болезненных наплываний безотчетного счастья. За секунду тайного соглядатайства поблекли подвальные увлечения, и я понял: хочу быть рядом, чего бы это ни стоило, провести пальцем по шелковистой коже предплечий, скользнуть в гладкую выемку паха, и там... я задохнулся от восхищения, меня переполняло что-то доселе укромно спавшее – я не знал, что последует, но как-то безоглядно верилось наитию: то, что произойдет после того, как я прикоснусь к бесполезной, слегка влажной щелке, изменит вселенную, уничтожит и перестроит солнечный свет. Духовности я алкал, красоты высшей нравственности, и бледное тельце обреченной малышки веяло непостижимой мудростью погибших цивилизаций. Она была поразительно похожа на типаж, принятый творцами луброу – тот же кукольный профиль, те же глаза и губы, видимые мной в полуночных бдениях тысячи раз. В реальности, конечно, воспринималось иначе. Передо мной проносились сладостные видения: на боку, на коленях, в Баку, на оленях. Я жаждал лично высказать малышке, как восхищаюсь ее изящно сложенным телом, но не был уверен в том, что с ней можно разговаривать так же свободно, как с почтальоном или продавцом глянцевого открыток. Хотелось умыкнуть, спрятать, миллионами способов высказать то, что вертелось, зудело, и отчего-то приливалось к низу живота, и жгло. Да и Мыр, кажется, общался с ней мурлыкающими междометиями: ымр, умр, и она кивала, переставляя позу. Вернее, слова были приглушены толстой дверью, и я корячился в напрасной надежде услышать.

Прямо здесь раз и навсегда решил: нельзя дать погибнуть удивительному цветку. Машина убивает болезненно, сосет, переламывает кости и хрящи. Недопустимо! Богиня таинственной религии должна озарять сиянием адептов, а страдать ей нельзя. Если Мыр не соврал – в опасности жизни клонов. Но что такое клоны, рыхлое возобновляемое сырье, в сравнении с сингулярностью ее бытия.

Я сошел с ума, я уже настолько отделился от социума, что для меня не было ничего существенного, кроме нее – складки, овалы, провалы. Обними! Умыкни! – требовал внутренний бес. Я изнывал – вот она, в шаговой доступности, и ничего сделать нельзя, потому что уже кубарем скатывался с лестницы, и какой-то мальчишка-подмастерье с ведром, полным мыльной воды, напугавший меня сильнее всех инспекционных столбов в мире, – растерянно смотрел мне вслед.

3

В тот вечер я впервые пропустил подвальный сеанс и даже мельком не пробежал взглядом по новым картинам. Я закрылся в кабинете и растворился в беспрецедентном сиянии, что отныне и навсегда озарило жизнь. Оставив мелкие канцелярские хлопоты нерасторопному секретарю, фланировал по парку, бормотал под нос несусветные глупости и едва дождался следующего дня, с отчетливым ужасом понимая: у меня в наличии шесть золотых и жутких дней, нужно предпринять решительное, решиться на предприятие... Упорно не замечаемый никем, я повадился приходить в мастерские по утрам и до позднего вечера подглядывал в облюбованную дырочку. Охрана не спрашивала пароль и почтительно расступалась. Я уже не шараялся по коридорам, не шагал, а несся сломя голову по назубок заученному маршруту, и проникал, и приникал, стремясь увидеть то или иное положение трехмерного шелковистого тела, услышать звенящий голос.

Моя девочка (мысленно называл моей) не тяготилась компанией Мыра, как мне, захваченному затаенной ревностью, хотелось думать. Наоборот, с удовольствием внимала его коротким просьбам, принимала замысловатые позиции. Он, полагаю, сильно ее робел и боялся обеспокоить, отчего долго пыхтел и жевал губами, прежде чем произнести пожелание, и когда она с готовностью выгибалась или передвигала задок, благодарил благоговейно.

Похоже, задумав переписать свои картины на новый лад, Мыр не церемонился с малюткой в плане откровенных поз – и что я только не увидел за несколько счастливых дней! Изнывая от духовной жажды, я совсем перестал обращать внимание на то, что происходит за моей спиной, и мог легко попасться на глаза любому обитателю дворца – но мастера и подмастерья куда-то разбежались – заглох гомон, не басил Рет, не мельтешил Заж – оставив меня наедине с крошечной щелью, откуда цедилося неизречимое сияние.

Требовательный творец, Мыр никак не мог остановиться на окончательном варианте балкона и часто рисовал поверх намалеванного. Вот сидит на перилах как наездница, пропустив их между ног и наклонившись вперед – смуглые ягодицы перенимали лаковый блеск. А вот уже стоит на нем, точно собирается прыгнуть в толпу, бесноватую от безумного восторга. Здесь видны только пальчики, словно девочка подкралась снизу и собирается предстать, но пока в узкие прорехи лукаво посматривает на паству. Там – вальяжно, широко раскинув колени, сидит на перилах и сосет большой палец, пусто взирает вниз. Вариант с ладошками нравился сильнее прочих – странно притягательным намеком на присутствие тела, отсылкой к зарождению второй волны лоуброу, и я чуть не закричал: одобряю, да вовремя спохватился. Недовольный Мыр тут же заштриховал его, пробуя иные наброски.

Иногда он отлучался в дальние комнаты, и малышка, предоставленная себе, начинала скукать. Полежав с задранными ногами и протяжно поскулив, как раненая собака, она с веселым смехом носилась по мастерской, и чем ближе была к замочной скважине, тем выпуклей, подробней видел я всамделишное, ловко устроенное, непостижимо идеальное тело, и ту самую, баснословную, дырочку, и не умея вместить столько красоты, замуривался.

Возвращался Мыр. Она моментально принимала нужное положение и будто подмигивала мою сторону, чтобы я, соучастник внезапной свистопляски, молчал в тряпочку.

4

Дни летели и таяли, я входил в дом правительства спокойно, как в собственный дом, кивал, пожимал руки, спешил наверх. Однажды я проспал, будучи увлеченным в тягучее сновидение с голыми и необыкновенно покорными детьми, так за мной прислали экипаж (негоже официантам отлынивать). Я прибыл даже быстрее, чем намеревался. Никого еще не было, безответственная охрана куда-то испарилась, двери хлопали на ветру, пластик вспыхивал в солнечных всполохах. С невероятной легкостью я взбежал по мягким коврам. Дом притаился, не раздавалось ни звука. Мастерские были распахнуты, белели мольберты, палитры пунцовели потеками краски, царил беспорядок, будто служащих срочно отозвали на совещание.

Я припал к щелке и затих.

В далекое окно вкатился край солнца и выделил ярким пятном ее напряженное лицо. Мыр удовлетворенно изучал последнюю (завтра смерть) вариацию балкона, на которую потратил, судя по всклокоченным волосам и размычивому взгляду, всю ночь. И девочка была измученная, вялая. Оставались мелкие штрихи. На этот раз Мыр – испробовал сотни вариаций, прежде чем набрел на эту – превзошел себя и преодолел монументальное искусство: балкон был нарисован вниз головой, здание, перевернутое чей-то могучей волей, врезалось в песок до самых перил, и девочка, вплотную к ним приникнув, в безмолвной тоске протягивала из импровизированной тюрьмы умоляющие ладони, но ведь и клоны прихотливо перенеслись наверх, и чудилось, падают густой ликующей массой в ее преувеличенно крупные объятия. Жирный блик выхватывал испуганное лицо, и когда кончилась желтая краска, Мыр досадливо всплеснул руками и так споро вышел, что я едва успел прижаться к стене, пропуская взъерошенного художника, погруженного в отвлеченные образы. Обессиленная девочка присела на колени, будто у куклы кончился завод, положила щеку на подлокотник и замерла.

Иного шанса не представится. Я знал: судьба руководит мной и неспроста услала Мыра. Бездействовать преступно, грешно. Когда я, не дыша, не спеша, очутился в комнате, то по особым флюидам нежности мог вслепую найти малышку. Я дрожал, шел на цыпочках, и чем ближе, тем билось отчаянней сердце. Вот упругая попочка, господи, какая совершенная, неужели сейчас, сейчас мои пальцы, холодные пальцы ощутят... Я видел и грудки, и черную ночь раскинутых волос. И грудки, и попочку... И в тени сдвинутых бедер – мучительная дырочка... Я уже полз на коленях, чтобы спасти незаметно, утешить, утешить. Заговорить с ней, конечно, не мог (от звука ее голоса во мне произойдет аннигиляция крови, она ведь не живое существо, убеждал себя, а призрачный ангел), моя помощь будет ненавязчивой, но действенной. Я набросился на нее, прыгнул из-за дивана и буквально покрыл – как мечталось и снилось, – покрыл своим телом, и целуя в глаза, губы, волосы, всё шептал: бежим, бежим, и не мог подняться, потому что, единожды прижавшись к ней, почувствовав горячую нежность овалов, провалов, поймав легкое дыхание, уже не мог шевельнуться от раздражающего меня яда, и отчаянно уходя от встречного взгляда, все плотнее притирался, целовал шею, и мямлил волосы, и терся и всхлипывал, понимая, что никогда, никогда у меня не было и не будет ничего подобного, а оно должно, непременно должно быть. И уже зверея, свирепея от сновиденной легкости, с какой раскрывалось ее чудесное тело, добирался до гладеньких ягодичек, и мямлил, и теребил их, хрипло дыша в ее волосы, скорей, скорей, стонал я, уйдем отсюда, и дергался, а когда моя рука свободно и просто легла на влажную ложбинку паха и надавила, для пробы, ради испытания новой игрушки, девочка, доселе послушная, почему-то начала кричать.

Затопало со всех сторон, и несколько мощных ударов по голове погрузили меня в темноту.

Часть четвертая

I

Не уплывайте, дорогой директор, на другой берег. Что нам, сыром, брошенным, слепленным из мелочи и сора, останется делать, то ли выть тоскливо, не то нервно выкатывать в преддверии окончателюного рассеяния среди враждебной обстановки, где единственным маячком будет ваша могилка, и та поблекнет как камелек. Поблекнем и мы. Растворимся, расстраиваясь. Поступив с нами грубо, вы показали себя несдержанным, беззастенчивым, но мы простили, ибо сказано: прощай. Нельзя покамест прощаться – мы с вами еще в рощах побродим, у нас в чести иван-чай и одуванчики, репейник и муравейник, звенели десятком голосов собранные из ошметков авторы, или авторы, собранные из ошметков, что более нормативно с точки зрения стилистики, да нам противно и думать обо всей чернильно-книжной катавасии: ГК провалился в черный туман обморока, и даже энергичные похлопывания по щекам не помогают, вы стенаете неосознанно, покамест солдат вас несет как безвольную куклу на плече, и не вслушиваясь в возмущенный го-

мон и перешептывания окружающих лиц, плотней и тесней окружающих, вот это уже и не лица, а спины, ноги, галстуки, манжеты, мы вслушиваемся в ваше прерывистое дыхание, надеясь, что станет порывистым, схлынет бледность с губ, и закатившиеся зрачки примут естественное положение, мы надеемся, да что толку – нужно предпринимать меры. По мере сил действуем: дуем в лицо, щупаем пульс. Куда изверги волокут нашего директора? Не спрашивайте, мы не знаем, а коли и знали – все равно бы не ответили: повязаны печатами и обетами, ограничены инструкциями, обусловлены клятвами. Давали честное пионерское, волос на отсечение, а главное – зуб, нам никак нельзя без него, тем более скоро все проявится.

Да уже и проясняется.

Если дальнотзорко смотреть в конец коридора, заметно: за дверью ряды кресел, словно в театре, на сцене составлены столы с протоколами и чернилами, участники комиссии ждут нашего явления, подгоняют медленными жемами – скорей, скорей – будто, кроме процесса, у них на сегодня запланировано важное – кормление голубей, мление под модный бит, походы к проктологу и парикмахеру – отнюдь, до позднего вечера будем слушать и рассуждать, мусолить и сулить, а потом может быть, под ивами, под липами пройдемся в ночных сумерках. Молчание сопроводит прогулку, кое-кто покачает головой, иной усмехнется, третий досадливо хмыкнет да саданет по одувану, и невидимый пух полетит, рассеиваясь в закутах холодного парка. Скорей, скорей – требует Мыр, который уже уселся в высокое кресло и нетерпеливо качает ножкой, и перебирает пухлые стопки мелко исписанных листов; на носу его неожиданное пенсне, да и щегольский камзол на судье сидит как влитой. Подстегнутые могучей волей нашего непосредственного начальства, мы щиплем и толкаем вас, а вы, еще не приходя в сознание, как говорит классик, сквозь опущенных ресниц, расплакались. Вытирая внезапные слезы, мы теребим и торопим, тараторим и гладим, юлим подле, машем нашатыркой, и когда сознание вернулось к Калишвили, юли и маши наших ухищрений облегченно перевели дух.

2

Вернувшись в тело, галерист подумал, что переместился в картину «Смотреть в глаза!» – интерьер аналогичен, темно-красные портьеры, тусклые лампы, только на месте обвиняемого находился он, и поднимать глаза не смел, ибо не знал, с чем придется столкнуться. Меж тем пришла пора выпускать девочек, мы подали знак, распахнулись боковые дверцы, и без единого слова лили и вали, юли и маши вошли в партер, голые и мрачные словно глубоководные чудовища, с одинаковыми красными бантами и пестрыми лицами, раскрашенными в ориентальные узоры. Мы приветствовали высоких сестер почтительным вставанием. Мыр кинулся пожимать ладошки, расшаркивался. Закончив церемонию, вальяжно сел на место, и наша сестра, та, которую недавно хотел изнасиловать Калишвили, против правил плюхнулась судье на колени.

Мыр поднес палец к губам. Все готово, начинайте.

Не терпится узреть судилище, десятое за отчетный год. Зная наперед, что будет происходить, тем не менее переминаемся как на иголках – у нас, наверно, невротическое расстройство – формальные вопросы, робкие ответы – страшно желается заглянуть в глаза этому человеку, да мы и заглядываем, заползая под сидения, и ничего не видим, кроме темноты.

ГК согбен и отрешен – скоро ты, дружочек, попляшешь и запоешь. Медики вкалывают галеристу средства для бодрости. Он морщится, сопит. Мыр, привстав для пущей вескости, с верхотуры его окликает. Обвиняемый, поднимая глаза, встречается взглядом не только с Мыром, но и с девочкой – они в раздражении протянули руки, приказывая глядеть (и этот штрих, завершающий картину, сливается воедино официальное и популярное искусства). Нам велено вести протоколы, чем и занимаемся, фиксируя слова и положения. Мы вновь погружены в вязкий текст и не смеем отвлекаться на личные нужды, да у нас и нет их.

Рядом с вами лежит брошюра. Если приступить к немедленному чтению, первые страницы будут соответствовать нашему совместному тексту – «на рассвете вы прибудете в Авиньон...». Это и есть путеводитель, но законченный, доведенный до благостной стадии полноценного издания,

и как вы успели заметить, распечатанный на плотной бумаге. Не спешите пучить очи, клацать по стулу кулаком и восклицать «не понимаю», сейчас поймете, перелистните ваш прелестный экземпляр туда, где мы прощаемся и принимаем прощение, делаем книксен, шаркаем ножкой, где ваш зоркий надзор ослаб, а наши полномочия обрели нешуточные перспективы. Ринувшись в свободный полет, долженствующий представить яркую концовку, мы исправно следовали инструкциям более приоритетным и древним, о чем вы знать не должны были, а коли теперь исподволь узнаете – то, вняв и вивясь виновато, сознаемся: значение и назначение путеводаителя шире, чем тешить взор коллекционера бумажного хлама, занимать филистера на отдыхе, или способствовать поиску определенных, непередаваемо таинственных мест в черте города и за границами. Он тянет вас – не конкретно вас, обвиняемый – индивидов с похожей складкой, жилкой – сквозь непроницаемый мрак изначальных положений, слепых блужданий по ошибочно составленным маршрутам – в сторону извечного света, на путь исправления и расправления, так сказать, неких крыл, заложенных мудрой природой. Тянуть-то тянет, да не все соответствуют его высоким требованиям, кое-кто предпочитает боковые тропы, окольные тракты, овалы, провалы, посему загода – согласно шаблонам, как же еще – по мере развития путеводаитель мутирует в беспокойный сон осужденного к смертной казни. Начинается как легкое чтиво с минимальным порогом вхождения, – читатель (бородач с рюкзаком) посвистывает, ставит галки на знакомых координатах, и вот текст становится неподъемным, и уже не то что координаты – собственное лицо скрыто в наплывах тьмы, и когда чтение превращается в боль, он понимает, что оторваться не может, и страдая, добирается до последних страниц, а что там написано, вы не узнаете, потому что вам не суждено дожить. Однако, прежде чем мы потеряем славного руководителя и всплачем над горсткой праха, и вспомняем, всплакнув, обязаны надлежащим образом вас проинформировать, дабы вы не покинули нас невеждой, а в соответствии с инструкциями отчалили сущим знатоком истории, отличной от пережитой вами в ощущениях, бо обманчивы и опрометчивы. Не знаем, зачем чины придумали неудобное правило, проще отлететь, считая себя браком, абберрацией, хромым на хромосомы гномом генома, а вот изволь сгинуть, с потрясающей ясностью зря в корень, – часть наказания или акт милосердия, не знаем.

Памятку смертнику предваряет афоризм, принадлежащий перу авиньонского мыслителя, давно удаленного ветром времени, и она удивительна, эта гнома, и упоительна своей простотой. Смерть, дескать, придет, каркает автор, и у нее будут глаза твоего ребенка. (Запишите куда-нибудь.) Хронос для вас хрупок и выпался практически весь на ладони, мокрые от слез. Не мешкайте, пропускайте непонятные моменты, мышью пробегайте по ключевым, сие чистая формальность, вас никто не будет экзаменовать – у педагога экзема – беда, горе – да вот он уже истлел, а вы чинно склонились, вам не верится, вам вздыхается и воздается, и мы наблюдаем – умиленно – всегда как в первый раз – словно тетушки за уроками смышленного племяша – наблюдаем и грустим.

3

«Ничего не было вольготнее и радужнее припорошенного голубоватым снежком зачина 2021 года». Взяв элегическую тональность, авторы описывали спокойные радости земных странствий, уютные треволения обеспеченных буржуа, угрюмые трагедии обесспиченных жителей окраин, незаметную рябь на холсте реальности. По мере приближения важного события, тон становился грозен и резок, и грянуло: в мир пришел коронавирус, смешались социальные пласты, там и сям бурления, всплески недовольства, крики бессилия, иной уже с богом торгуется о смерти, другой спешит выполнить то, что бесконечно откладывал, третий застрял в болезненной нерешительности перед оконным провалом. Правительства мечутся и стенают, не умея в кратчайшие сроки договориться, объединить усилия – и наобум вываливают в свет бесполезные вакцины, от которых люди мрут или превращаются в уродов; гаснут глаза записных кокеток, интуиты и интриганы без искры и слова бесцельно бродят в сумерках пустых комнат; и хлопают ставни; и ветра, ликуя, кувыркаются в облетевших садах, и гремят подмороженные ветки, и уже прицеливаясь к трупному

продовольствию (всё вспоминая Платонова, писали мы) на разбойничьем наречии галдят вороны, во всех широтах и штатах, селах и королевствах, и незримое низринулось – лопались ампулы; амбулатории, аппараты искусственного дыхания суть воплощенное бессилие человеческого ума перед заразой, и в заплатанном платице ходила и была смерть-анорексичка, и душила гнилыми перстами тех, кто отважился жить и дышать, драматизировали мы не зная удержу. Да и кто нас мог сдержать? Вас не существовало, читатель завернул за угол, померцал и рассыпался.

Сперва в стогах и канавах валялись трупы бродяг, сумасшедших, и по нарастающей, знаете... и вот уже висельники на детских костях танцевали вальсы и сальсы, и сплетались ядовитые змеи в подобие символического лика того, что еще недавно именовалось очередной итерацией гриппа. Сотню лет блукал по Земле коронавирус, и сочтя, что выпил все соки (или высшие силы в срочном порядке отозвали: предстать с отчетом о проделанной работе), к концу 2221 года испарился окончательно и бесповоротно.

Не поправляйте, здесь нет ошибки. Читайте, читайте вдумчиво или бездумно, наискось или по слогам, у нас довольно времени, еще не легла тень на плетень, не стукнул судейский молоточек, Мыр с отеческой улыбкой взирает на исчадие.

Когда эпидемия миновала, помимо поправимых и обратимых последствий, возникло невозможное: ковид нарушил структуру генетической цепочки, перетасовав звенья таким образом, что женщины отныне не могли рожать мальчиков, при этом девочки с завидной регулярностью выпрастывались из упругих утроб. Аллитерации, розовые ванны и массажные салоны не спасали. Медики безуспешно скрещивали препараты, вставляли на парапеты нервные гражданки и скользили по солнечному лучу, ибо прошли десятилетия, прежде чем человечество признало свое бессилие перед роковым и кромешным финалом.

У нас было два мира, один, подернутый океанической голубизной, с кораблями и галунами, голкиперами и шкиперами, с фингалами и финками, второй с розовыми занавесками и маникюрными ножницами, бюстгальтерами и гетерами, опосля катавасии остался только один, вернее, пока еще на задворках маячил второй, но стремительно сужался и съезживался – мужчины еще котирировались и занимали посты, и брились по утрам, и шуршали газетами, но уходя друг за другом в вековую тьму, заменялись деловитыми дамами, у которых сумки из крокодиловой кожи, и припудренные щеки, и атласные ленты в толстых косах. Мир обабился, обрел изящные очертания, зазвенел колоратурным сопрано, поплыл в розовой вате – в ползунках и колготах, с куклами за пазухой.

Определились иные последствия эпидемии – бедные маленькие девочки доживали до двенадцати лет и за считанные месяцы мерли от необъяснимой хвори (так называемое «старение крови»). Сейчас мир функционирует, но что произойдет через сто лет? Принимая суровую реальность, мы, авторки и авторессы, живем последние годы, и следом за нами в небытие обрушится человеческое устройство земного шара – капитолий и диснейленд, тракторы и трактиры, роботы и аборт, любовные письма и квитанции за газ, и когда прервется дыхание последней маленькой девочки, в мире погаснет свет, будто кто-то в небесах раздраженно щелкнет выключателем.

Мы слабы, мы умираем, приближаемся к финишу, и не знаем, как эффектно закончить, какую фразу произнести, чтобы запоминалась (да и некому запоминать), какой сделать красивый жест. Мы замучили ученых (они разводят руками), линчевали генетиков и, плача, приходили в храмы, но там ждало молчание, в нем чудилась усмешка. Мы кончали с собой и вскоре перестали, тупым взором обреченных баранов наблюдая за концом мира. Вы умрете значительно раньше, возрадуйтесь! Вам не придется следить за смертью детей, хвататься за соломинки призрачного спасения, верить и бахвалиться безверием, приветствовать распад и утешаться безумием сатанинских сект. Конечно, ненужный, гадкий шанс дожить до немощной старости институт Таймунова вам давал. Вы, к счастью, им не воспользовались, как и многие другие до вас. Дальше не читайте. Сделайте вид, что ознакомлены, подпишите бумажки. Шагайте в марево очистительного огня! А если все же остались, не бросайте, нам было тягостно работать над стилем. Внимание читателя ведь бесценно.

Человечество активизировало темные силы, доселе спавшие – из всех щелей повылезали шарлатаны и барыги, экстрасенсы и сенсеи, люди как будто жили в ускоренной перемотке, снова и снова воспроизводя нелепости и тупики суматошного быта, и с такой радостью в них погружаясь, с такой нежностью – что последние дни чудились всюду. Поколение мужчин, не тронутых ковидом, околевало медленно, зачастую смердя миазмами морального разложения, будто напоследок им не терпелось поизгаляться вволю. Становясь прошлым, маскулинное выкристаллизовалось в предельных формах – в небытие уходили не галантные господа, а невнятные искаженные ужасом психи, чтобы запомниться и остаться в пока еще брезжущей девичьей памяти в свете крайне мрачном, в обликах монструозных, и в чем заключалась задумка мироздания – сказать затрудняемся, но как на духу утверждаем: воистину так было, о чем сохранилось премного фотографического материала: толпы озверевших убийц орудуют на вокзалах и в кирхах, на пустырях и полустанках, в полураспаде личности сметая все на своем пути, а в распаде – сметая остатки.

4

Особенно докучали педофилы. Вообразив, что нечего стыдиться, они бросились шупать девчушек, воровать цвет и весть юности, юлить в кустах, караулить в аулах. Чем сильнее сокращалось поголовье мужчин, тем больше было педофилов – слабоумных, слюнявых, сошедших с ума от лобового столкновения с действительностью. В преддверье гибели испортились даже те, кто истово или неистово любил половозрелых. Девочки (сверхценный объект в нынешних условиях) ничего не подозревали о грозящей им опасности: не склонны к рефлексии, ненаблюдательны. Рвали одуванчики, топтали газоны. Смело вступали в диалог с проходимцами, а затем сполна расплачивались за безрассудство. Приходилось воздействовать превентивно, а то и постфактум, ставить форпосты и шугать простофиль ужесточением статей – точнее, упрощением процедур (обставленных некогда утомительными бюрократическими препонами) до единственной благотворной операции: выстрел в затылок.

Имелись и противоположные тенденции, когда какой-нибудь никому доселе не известный доктор наук открывал лечебное заведение для извращенцев, обвязывая в кратчайшие сроки нетрадиционными методами исправить оным кукушку, то есть вправить мозги, и требуя небольшую мзду от государства, потирал ручки и воображал себя купающимся в роскоши. До педофилов ему ни малейшего дела не было. Да вот только правительство раскалывало недобропорядочных граждан, то есть выводило на чистую воду, тех же, кто проявил себя достойно – награждало и, не ставя препятствий, практически развязывало руки, что, конечно, оборот-обормот, ибо руки были завязаны как раз у пациентов, не имеющих представления о том, что их ожидает.

Институт Таймунова – из самых крупных подобных учреждений, основан на излете мужского, когда сильный и похотливый пол сократился до пары сотен личностей, одержимых всяческими отклонениями. Претендуя на полное излечение, он тем не менее одного пациента (известного вам под фамилией Мыр) вылечил от губительной страсти, и тот продолжил работать в альма-матер, занимаясь полезным трудом на общественных началах.

Виктор Таймунов – гипнотерапевт и фармаколог с сорокалетним стажем. О нем известно немного, и то, что известно – банально до безобразия: родился, женился, возился с ретортами, попутно заканчивая курсы Кашпировского. Есть смутный слухок про тяжкую службу в армии – в любом случае мы не знаем, откуда в нем поселилась неизбывная страсть к экспериментам с человеческим сознанием. Ополчившись на когито как на досадную преграду, стоящую меж ним и богом, Таймунов не жалел человеко-часов для разработки системы стирания личности, тирания коего гложет и... запутались мы, заново: ополчившись на когито как на досадную преграду, стоящую меж ним и богом, Таймунов создал систему тотального стирания личности и не преминул воспользоваться удачным моментом, чтобы протестировать ее на извращенцах. Будучи ушлым и пронырливым, он обстряпал дело так, что метод якобы стопроцентно рабочий, и по какой-то

странной причине первый пациент (Мыр!) реально вылечился, и хотя прочие не поддавались воздействию, становились дебилами, поджидали детей, государство поверило в опыты Таймунова и влило в его карманы немало монет.

Вы – дегенерат поздней генерации, дегенералиссимус обреченного полка. Вас, может быть, осталось десяток-другой, затерянных и растерянных, и растерзанных внутренними распрями, и вы не желаете уйти по-английски, но уходите исключительно по-свински, посвистывая. И мы вам печально вторим, но по-свойски – без свинства, с гордым осознанием свидетельства истлевшего времени. Нас, последних женщин, поболее – раза в два. Ваша казнь с хрустом завершит популяцию мужчин (пара типчиков обязательно схоронится по кустам и оврагам – их сложно назвать м.), а мы сами как-нибудь кончимся, скроемся. Мы не оставим детей одних. Разработана жесткая иерархия, налажены связи. Старшие берут на поруки младших... Да вам это знать не нужно, мы снова заехали не туда. Но такая нервотрепка творится, такая нервотрепка.

И Таймунов однозначно маньяк, но иного типа, жесточе, жалче. Его система, основанная на медикаментах и внушениях, в считанные дни перекрывала память прибывшего столь плотно, что он забывал как дышать и шагать, и новая информация в периоды снов поступала в мозг (помните передачи в колбе?) посредством нашептывания в уши.

Взяв одну из тех упоительных утопий, которые шлендали в народе, алхимических мифологий неожиданного спасения, Таймунов сформировал квази уна фантазию – идею бессмертного общества клонов, смесь рая и рабского лагеря, и заставлял каждого педофила считать, будто он клон и пожизненно трудится на фабрике. Ментальная трудотерапия должна была сделать пациента бесчувственным к обнаженному детскому телу. Постепенно память восстанавливалась, но это был уже иной человек. В идеале, конечно. По сути, единственным, кто поддался внушениям и очистился, был Мыр. Остальные ломались на разных этапах. Кое-кто сходил с ума, лишился памяти (Заж, Рет), счастливы добивались до поздних стадий. Вы – один из удачных экземпляров, на вас надеялся М., вы прониклись легендой, были послушным и податливым, за вас ручались местные доктора и прочили вам славу второго Мыра, а то и поярче.

Вам кажется, вы прожили в Авиньоне всю свою зрелость, и сам этот остров крохотная часть огромного мира, населенного вашими отражениями. De facto вы не покидали Авиньона, и время вашего пребывания здесь ограничено тремя месяцами, два из которых вы находились в гипногическом тумане, будучи накачаны медикаментами, и только один провели в полном сознании, обываясь с новой личностью, ловко заместившей старую, патологическую, – нам нельзя выразаться яснее, ибо подписаны бланки, подмахнуты соглашения, да и вам, по мнению лечащих врачей, полезнее оставаться в неведении. Вы не клон, а криминальный элемент. Опорожнять вас по ночам была задача не из приятных. Зато утром, в натянутом гимнастическом белье под партикулярным костюмом, этаким придурковатым боуи, вы принимали подтасованную реальность за чистую монету, и порой щупая гладкий пах свой, не знали, что это не кожа, но эластичная ткань, и за ней кроются неприличные причиндалы.

Было возведено столько картонных декораций, что позавидуют работники театральных подмостков. Реальны два строения – галерея (прихотливо декорированный больничный корпус) и дом правительства – институт. Прочее – дым и прах. Вам никогда не хотелось заглянуть в темный закуток, испробовать поворот не туда, вы – идеальный пациент – покорный методу – искренне мыслили, выходя на террасу:

Люблю поля и перелески многострадальной Родины моей! Поддерживаю от и до великого президента курс замечательный, с уклонистами борюсь...

А мы фиксировали и выжидали.

Наступил финальный этап, тест сублимации. По сценарию ваша ментальная реальность заволоклась непристойными изображениями девочек с одной стороны, с другой – монументальными картинами без намека на плотские удовольствия. Призванные очаровать, балконы и портреты, наоборот, вас разочаровали, зато голые прелести завлекали и развлекали, и распяляли эротический зуд. Считая себя природным кастратом (метода в действии!), вы сумели низменное заме-

стить духовным, наслаждались дистиллированной наготой словно чистой нравственностью, и не могли понять, откуда взялась бешеная страсть к возвышенному.

И тогда стало нам ясно – не сработало.

Для контрольной фиксации требовалась проверка в присутствии реальной девочки. От длительной сублимации у вас, видимо, протек котелок, потому что столь бурной реакции мы не могли предвидеть, еще бы минута – и вы бесповоротно навредили малютке. Теперь вместо того, чтобы чествовать вас как удачный пример исцеленного – а все шло именно к тому – мы бесчестим вас, и приговариваем к аннигиляции, и приговариваем: ну что вам стоило полюбить балкон, лаковые отблески, тень локтя, торжественный угол, что вам стоило. Не раз и не два шептали, походя: не хотите Жажа – вот Рег. Даже пассакали Саля были в вашем распоряжении – принимайте, привыкайте!

5

Бедный, бедный Калишвили. Вы захромали, поскользнулись, избрали путаный путь, вот и ковыляйте к жерлу печи, и не мечите обвинительных взглядов, мы ни при чем, как могли помогали, направляли и сдерживали, и сопереживали, и чтобы наш путеводитель не обернулся коллективным плачем по некогда дорогому существу – да он уже и обернулся – обращаем ваше внимание на некоторые формальности осеннего вечера: золотая рябь на тротуарах, бронзовая муха в гнилом бутоне, три белых облака незаметно сдвигаются куда-то влево, и уже орудут багром рабочие, изо всех сил вытягиваясь и сгребая пленку, светило, липкую пелену небесного свода, потому что институт – был последний шанс – закрывается, и мы не нужны. Декорации отправятся в утиль, в Лету, в туалет, мы – рассеемся кто куда и, встречая рассветы в каких-нибудь иных заведениях, пенитенциарных ли, в пансионах ли, будем – с угрюмой тоской, с нежностью – вспоминать неукоснительный распорядок института Таймунова, что на вымышленном острове Авиньон, беспокойных пациентов, и вас, незабываемый, и вас.

Уже сдвигают дальние ряды столов, и, шаркая тряпкой, суесловит уборщица. В оставшиеся пять минут чтения и до вынесения приговора можете исполнить следующий алгоритм: вытереть слезы, черкнуть галки в жирных квадратах, тщательно вывести свою фамилию перед текстом и после, и мысленно или реально сложить ладони и помолиться о заблудшей душе, что, не сумев найти спасение в хаотичных координатах мира, обретет его в яростной яркости очистительного пламени, в раже неумолимого жара, я еще не поставил точку, еще не готов, пытается сосредоточиться Калишвили, но эти внимательные глаза, и строгие очи бледных девочек, и холодные, испытующие – Мыра с приспешниками – наводят отчаяние более лютее, чем содержание паршивой книжонки, и ведь всегда ненавидел чтение, нет, заставили читать.

Сейчас я еще не все понимаю, мозги распухли как вата, от лекарств или чего-то неизъяснимого, но положим, все это правда, и действительно я... что-то сделал в той стране, откуда меня изъяли сюда, в мнемонический ад, что-нибудь не вполне соответствующее особым правилам поведения с лицами, не достигшими, и тому подобное, значит есть и другой мир, и там – кружились и куражились мои бестолковые мысли – бродят по бульварам великолепные девочки, и тут уже в тень отошли сведения о закате планеты, о болезнях, что мне до всего этого, мне, которому осталось жить несколько часов или дней, или гранул мифического замороженного времени, мне мечталось с необыкновенной ясностью и зоркостью внутреннего зрения, и подстегнутый странной идеей того, что у меня в наличии нечто ненормальное за тканью гимнастического трико, вздыбленное орудие преступления, я, про себя улюлюкая, начинал понимать, что нужно делать с дырочками, и как бы уже делал это, несмотря на положение швах, на трагедию брошенной маррионетки. Я не помнил ничего и был равнодушен к новым социологическим фактам. И если мое прошлое являлось искусной фикцией, родившейся в воспаленном воображении дурака с ученой степенью, а будущее – весь угасающий цвет бытия – не имело ко мне ни малейшего касательства, и лишь настоящее требовало повиновения, это означало только одно: я пока жив.

Я был здоров как бык, трезв, хитер, и, коли оставить в стороне облыжно мелькающие экзерсисы с призрачными д., сосредоточен на единственном соображении: сейчас охватит огонь, затрепчат кости. И понемногу, расставляя галочки, поглядывая за теми, кто притулился в зале – усталые дети, плотный, могучий, но явно пожилой Мыр, женщины неопределенного возраста и уборщица, чей шаркающий звук становился отчетливее, пока не провалился в краткий бульк. Никто не мог меня удержать, и если бы я захотел уйти, просто встать и выйти, как из надоевшего класса, меня возвращать ринулись бы не орды плечистой охраны, а звуковые волны высоких голосов – и все-таки это было предположение, и со всей дури веря в его истинность, я сидел как пригвожденный, боясь пошевелиться, и ждал, когда поведут на смерть, и покорно пошел бы, даже если меня бы не потащили, связав, а поманила пальцем смеющаяся девочка с аляповато раскрашенным лицом.

6

И когда все-таки это произошло, и затянувшуюся тишину разорвал глухой стук молоточка, и Мыр, прочистив горло, спросил, понятна ли процедура, готов ли приступать, нет ли последних слов – но слов у меня не было – я издал сдавленный стон, что было моментально маркировано как согласие, и бесшумно они встали, сверля меня уже радушными, понимающими глазами, и шваркнула тряпкой уборщица, опять принимаясь скоблить до оскомины натертый пол. Зачитывая приговор, Мыр торопился, будто взбирался на пригорок, откуда видна моя несусветная будущность. Я плохо различал его речь, потому что прислушивался к собственным вибрациям, невнятной дрожи, шорохам мышинной души, и эти беспорядочные движения сообщали мне гораздо больше. И все-таки он, подслеповатый, отлип от листочка и предложил последовать, и я растерянно заозирался, будто в зале выключили свет, а мне нужно непременно найти родного малыша.

Лампы палили на полную катушку, я ничего не видел. Судьи указали путь в сторону партера, где сидели очаровательные девочки, чья красота только и была различима, и когда я приблизился, словно прибитый течением коралл, принялись расступаться, стаскивать стулья, суетиться. Мне было невдомек, что там происходит и зачем, и как только они расчистили площадку, обнаружилось отверстие в стене, достаточное, чтобы швырнуть полено или ребенка, но не меня, не меня, и все-таки меня. Присяжные столпились вокруг и жестами зазывали. Мыр распахнул задвижку и шерудил железным ломом, периодически чихая и чертыхаясь. И девочки шептались. Разве вы никогда не видели, как живо сгорает человек, как приходят в пляску обугленные кости, мысленно воззвал к ним, и обругал себя – не нужно грубости, а что же нужно... заставил себя смотреть в печь, утешаясь тем, что это всего лишь еще одно отверстие, и в такой гибели есть и красота, и загадочность, и символизм, и беспримерная, беспримесная отвага, и сам полез, не пуская услужливых палачей на помощь.

Меня охватила ледяная печь. На то, что здесь иногда совершаются экзекуции, указывал мокрый пепел. Было достаточно просторно, чтобы вытянуть руки или запрокинуться набок, прижать колени к груди и, посасывая большой палец, наоборотным младенцем вывалиться в сгущенную вечность. Когда я увидел трубки, похожие на оружие рты, и подумал, что через них выплеснется лава, изувечит, искромсает, резервные внутренние силы, доселе державшие меня в состоянии оцепенения, улетучились, и я застался, но заслонку уже забивали чем-то тяжелым, и сквозь решето мельтешило пестрое, красивое.

Окончательно лишившись поддержки ангелов-хранителей, я пытался кричать, да голос быстро оборвался, и застучал ногами, заколотил по стенкам со всей дури, обещая себе, что вот-вот проснусь и выйду на террасу, обольщая свое трусливое, испуганное «я», и вот тогда-то выяснилось, что кроме него у меня ничего нет, что оно и есть я, и этого-то я никогда не замечал и не понимал, и мечась в обрывках заполошных мыслей, забил, застучал, пока палачи гремели рычагами, приводя смертоносную конструкцию в готовность.

И вдруг в дальней стенке увидел трещину, которую мои отчаянные удары порядочно расширили, растормошили, верно, созданную совместными усилиями других смертников, этапирован-

ных в ад, и с упорством деревянного болванчика продолжил колошматить по ней, стуча чечетку на горбу окаянной судьбы, что ли... ибо завилы моторы, и ничто не сохранит мою шкуру, пасть сомкнется, огненными клыками сокрушит плоть.

Пробавляясь сомнительными метафорами, метался я, и стучал, стучал, и стенка нехотя подавалась, образуя отверстие внутри отверстия – и ведь не приходило в голову, что может быть и так – и когда пустили веселый огонек и затанцевали джигу, или что дикари делают в моменты жертвоприношений, я, я, я настоящий, потный, с причиндалами, без рассеянных по свету копий, с фальшивым прошлым и перечеркнутым будущим, улепетывал по извилистой трубе. Трех минут хватило, чтобы вымахнуть в подвал, и за ним поле, канава, сырые штиблеты, голубой, голубой воздух, жизнь, тоска, карамора комаров, и никогда я не думал о них с такой благодарностью.

Желая зацепиться за что-нибудь реальное, порезал ладонь об осоку, и только затем заставил себя застыть, и увидел: над домом правительства сиречь институтом, что находился в опасной близости от моего местоположения, развертываются и мерцают фееричные фейерверки, струятся зеленые шутихи, взмывают золотые шары, – праздновали мою смерть, закрытие опустылевшей лаборатории, или все сразу, – отсюда следовало: несколько безопасных минут у меня есть.

Я ринулся к берегу сквозь лабиринты топорных декораций, перепрыгивая парапеты, комкая картонные скамьи и ломая кулаком какой-нибудь неудобный домище, потратил их с максимальной пользой, и не успело стемнеть, вызвездить, как плыл на скрипучей, ужасно тяжелой лодке по спокойной глади, туда, где в закатном мареве виднелись дома и домики обыкновенного города 22XX года, населенного по большей мере девочками, девочками и девочками.

Воображая блаженную секс-империю под моим чутким и нежным руководством, я видел: в образе голоштанного горемыки мыкаюсь по кустам, и лишь выхватываю взором то колено, то спортивный задок прогульщицы ли, озорницы, иль мнительной скромницы, и может быть, пробавляюсь случайными спряжениями с обмякшими, покорными девочками на школьных задворках, и каким-нибудь чудесным образом устранив остальных мужчин, невезучих соперников, вырываю власть из податливых рук верховной правительницы. Отныне мне подчиняются на всех уровнях, ходят по струнке, благоговейно, сыплют здравницами в мою честь, приводят дочерей на смотр. Выбираю тщательно, чрезвычайно важен тонкий, скрупулезный подход, форма ягодиц, разрез глаз, диаметр бедер и, главное, ласковость, раскрепощенность. В моем теплом серале они будут ходить неодетые и до отвала накормленные возбуждающей снедью, при явлении президента станут выражать признаки сексуального томления, и нам никогда не надоест, и мы после бассейна, батута и других увлекательных процедур сплетемся в клубок на ковре в кабинете с деловыми бумагами, ореховым гарнитуром, и взаимно проникая друг в друга, проведем немало дней, месяцев, столетий, и партнерши будут часто меняться – нации, комплекции, я попробую все, все, включая разные возраста, от совсем призрачных до половозрелых, двенадцатилетних... мы перестроим жизнь так, что секс-просвет (проем, из которого скалится мой невероятный секс) станет преподаваться в школе, а самый акт – проникновенное, гомерически шутя, проникновение – делается величайшей религией. Поклоны лингаму, стоны псалмов, необычайные, бестолковые, влажные, болезненные ритуалы наши послушные граждане исполняют с истовой неистовостью, и я, просветленный брахман нового мира, руковожу и наказываю, направляю и поправляю.

И чтобы каждый час затевалась интересная игра. И чтобы делились на пары и сливались. И смешается моя и твоя слюна, мой и твой пот, правда и кривда, кровь и сознание, крик и круг, вал и овал. О, дивный, запретный сон! Мы перепишем книги о позах и ракурсах. О сроках и порогах растяжения. Мы отменим боль. Мы продлим наслаждение так долго, как смогут выдержать распаленные третьеклассницы. И я сумею вырастить вторые, пятые причиндалы...

Иступленный фантазер, я всхлипывал, не справляясь с эмоциями, и споро греб. В минуту отдыха решил разоблачить пенис и в полной боеготовности вступить в новую, колоссальную реальность, но когда в сильном волнении разорвал телесного цвета трико, открылось nihil, пустое место, и касаясь его, я явственно ощущал, что это моя кожа, ничего даже отдаленно похожего на

выступ не наблюдалось. В замешательстве я скинул всё, и в зябкой нагоде не просматривалось намека на мужскую принадлежность, я был гладким как манекен, следовательно, проклятый путеводитель врал, и если меня по какой-то зловещей причине обманули в краеугольном факте, целое тоже могло быть подложным, и ложь тем сильнее жгла, чем ярче мыслились утехы с наложницами.

По инерции они длились, искажаясь. С отчаянием поверженного зверя я видел перевероты в моем государстве, массовые смерти чудесных детей, лютые болезни упругого органа, изъязвленный, квелый, он словно шептал прости и отказывал в простейших услугах, не говоря о нежностях любви, и дырочки, множась и мучась, изнывали, и зеленела всюду плесень. Не доверяя себе, жертве дурной игры, я рванул и плоть, нащупывая, стискивая, ногтями, но сморщился от боли, оставил белесые быстро краснеющие полосы и рухнул на днище посуды, лихорадочно хватаясь взглядом за приметы и предметы огромного города девочек. Да и они уж рассеивались, потому что рабочие добрались до декораций города и сдвигали их так, что голубой горизонт уходил в рябющую бесконечность.

Плыть было некуда. Затерянный в валком, волглом пространстве, я малодушно повернул обратно, не веря, что смерть (через два, три дня) среди топких волн доставит мне утешение.

7

В непролазной темноте виднелась щербатая луна. Подстегиваемый ее бархатным свечением, я прибыл на берег, спрятал лодку в сухом рогозе, вздохнул, перекрестился и побрел по улице, непривычно широкой после недавней уборки, не зная, чего ждать и о чем думать. Меня обогнал веселый рикша, двое деловитых мужчин с портфелями и один косолапый петух, неведомо как оказавшийся без пригляда.

Значит, грай еще не подняли, значит, есть минуты чистой свободы, жалкие, промозглые, и на распутье, не зная куда повернуть, увидел: высоко-высоко, на крайнем этаже темного дома правительства желтым огнем лучится окошко, и это была, по легким прикидкам, та мастерская, где давеча лучилась настоящая, осязаемая девочка, моя, моя – в тот великий момент ты тоже чувствовала сумасшедшее счастье, и если бы нам не помешали... я ускорил шаги, спонтанно определилась цель, будто бестолковый ребенок играл меня на клавиатуре и случайно взял верную ноту. Здравомыслящий клон на моем месте схоронился бы в листьях агавы, в дальней галактике, в скобках дополнительного абзаца, ибо неминуемое доведение жаркой процедуры до потустороннего конца влекло за собой кошмарную дисгармонию ощущений, но я каким-то двадцать пятым чутьем знал, что если поднимусь туда – если, конечно, проберусь незамеченным – вновь застану ее голой, и эта-то мысль была такой оглушительной, что глаза остекленели и дыхание сперло.

Никакой охраны на входе нет (пьяные солдаты наверняка куролесили в барах), никаких ног я не чуял, стремительно взмывая по пролетам, мимо бесчисленных сонмищ дверей, отныне и навсегда пустых кабинетов, в кабине чокнутого дирижабля моей великой мечты (здесь хочется вставить дирижировал – но куда, каким образом, не понимаю, и нет времени рассуждать).

Было приоткрыто. Дикая собака света на меня ощерилась, пришлось держать дистанцию, красться вдоль стены, и когда я боязливо, опасливо заглянул, то закрыл глаза от нахлынувшей безнадежности. Так бывает в вязких кошмарах: ты охвачен невнятной нечистью и с каждым беспомощным, но мощным рывком погружаешься глубже, пока не исчезаешь в теснинах собственного сновидения. Так и я утонул в этой собачке, да и не собачке уже, а в необычайной картине.

8

Голая девочка лежала на диване, запрокинув голову. Обнаженный Мыр пыхтел и суетился сверху, совершая поступательные движения тазом. Напряженные, осторожные, они совпадали с ответными покачиваниями бедер малышки, горячий, веселой моей девочки. Смех переходил в стон, стон превращался в смех. Мыр сосредоточенно качался и пыхтел, словно трудясь над уникальным полотном, шедевром балконного жанра. Белый омерзительный волосатый зад ходил,

повторяю, ходуном, и я не мог вот так просто вбежать и чем попало выколотить из художника душу, прекратить сложное наслаждение, потому что я был – и в тот миг, и всегда – баснословным трусом – и крепкие кулаки Мыра, и топот гипотетической охраны – везде возникали препоны, преграды – меня осаживали, удерживали и, что отвратительней, хотелось досмотреть альковную сцену, рухнуть на колени, дожидаться новых поз, и сердце стучало, как лишенный слуха ударник полкового оркестра, коим дирижировал разумный дирижабль.

Потом он перевернул ее на спину и, ухая, продолжил ухищрения, по-видимому, привычные для них, потому что она подбадривала и ликовала, я видел ее щеки, алеющие пламенем сильного желания, и так это было подробно, и так избыточно, что я машинально думал: вот моя настоящая казнь, а та, в трухлявой печи – отвергнутый черновик. Периодически наблюдал его причиндалы – исполинского размера – и причитал, трогая пустоту между дрожащих своих ног. Работая угрюмо, неумоимый Мыр, кажется, доставлял ребенку неописуемую конфетную радость, вос-торг выходного дня.

И вот тень улыбки сошла с ее лица, они принялись трудится сосредоточенно, мрачно-торжественно, как два отважных водолаза, собирающиеся выплыть из Марианской впадины, быстро-быстро хватая ртом последний воздух, и я, обезумевший, потерявший страх, вступил в загадочное королевство, чтобы приблизить колдовство, и несколько тысяч лет заворуженно смотрел, пока они, исполненные таинственных чар, не отлипли друг от друга. И тут Мыр, недовольно мотнув головой в мою сторону, пробурчал: мальчик, тащи глину.

9

Должно быть, за время бегства я порядком поистерпался, поистерся, но уж никак не подхожу на роль мальчика, и жалея, что вблизи нет зеркал, все-таки благодарил бога: не заподозрил, не уличил, не заламывают руки, не швыряют в жерло, и чуть не падая от волнения, побежал по мастерской, заглядывал в каждый угол и думал: если промедлю, протрет одурманенные очи, идентифицирует меня и арестует, этот чудовищно счастливый мастер. Узор своего позора, кровавую розу и разор бытия я маскировал застреванием на частностях быта, но там и сям встречались вещественные доказательства сутубой материальности открывшейся мне связи: белые трусишки небрежно откинута к батарее, полосатые плавки Мыра издевательски напаялены на мольберт, и в общей куче – ее невесомая ночнушка, его скомканный пиджак.

И вот возникла глина (два полных ведра). Удачливый любовник, сорвавшись с места, мелкими шажками просеменил и облачился в нижнее белье и тотчас же, не давая ребенку подняться, отвлекая ее шуточными вопросами, начал ходить вокруг и присматриваться. Потом зачерпнул глину, измазав по локоть могучую руку, и обратился ко мне: помогай. Не зная еще, какой кошмар предстоит, я подобострастно ринулся и тоже испачкал ладони в тянущейся густоте, а он, с такой же расторопностью, с какой недавно справлялся с ее наслаждением, бухал куски глины на живот, лоно, бедра веселой девочки и размазывал, чтобы тут же вернуться за дополнительными кусками.

И так работая в четыре руки, мы покрывали девочку глиной, зачем-то Мыру было нужно. Я любопытствовать – в моем ужасном положении – не мог, и старался отличиться, не навлечь гнев, и все-таки прикоснуться к этой великолепной особи, прикоснуться везде, всеми подушечками воледеющих пальцев, второй и мучительный раз. К самым нежным местам мурлыкающий Мыр меня не пускал, отдавая в мое деликатное распоряжение спину и затылок.

Когда ребенок приобрел очертания неокрашенной статуи, он велел ей принять позу эмбриона, а мне – продолжать работу, откуда-то из-за подрамников достав комплект разноцветных банок. Она легла на бок, подтянула колени к животу, и я невольно скосил голову, чтобы увидеть – а что же там, в загадочном прощеле разомкнутых ягодиц. Заметив мой болезненно-робкий жест, скульптор презрительно усмехнулся и заработал в ускоренном режиме, охватывая девочку кусками тягучей материи так, что через полтора часа монотонного шлепанья и шорканья она исчезла под пластами глины, а еще через час глина оформилась в идеальный шар, поначалу серый, затем глянцеви-розовый, и я всё порывался остановить, уточнить: как же она будет дышать, да он от-

махивался и мрачнел, и я, не смея, не умея противиться этой серой, серой ночи, тоже вносил лепту в лепку, в наше общее злодейство.

Девочка, впрочем, не подавала признаков недовольства, не сопротивлялась, словно слилась с объектом искусства, и вот уже Мыр стянул побочные штрихи, и еще раз обойдя жемчужину, издал радостный возглас. Через час глина подсохнет, а через три он ждет моей помощи в транс-портировке – на вернисаж соберутся видные деятели.

Предоставленный самому себе, я слонялся по коридору и не мог даже заглянуть в мастерскую, потому что, уходя, Мыр мазнул по замочной скважине и плотно залепил отверстие. Она была там. Несомненно умирала. Умерла. С ножками и дырочками, и губами, сложенными в улыбку – инженерное чудо – и, потрясенный, я смотрел в черную прорезь, силясь в черноте разглядеть хотя бы черноту – глаза застланы слезами. И напрасно, они понимали что делают, все происходило не в первый раз, судя по безмятежности недавнего процесса. Значит, я чего-то не понимаю, суть скрыта, и нужно как-то убивать время, на вернисаже обязательно разъяснится. Забурившись в пустой кабинет – на полу кольца стружки, в углу перевернут исподом тяжелый портрет кисти Рета – провалился в быстрый абстрактно-астрономический сон, из лабиринтов которого меня вызволил крик Мыра.

Ю

Двоем мы потащили розовый шар. Он был несколько легче, чем я предполагал, будто девочка усохла внутри до состояния летучей пыли, и все равно тащил его осторожно, иногда оглаживая розовые бока и пыхты. Там, где давеча располагался ресторан, нашипованный заморской снедью, снесли мебель, расчистив пространство так, что хватило места для сотни суматошных зевак, и – по мельчайшему изменению в атмосфере – я понял: нас ждали.

Миновав гам аплодисментов и одобрительный гул голосов, мы положили шар возле пустой стены, и Мыр приладил металлическую табличку «Девочка». Приписка: *арт-объект монументального жанра*. Гости бросились поздравлять художника и оттеснили меня за края валкой толпы. Я слышал, как он, польщенный, сконфуженный, произносит отрывистые реплики на нескольких языках, и довольно лопочут искусствоведы, дорвавшиеся до нового артефакта. Кто-то откупорил шампанское. Бесцеремонно вырванный из мира снов, я ощутил головокружение, морок, и притупился за стойкой, не понимая, можно ли вздремнуть, и все-таки отключаясь.

Несмотря на сутолоку, удалось выспаться вволю. Зала опустела, ветер шевелил портьеру. Там и сям остались неопрятные следы недавнего буйства – клякса раздавленного пирожного, трепещущие этикетки, оплывшее ледяное лакомство. Посередине, сгорбившись, шаркал веником Мыр, похожий на уборщика, лишенный творческого, жреческого ореола. Гладкий розовый шар лежал возле стены, и через приотворенные створки падал на него узкий конус солнечного света, подчеркивая полумрак вокруг. Принцесса в горошине, подумалось с неожиданной болью.

– Папа, – раздался шепот.

Мыр хмуро уставился на кого-то в приоткрытую дверь. Перевел взгляд на меня и раздраженно сказал:

– Сходи, развейся. Торчишь тут почему зря.

Я в замешательстве встал.

– Ну-ну, – пихал он меня в грудь, – поди, поди. Заодно девочек посмотришь. Хотел ведь узнать, как выглядят?

– Хотел, – я облизнул губы, не понимая, к чему он клонит.

– А мы давно знали, – сказал он, упирая на *мы*, – не зря Z. создал знаменитую скульптуру.

Помнишь?

Еще бы не помнил. Большой розовый шар на горе Карум.

Дверь отпахнулась, и девочка – та самая, вожденная (как ты спаслась? Юркнула в лазейку сна? Сделала подкоп?) – вбежав, потянула Мыра за плечо.

– Иди, у нас свои дела, – еще раз буркнул он и указал на входные стеклянные ворота.

– А как же... – я замешкался.

Вот дитё, соби́рался сказать.

Он снисходительно покачал головой.

– Это не девочки, а обмолвки, оттенки, – силясь объяснить, он замер на мгновение, а потом отмахнулся и зашагал следом за ней в темноту проемов и лестниц.

И, кажется, уже там они стали целоваться.

II

На улице я заметил, как поголубело небо, будто его намалевали свежей лазурью. И сам город преобразился, заново отстроенный какой-то скоростной командой. Изгороди, особняки, изогнутые шоссе, бархатистые тротуары. Везде шлепали шумливые люди с флажками и песнями. Я невольно застыл, потому что в толпе, которая только что неловко обогнула меня, рядом с обыкновенными гражданами грузно прокатывались розовые шары, и я обреченно, отчетливо понимал: это и есть подлинные девочки, не те, которые будут сниться мне вечно и в последнем дыхании слетят шепотом с губ.

И вдруг расхохотавшись, представил: строгий учитель на доске выводит витиеватые формулы, дети сидят попарно, рядом с каждым мальчиком – розовый шар, никто не вопит, не бежит к парапсихологам и священникам, напротив, периодически пихают локтями круглых соседа, требуя подставить конспект, пускают самолетики в гладкие спины и подсовывают зеркальце, подсмотреть, что у шара внизу.

Или на приеме у стоматолога: глуповатый на вид старичок со впавшими щеками, задумчивая девушка, и семья – два маленьких непоседливых и вот испуганно нахохлившихся брата, сдобный, уютный отец и розовый шар с бело-розовым бантом, трясущийся в ожидании операции. И все это буднично, прилично.

Шары везде, проникают всюду, у них типичные девичьи игры – резиночка, фанты. Боятся насекомых, любят животных, добры и усердны, нежны и пугливы. И разгоняются до бешеной скорости в моменты безбашенных игр.

В них влюбляются лопухие шалопаи и срамные скромники и пишут записки, которые потом шары где-нибудь в потайном месте хранят, перечитывая в старости.

Шары кокетливы и самолюбивы, меж ними постоянная конкуренция из-за парней или полезных подружек. На неугодных нападают исподтишка, стремясь отколоть кусок бока. Шары занимаются гимнастикой, прыгают на кольцах, поют на сцене, полют огороды по наказам деревенских бабушек, изощряются в придумывании обидных прозвищ товаркам. Они отлично готовят, ответственны и церемонны.

И вцепляясь в красивых мальчиков всей силой животной любви, не отпускают никогда.

Шары старшего возраста с кем попало целуются в туалете во время дискотечного угара, и там же вступают в первую интимную близость – неуклюже, слепо, и вот как это происходит, я не понимал и зарекся понять, ведь у шаров совершенно не было отверстий (и не были они интересны мне ни в малейшей мере – разве что как загадочный сувенир, оставшийся после путешествия в жаркую и дождливую страну). И все-таки мир был именно таким.

Я избородил вдоль и поперек прямые бульвары и заплетающиеся улочки. В магазине сластей батя покупал шоколадные пряники для капризного шара (стоял в отделении и как будто топал ножкой).

При этом мальчики, будничные ребята, со всей своей постылой антропоморфностью, глазами и тестикулами, худыми коленками и бровями вразлет, смотрелись дико рядом с блестящими шарами диаметром метра в полтора – то ли пришельцами из далеких миров, а то – пришлецами из небылиц, и настолько мне была чужда вот эта антропология, где отсутствовал и намек на духовность, вечерний свет, на соблазнительную нежность слоистых отверстий, горячих и мягких, спрятанных и потрепанных, что я несся с воем как раненый слон, и везде, куда заворачивал – выкатывались шары.

Я не знал, вырастают ли они до зрелых женщин, и что потом с ними происходит, и какими процессами, органами руководствуется круглая физиология, и какими инструментами оперируют врачи, и что с шаровидными бывает зимой, в лютые холода, и как хоронят их – в круглых гробах, или так опускают, гранулами диковинных семян, я ничего не ведал о мире, где мне предстояло провести еще по крайней мере сорок лет, в неудобном соседстве с круглыми, неинтересными существами, и каждый час, пока не замрет сердце, мечтать о неправильных, с маленькими ягодицами, разверстыми бедрами...

И куда деться теперь: угодить в колодец, прыгнуть с крыши, принять деятельное участие в автокатастрофе, лишь бы лишиться этого мира, который со всех углов напирал и раздавливал или выдавливал как инородное тело. В нем не было места для моего – подчеркиваю: *моего* – телесного удовольствия, следовательно и меня предстояло изъять, потому что я не евнух, не идиот, заикленный на изнурительном труде, не робот, не клон – о, как я это чувствовал, петляя по задворкам, проваливаясь в незнакомые, то менее, то более солнечные пространства: Мир что-нибудь нащепал – этот подозрительный хмырь способен на разное разгильдяйство, и правда где-то маячит, и мои причиндалы отыщутся, и всё отменится, наветы и беззакония безжалостных теней в высокой башне.

Хныча, вертелся по аллеям Авиньона, не ведая, куда себя деть, как вышвырнуть отсюда все шары до единого и вернуть лучезарные дырочки. Воображал огромную яму, доверху наполненную розовыми шарами, и вот ее экскаватор зарывает и утрамбовывает, и мои, только мои, девочки, мерца из баснословного небытия, воплощаются в сумерках.

Пахло бензином, резиной, ржаной булкой. Воронье покатывалось со смеху. Я прыгнул через лужу, метнулся по шоссе, продрался по колючим кустам и, держа в уме ужасы, которые обволакивали меня, шары, шары, вдруг не выдержал, и вот в какой-то повороте вижу двух гоповатых смуглых девочек возле подъезда. Падаю на колени, хватаю за одежду, плачу: исправьте всё, измените. Качание головой.

И когда поднялся на дрожащих ногах, понял: что-то не так. Вернее, совершенно так, как должно быть, чудесно. Еще раз посмотрел им вслед и убедился – это девочки, а не чудовища.

Здесь я никогда не был, мир будто стал суше, осунулся, потускнел, пропала яркость красок и надрыв звуков. Припав лбом к холодному стеклу киоска, прочитал на газете сегодняшнюю дату: 29.09.2021 и опять ничего не сообразил и побрел по оживленным бульварам, только теперь не было и намека на шары, только теперь – с клоками сахарной ваты – в розовых платьях за руку с усталыми женщинами вышагивали стройные маленькие девочки, и за ними плелись братья, бузотеры и буяны, с плакатов зазывали Билайн и Билан, из ларьков несло: «байландо», тянуло баландой из школьных столовых, блондин в телогрейке правил надолбы, и это отчего-то было так страшно, что я задохнулся и механически положил руку на пах, что-то нащупывая, не знаю что, и стоял так, с мучительно изменившимся лицом, посреди тротуара, и нащупывал, нащупывал, и все-таки нащупал, но страх не пропал, лишь усилился, и тут – впервые за шесть лет с тех пор, как мы стали жить отдельно, – я увидел свою дочь, двадцатилетнюю девушку в кожаной куртке. Она шла с подружкой и, заметив меня, свернула на другую сторону. Под ложечкой противно сосало, но я последовал за ними. Они побежали. С тяжелой одышкой я прислонился к стене и набрал ее номер.

– Видеться, говорить с тобой, – прошептал я в прерывистые гудки.

– Нет, нет, – ответил ее голос внутри меня, внутри трубки, в середине мира.

Софья ДУБРОВСКАЯ

Диптих

1.

коричневые складки одеяла –
подсвеченная кожа, клад шарпея
стоячая вода себе стояла
в телах насторожённого шалфея
прошёлся пол по стопам деревянным
и лёг незрячим солнцем прогреваться
верёвка быльевая руки тянет
к ветвям – и не боится надорваться
сухой рукой проводит зёв поляний
из двери вынимает ключ щербленный
вращаются цветы на одеяле
и вырастают в сад одушевлённый
и, вымоченны в свете, стены ставят
кровать под надлежащим ей углом
а свет окрестный, в шерсти псовой тая,
из шерсти возвращается потом

2.

в полях бежит пшеничный спаниель
и держит за крыло набросок птицы –

Софья Дубровская родилась в Ставрополе в 2000 году. С 2017 года – студентка Литературного института им. Горького. Публиковалась на портале «Новая карта русской литературы», в журналах «За Стеной», «Гвидеон», «Флаги», «Квартал», на платформе арт-дайджеста «Солонеба». Лонг-лист молодёжной поэтической премии «Цикада» (2021). Редактор журнала поэзии «Флаги». Живёт в Ставрополе и Москве.

в ветвях щемящий житель спал и ел,
а здесь упал на лапы ветряницы,
он встречен был ударом – нежный вой
о взмах крыла, чертившего приветы
верхушке поля, жаром неживой,
но сохраняющей в себе предметы,
означенные частью быта птиц,
живущих на страдающем отшибе –
приметы раскалённых становищ,
которые построить тут решили.
собака добегают до болот
и погружает лапы осторожно,
и шерсть пшеницей быть перестаёт,
врастая в ил цветением тревожным,
и птичья тень расходится на дне
светящимся желточком анемоны,
пока цветёт изобретением
в полях сиротских дерево лимона

посвящается

1. Солнечный человек

Листочки формой округа земного
В иголки переходят не спеша.
Касание касается смурного
Узора глаз, неся лесной лишай.
Когда б ты был вне статуй и пространства
И просто возвышался надо мной,

Я б отменила каждую из станций
И вышла б в новый округ неземной.
И роженица б воздух народила:
Событиями взвинченный Эфир.
Хранить секрет из радиоэфира –
Как убивать невыраженный мир.

2. Ночь

солнечный камушек (цвет: Евклид),
перемещается на ладонь
и принимает прозрачный вид,
и распадается, как фотон

скрадывал радость своим лучом
и отбирал чистоту у сна,
памяти нет – она не причём,
в цепочку замкнута и пуста

прячется войлоком под кровать
хвост от кометы, безглазый вздох,
можно ли временем торговать
и своровать у Земли Восток?

в комнатах предполагают речь
и призывают начаться день;
в комнате руки спешат стеречь
тень от лица – или просто тень?

холод заутренний обоймёт
взглядом облаканное лицо,
как же Евклид это назовёт:
полураспад – или полусон?

3. Dead letter mail

Под сердцем птица прячется,
но ранним
колючим утром руки достают
её из перьевой затихшей
спальни
и тайной перевязывают клюв.

Кладут в коробку, сматывают
нитку
и отправляют знал бы кто куда;
её могло быть отовсюду
видно,
но застилает зрение вода.

1. Ей нравится обратно
возвращаться
и греться в куполе сердечного гнезда;
2. Ей хочется посылкой
обращаться
и избегать угрюмого дрозда.

Коробка не подписана,
однако
доставлена по адресу – ты знал,
что он необратимо
одинаков:

пункт высылки и выдачи поста?

4. Проигрыш

пёс золотистый ретривер
спит под моей простынёй:
вьётся песчаная грива,
солнцем к щекам пристаёт;

греет подушек пустыню
и беспокойно скулит;
спальни пространства пустые
тщательно делают вид

будто не видят, как пёсья
лапа упрямо дрожит –
ищет цветы и колосья,
мельницу, всполохи ржи,

хочет поймать перепёлку,
хочет успеть; поутру
нечем согреться ребёнку:
прячется стыд в конуру

5. Холод. Поле

собрание мелких зверьков
и птичек спешит на погост
отпеть не раздетый альков
поймать себя пастью за хвост

я вижу что холод идёт
и в шеи целует поля
и ищет глаза их и ждёт
когда шевельнётся земля

и стая любимых зверят
отменит разлуку и смерть

ты клювом разроешь червя
и дашь на него посмотреть
ты лапой нащупаешь холм
и спрячешься в нем с головой

сначала ты птица, потом
мерцающий пёс дворовой

планирует выпасть снег
из неба и встать поперёк:
я знаю, ты не человек

ты птичка-зверёк

6. Карьер

ни убавить ни прибавить
тишина
пол из поля люди кроем
кружева
из разбитых окон память
льёт плющом
поедает стены каверз
ным плащом
по буграм всплывает море
злой скелет
хрупкий оттого что в море
соли нет
накрывает человечков
и дома
перемешивает лица
и слова
нашу чужь карьер усталый
посещал
ты уснул в полях подумать
о вещах

с курицы косточки пережуём

гладим земельку разнюхаем ветер

всех кого мыслили переживём

болиголовушки дылдушки дети
сладко блаженными комья глотать
берег на вкус и покатый и плотный
боле не велено переживать
ух бережёт скользкий угорь болотный
стрелочки хвощ отпустил в хоровод
загнана лошадь в расстрельный колодец
где начинается дно у болот
можно ли плакать тебе о народе
по воскресениям запрещено
пятки размазали спелые вишни
спрятан у вымени суки щенок
вымолил место теперь не погибнешь

Путешественник

инициатор – вон, какой
идёт по вьючной мостовой:
до самого Китая
несётся мостовая;
он к дому лесенкой наверх
восходит – Солнце-человек,
чтоб видеть ночь, но по уму –
он имитирует Луну,
а в следующие дни недели
перемещается в Нью-Дели;
следи – среди покатых льдин

практических лежит один,
арктически летит один;
плетёт восточную калитку
мужающему эвкалипту;
в богатую пустыню
несётся, опостылев
себе-само-себе-само
сампо-себе-сампо-себе:
и снова мост, и снова в карту
смотреть, и пост держать, и марку.
пока он ходит, ходит, ходит
и домик нужный не находит
в тот дом уже стучат – и рыщут
рычат и ищут

Ночной Разговор

Подбородком водила по шее несчастного друга
и смотрела, как комнатный угол держал потолок;
купол дома тянуло небесное тело-подпруга
и Земле не давало ночной совершить кувырок.

Друг держал свою шею, молчал
и старался не плакать;
посмотрел, как паркет заблестел от танцующих ног;
дом стоял во дворе, двор хватался скамейкой за память –
дом дышал, неподвижный, фундаментом чувствуя долг.

Обратилась песчанкой и выгрызла комнатный угол,
чтобы комнатный угол остался простой уголок;
обратился полёвкой и принялся бегать по кругу:
дом запутался, дом закружился и больше не смог.

Стены плакали девичьим хором, держали иконки;
звери спрятались – люди остались баюкать паркет.
Побоявшись будить, – неприглядный, невидимый, тонкий, –
из угла за людьми наблюдал приглашённый рассвет.

Страсбург

Он обещал им, что дойдет до Страсбургского суда, и он это сделал. Вот оно здание суда перед ним, флаги международные колышутся тихо в предвечернем майском воздухе. Рядом по платановой аллее пробежало авто, заброшенное из XIX века, вестимо. Собственно, с этого века все и началось. Когда он, скромный преподаватель филфака, представил на суд своих старших коллег свою кандидатскую диссертацию. Где он посмел, а лучше сказать дерзнул сопоставлять произведения Пушкина с вещами Марлинского, Вельтмана, Булгарина, и иногда не в пользу первого. Ему сразу заявили, что у вас тут даже не компаративистика, а литературная критика, как будто вы находитесь где-то в 30-х годах позапрошлого века. Очнитесь! Да и вообще, мнимый аморализм Александра Сергеевича давно разоблачен. Вы повторяете зады реакционнейших акул пера, похороненных в памяти народа. Вы по какой специальности собираетесь защищаться? Такой специальности нет. Он пытался им сказать, что от солнца русской литературы не убудет: если от нашего всего, то есть от бесконечности, отнять небольшую часть, то она все равно останется бесконечностью. Что раз это солнце, то оно должно уделить хотя бы пучок своих лучей и своим (пусть даже бывшим) литературным собратьям. Не надо бояться, что это бросит тень на кого-то. Это будут тени его реальных современников.

Он долго добирался сюда из довольно близкого Карлсруэ: шел пешком, ехал на перекладных. В дороге посмотрел (возможно, это было лишнее или даже слишком) по интернету фильм «Видок». Фильм ему не понравился, и не из-за игры актеров, а, наверное, потому, как он подумал, что там никак не была упомянута Россия. Тут он вспомнил, что исполнитель главной роли, то есть Видка, известный Депардье, является подданным России. Хотелось ему сказать этому актеру: «Ну и Видок у тебя, Жерар!» – но он не стал этого делать. Чего стыдить человека без определенных принципов. Это все равно что говорить что-то своим филологическим коллегам, которые разослали письма во все инстанции и обещали поставить вопрос перед администрацией университета о неполном служебном соответствии. Но он сказал им, что если ему не дадут защищать диссертацию, то он будет защищаться другим способом. И он это делал, как мог.

И он решил совершить литературное паломничество: прошел от Москвы всю Россию, не забывая Белоруссию, до границы с Польшей, посещая все достопамятные литературные места. Из Минска он дошел до города Узды и добрался даже до бывшей усадьбы Булгарина, правда, когда он пытался местных жителей пытать, где здесь жил ваш земляк Фаддей, его не поняли, но, когда он догадался и спросил Тадеуша, ему показали место. Затем он пересек Польшу и, войдя в Германию, стал поклоняться и ее писателям, кому как мог. Но он помнил, что торжественно обещал коллегам, что дойдет до Страсбургского суда и подаст прошение о защите чести и литературного достоинства. И вот он перед ним, но оказалось, что он немного опоздал, и здание

Владимир Аристов родился и живет в Москве. Окончил МФТИ, доктор физико-математических наук. Публикации в журналах «Новый мир», «Знамя», «Комментарии», «Иностранная литература», «Арион», «Воздух», «НЛО» и др. Автор пятнадцати поэтических сборников, двух романов и пьесы. Литературные премии: им. Алексея Крученых (1993), Андрея Белого (2008), «Различие» (2016). Предыдущая публикация в «Волге» – стихи (№ 11-12, 2020).

суда уже закрыто. Перед ним была ограда и явственно темнеющий вечерний воздух. Он взглянул на небо, на котором стали появляться не затмеваемые сейчас солнцем второстепенные светила, и вспомнил дословно любимое место из «Поэзии и правды»: «Юпитер и Венера взирали на него дружелюбно, Меркурий – без отвращения, Сатурн и Марс ничем себя не проявляли; лишь полная луна была тем сильнее в своем противостоянии, что настал ее планетный час. Она-то и препятствовала моему рождению, каковое могло совершиться не ранее, чем этот час минует». Он обещал своим коллегам, что будет защищать свои права и свободы в суде. Хотя, подняв глаза, подумал сейчас, что свобода незащита, ее не надо защищать, она и так сильнее всех. И он почувствовал, что вновь родился, но уже отчасти свободным.

Гендерный анализ

В редакцию одного гендерного журнала с уже сложившейся репутацией поступила статья, подписанная незнакомым автором. Это сетевое издание, посвященное гендерным проблемам, было достаточно широко известно, и многие рвались там опубликоваться. Кто туда только не писал: пенсионерки-любительницы, воины в отставке, бойскауты, бой-бабы и т.д. и т.п. Редакционная политика сводилась к поговорке: «По одежке (т.е. авторскому имени) встречаем, по уму выпроваживаем». Действительно, отбор был строг. А эта статья была подписана столь безвкусным, явно искусственным именем и фамилией Инна Гендер, что не хотелось даже и заглядывать туда. Но заглянув все же один раз, не могли оторваться. Статья была интересная: эта Инна – и почему-то все не стали сомневаться, что так ее зовут – ставила вопрос остро. Что такое сетевое понятие гендер? Не в тривиальном смысле, что каждый обзывает себя, как хочет. Нет, вопрос был о будущем, которое при дверях. Инна писала о том, что сейчас, когда не только чувства передаются по проводам и без оных, когда понравившуюся вещь вам могут прислать в виде образа, и остается его только распечатать на 3D принтере, когда секс on-line не за горами, особенно важно понять, кто мы в этих сетях и с кем можем там еще встретиться. Встретить не только много разноцветных полов, но и существо без признаков пола. Однако гендер его можно и нужно обозначить. Но как? Тут редакция приостановилась читать и призадумалась. В самом деле, такое им не приходило на ум, но сейчас пришло от какой-то неизвестной им Инны, и нельзя ли рассматривать такую проникающую к ним в сознание идею в качестве незаконного вторжения? Забеспокоившись, редакция запросила саму Инну, но та ответила, что административный кодекс, да и УК РФ не во всех сетевых областях действует, это она им как бывший юрист, т.е. юристка, подтверждает. Успокоившись немного, редакция стала читать дальше, но вскоре она натолкнулась на фразу, которая ее встревожила, – в статье было написано: «Если вы встретите минотавра, мирно пасущегося на просторах виртуального лабиринта, что же, вы сразу полезете к нему с мулетой, желая его уколоть, и как с ножом к горлу приставать: какова его гендерная идентичность? Нет, конечно, но вступите с ним в диалог и разными средствами, пусть даже лаской, попытаетесь прийти с ним к согласию и договориться, кто он такой, а кто вы, чтобы вас гендерно все же различить». Тут редакция призадумалась и решила вступить в аналогичный диалог с Инной, написавшей статью.

Немного вредная мечта

В конце девятого класса учеников попросили написать краткое сочинение на тему «Кем бы я хотел быть». Тема вполне законная. Не то чтобы это был соцопрос, но что-то вроде этого. Поэтому не удивились, когда некоторые написали свое сочинение или, наверное, лучше сказать короткое эссе, в форме резюме. Комиссия, созданная из лучших учителей школы, с понятным

интересом не очень долго, хотя и внимательно изучала эти сочинения. Многое не удивило, понятно, что попадались формулировки «Хочу быть топ-менеджером» или «Хочу стать лидером партии», встречались и отдающие анахронизмами желания: «Хочу стать строителем будущего». Но одно сочинение под названием «Хочу стать сенатором (США)» вызвало особое внимание и где-то беспокойство. Особенно возмутило, а некоторых прямо, что называется, взбесило, что ученик поставил последнее слово в скобки. Написал бы скромно «Хочу стать сенатором США», и вопросов почти что не было бы. Но он, видите ли, написал вначале «сенатором», а потом, чтобы, неровен час, не подумали, что нашим сенатором, уточнил в скобках. А чем наш сенатор ему не понравился? Человек с достойной зарплатой, и потому является уважаемым членом общества. Тут многие из учительского состава задались вопросом, резонным с их точки зрения, почему он не написал «Хочу стать конгрессменом»? Некоторые предположили, что он из похотей на западную политкорректности решил не использовать вообще слово «мен», чтобы никто не подумал, например, о «нацене». Другие предположили, что ученик думает, что «сенатор» и «конгрессмен» принципиально разные вещи. Третьи – и их было большинство – высказали суждение в пользу того, что ученик прекрасно осведомлен о верховном законодательном органе США и сказал о сенаторе, предполагая оказаться в высшей касте. «А вот мы сейчас его самого спросим», – сказали все и позвонили ученику по мобильному, но телефон того был предусмотрительно отключен. Тогда жаркая дискуссия разгорелась между директором и завучем старших классов. Один из них сказал, что написать о заведомо ложной и неосуществимой мечте не очень хорошо. Допустим, ученик напишет, что хочет стать президентом, допустим, США, но для этого надо хотя бы родиться на территории этой страны. Но другой из дискутирующих возразил, что, во-первых, мы не знаем точно, где этот ученик родился, а во-вторых, такая якобы неосуществимая мечта тебе помогает, в некотором смысле являясь как бы помочами, а в дальнейшем вообще может стать твоим социальным лифтом. Анна Петровна, завуч младших классов, с высоты птичьего полета своего ума с некоторым недоумением смотрела на жарко спорящих. Вот они сказали друг другу: «Поспорим, что...», но не нашли отчетливо предмета спора. Она все ждала, кто из них первый скажет банальность вроде «мечтать не вредно», но они все не говорили и не говорили. А решили разрешить свой неразрешимый спор борьбой на руках. Анна Петровна ждала, когда они назовут эту борьбу нерусским, неродным словом «армрестлинг», но они словно бы забыли о такой возможности. Два этих потенциальных борца на руках оценили силы друг друга, увидели, что одинаково мускулисты, и борьба может затянуться, поэтому решили просто посмотреть друг другу в глаза. Анна Петровна закончила в свое время Московский госуниверситет, и поэтому на все могла взглянуть помимо своей и с другой точки зрения. Она, например, знала о любви не только с практической стороны, но и с теоретической и общефилософской. Она знала об эмпиреях. Она знала, что каждый человек мечтает, но не каждую мечту можно довести до ума.

Маленькая комедия

Это были два лица обоего пола. Застигнутые стихией в гостинице, они оказались почти в полной изоляции. По условиям карантина ни он, ни она не могли покидать каждый свой номер. Он был когда-то делегатом съезда исчезнувшей политической партии. Она дояркой со стажем. Сейчас каждый пребывал в своем предпенсионном, близком к бытовому блаженству возрасте. Причем кто-то из них не ждал от жизни уже ничего, но хотел всего и почти сразу. Другой испытывал противоположные чувства. Он видел ее один лишь раз и знал, что она навечно теперь живет в соседнем номере. Но в условиях глухой изоляции. Она, по-видимому, видела его тоже около одного того самого раза. Теперь в полном одиночестве он грыз себя локти, что не спросил ее хотя бы e-мэйл адреса. Правда, иногда он испытывал ответные угрызения совести, которая спрашивала его, что он мог бы написать такого незнакомому человеку иного пола? Но он отве-

чал ей в момент передышки, когда она уставала его грызть, что сейчас все люди породнились в условиях всех захлестнувших и затопивших событий. Пытался он перестукиваться с ней через стену номера, но здание было, наверное, сложено в доисторическое время и плохо пропускало малейшие звуки. Единственное, что он обнаружил, что когда включал у себя музыку на полную мощность – на своем переносном компьютере – то что-то как будто проникало в ее соседний номер, потому что он слышал, правда, едва уловимо, что она заводила свою музыку, но в такт его, и когда он прекращал, то и она прекращала – давая понять, что слышит его. Правда, тут раздался удар в дверь его номера, и кто-то, наверное из администрации, довольно грубо спросил его по-английски, а чего это он безобразит, на что он резонно ответил, что попробовал бы тот посидеть в изоляторе, еще неизвестно тогда, кто бы больше безобразил. Но стал все же заводить свою музыку немного тише, и слышал, что в соседнем номере так же отзываются, хотя совсем уж еле слышно на его призыв. Но выйти из номера он не мог – ключи были отняты. Балкона в номере не было, а окна закрыты наглухо. Работал, правда, кондиционер, но в нем мало было толку. У него в портфеле была лазерная указка, и он подумал, что если попробовать светить ей через стекло в соседний дом, то в окнах его что-то отразится, и она, подойдя к окну, что-то увидит и поймет. Но мечте его не суждено было сбыться. Хотя он, зная азбуку Морзе, хотел ей таким световым письмом сообщить кое-что из своих чувств. И что-то он попробовал в сумерках, предполагая, что все-таки что-то она уловила. Но ночью дверь его взломал российский спецназ, чтобы срочно эвакуировать его на родину из этой дышащей во все свои поры вечерней свежестью экзотической страны. Когда вертолет совершал прощальный круг над городом, он заметил на облаках слабые отблески и вдруг понял, что это, наверное, лазерное послание ему. Но видимо за этот вечер она с помощью интернета не слишком хорошо изучила азбуку Морзе, и поэтому ее письмо на облаках было хотя и искренним, но почти неразборчивым, и найти в нем проявления ответных чувств было не очень легко.

Книксен

Роман Ш., когда его забирала в больницу скорая помощь, сумел захватить с собой лишь одну первую попавшую под руку книжку, только потом он разглядел, что это был англо-русский словарь. «Дело твое, конечно, добровольное, – сказала ему скорая, – скорей всего, ничего серьезного. Но главное тебе там – понравиться врачам, и тогда они тебя быстро отпустят». Так как ожидать прихода врачей пришлось долго, то Роман был рад и этой технической – как ему казалось – книге. Но потом он быстро понял, что это далеко не так. Ведь на двух развернутых страницах было всего лишь каких-то 40 слов, но каких! С одной стороны, их можно было прочесть быстро, но с другой стороны, перечитывать, не уставая. Роман Ш. понял вдруг, что надо читать словарь как поэму. Каждый разворот – это как бы отдельная часть из сорока слов, их надо запомнить наизусть, и тогда все пойдет как по маслу. Он открыл наобум книгу и на 440-й странице сверху прочел слово “reverence”. Ясно было, что в нем сидит некий «реверанс», и действительно первые слова перевода были «почтение», «благоеговение». Хотел он было пойти по словарю дальше, но какое-то слово из другого языка словно бы сделало ему реверанс и пригласило к себе, и погрузило в недалекую еще пучину воспоминаний. Когда американский президент Никсон решил посетить Москву после особого приглашения, это вызвало в Москве легкое чувство законной гордости, постепенно переросшее в чувство ответственности. Приготовительные меры к этому событию некоторые полусознательные жители Москвы быстро назвали «книксен». Тут же от всех потребовали снять с бельевых веревок на балконах нижнее белье, о верхнем и речи не шло. Особое внимание уделили трусам в звездочку или в полоску. По отдельности они не могли представлять опасности. Но от быстроты передвижения по городу у президента могло зарыбиться в глазах, так что все трусы могли наложиться друг на друга. Кроме того, из-за развешивающегося белья

жители могли не увидеть президента и тех, кто рядом с ним. И не понять основного посыла: «вот посмотрите, я такой же, как и вы, человек – две руки, две ноги, две головы». Тут Роман Ш. понял, что с головами по инерции он позволил себе лишку и почему-то ощупал свою голову с нескольких сторон. Но такое ощупывание самого себя – где-то совсем рядом с мыслью – пробудило в нем тревожное ощущение, переросшее в нем в более уверенное чувство. Его оставили лежать под одеялом в одних трусах, и он понимал, что они у него содержали, не имея в виду никакой официальной символики, и то, и другое. И это могло не совсем понравиться врачам. Хотя только человек с большим воображением мог увидеть это там, но Роман Ш. предполагал, что среди врачей вполне много таких особей. Вообще-то трудно было принять на его трусах светлые пятна размером в галактику за звезды, и линии, извивающиеся, как змеи, за полосы. Но на всякий случай с тех самых пор он их не снимал и почти никому не показывал. Не было все же уверенности, что врачи, готовящиеся вот-вот войти в палату, не потребуют сбросить это одеяло, и будут говорить, что не трусы их интересуют. Осадок зрения от них, правда, тщательно заштопанных, останется у тех врачей навсегда. И он снял дорогие его телу трусы и повесил, не найдя лучшего места, на батарею парового отопления, на которой, впрочем, висели и сушились другие трусы его соседей по палате. И он понял, что должен завернуться в одеяло и, помянуя слова скорой, постараться понравиться врачам, одновременно отвлекая внимание их от тех трусов. И тогда его книксен в одеянии из одеяла будет выражением высшей приязни. Пусть даже на секунду врачи подумают, что он больной женского рода. Ничего страшного – он исполнит свой долг вежливости и привлечет ненадолго – именно, что ненадолго – их внимание. При этом не теряя скромности, чтобы они не подумали, что он тянет одеяло внимания на себя. И тогда несомненно поймут, что он выражает им лишь свое почтение и благоговение.

Снежные фантазии

Все знали, что Вера Сказачкова любит снег. Поэтому почти никто не удивился, узнав, что она собирается лепить снежную Венеру. Правда, кое-кто спросил ее: «А почему ты лепишь Венеру, а не Афродиту?» Но она ответила любопытным: «Да из этого имени, как из духовки, такой Африкой тянет, что какой уж тут снег, не говоря о льде». «Ну и когда ты поставишь изваяние на всеобщее обозрение?» – спрашивали ее, но она молчала до времени. Втайне она надеялась представить свое творение-детище на объявленный недавно конкурс снежных баб России. Но для этого ее Венера должна была стать почти верхом совершенства. У Веры было незаконченное высшее художественное образование. Когда-то одну из ее студенческих скульптур похлопал по плечу один из маститых. Вера стала даже популярной, но тут у нее появился муж. Большую часть времени он лежал на печи в переносном смысле, и Вере пришлось работать за двоих, приостановив свое художество. Хотя она о своем призвании не забывала и пыталась совместить его со своей тягой к снегу, после долгих мытарств ей удалось устроиться на радиостанцию «Снежное королевство». Муж ее утверждал, что его карьера закончилась после того, как она вышла за него замуж – «после ее выходки», – как он говаривал. «Она меня остановила на скаку, – говорил он другим, – когда я несся во весь опор, появилась она. Какой уж тут карьер и тем более аллюр. Мне оставалось только стать рабом ее привычек». Поэтому она не удивилась, когда муж робко спросил ее, может ли он стать подносчиком снежных снарядов для нее. И милостиво согласилась. Но на более неосмотрительный вопрос, может ли он подавать ей советы, ответила ледяным молчанием, выразившим – он знал это – высшую степень несогласия. Все спрашивали Веру, будет ли ее Венера образцом женской красоты, и она уверяла, что да, но не в классическом смысле и понимании. «Ты будешь отсекай все лишнее от снежного шара?» – интересовались некоторые знакомые. «Нет, Венера будет как бы сама выращивать все необходимое, рождаясь из снежной пены», – объясняла Вера непонятливым. «Я представляю при этом пену для бритья», – вме-

шался в разговор Верин муж. «Я же тебе запретила подавать мне советы или образы, – резонно заявила она ему, – последний раз тебе это позволяю. Из пены для бритья вокруг твоей бороды не может родиться умного или привлекательного лица, тем более что мне бородатые Венеры не нужны, да и сомневаюсь, что пройдет она по конкурсу». Когда кропотливая работа подходила к самому концу, стала она задумываться, как перевести свое снежное произведение к месту проведения конкурса. Понятно, что ни один самолет не взялся бы за такое дело. Тем более, что место выбрали соответствующее – между Нарьян-Маром и Сыктывкаром. Но там сейчас как раз была оттепель, и никто из участников не хотел, чтобы с тонкого носа его снежной принцессы свешивались сосульки и чтобы, допустим, изящная снежная талия истаяла на глазах. Некоторые предлагали основать компанию «Борей» и дышать холодом в ту сторону, но другие говорили, что этого недостаточно, а нужен «Гиперборей». Наконец догадались врубиться в вечную мерзлоту, и там при свете светляков, не дающих тепла, в особой пещере расставить снежных женщин. Так что это могло быть привлекательным и для светских дам – продемонстрировать свои искусственные меха и подлинные драгоценности, которые будут переливаться неземным светом и соперничать красотой с произведениями снежного искусства. Тут, правда, довольно неожиданно поступил запрос от общества «По защите достоинства снежного человека» – в письме на имя председателя утверждалось, что члены общества встретились недавно, можно сказать столкнулись лицом к лицу со снежным человеком, и тот, к великому изумлению, оказался женщиной. Так вот нельзя ли ей, тем более на правах старожилки, тоже поучаствовать в подземном конкурсе красоты? Общественникам объяснили, что, во-первых, это никак не конкурс красоты, а во-вторых, ходить по снегу и оставлять там босые следы не значит еще быть настоящим снежным человеком. Но все же, если та, которая выдает себя за снежную женщину, найдет себе подходящую пару, то эта чета может быть приглашена на вернисаж, но вовсе не для того, чтобы стоять на пьедестале рядом с почти нерукотворными снежными созданиями.

После всех долгих перипетий удалось все же договориться с рефрижератором, и через много дней пути белоснежная Венера была доставлена в подземный дворец мерзлоты. Многие снежные женщины (настоящие, не самозванки какие-то) стояли уже на своих постаментах. Вера прошла между их рядами. Некоторые наивно напоминали первобытные образы каменных красавиц. У некоторых более современных снежных статуй подмышкой торчали эскимо на палочке вместо термометра, было видно по всему, что холод там стоял нешуточный и где-то даже собачий, поскольку на некоторых эскимо были видны следы зубов – кто-то проверял твердость этих абсолютно холодных сейчас предметов.

Вера подошла и к своей Венере, которая была уже воздвигнута на пьедестал и стояла, сохраняя полное свое снежное, но отнюдь не ледяное величие. Вере она очень понравилась, и она обняла ее со всех сторон. Понимая все же, что надо временно оставить конкурсантку, чтобы она свыклась со своим положением. Муж, некстати затесавшийся, тоже хотел распахнуть свои объятия, но был отогнан, словно представитель иной цивилизации.

Богдан АГРИС

Софье Дубровской

время солнечным зверком
на княжне-реке
ты мне станешь городком
где-то вдалеке
будешь городку весна
будет иволга ясна
вешней голубицей
возвратись в столицы

прикосновенная вода
сильна в пшеничных слободах
в июльских пролежнях бывалых
где клевер к веерной реке
мы лето на материке
в своих бревенчатых увалах

во лепете настигни нас
новорождённый волопас
иди коленчато и косно
когда на проливных крылах
оснастка крёстного орла
вольна во щавелевых космах

как перевёрнутым нутром
кротовые ходкое метро

Богдан Агрис родился в 1973 году, живет в городе Химки. По образованию – философ (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова). Публиковался в журналах «Новый Мир», «Волга», «Знамя», «Новая Юность», «Крещатик», «Плавучий мост», онлайн-порталах «Сетевая словесность», «На середине мира», «Прочтение», «Флаги», «Дегуста». Автор книг стихотворений «Дальний полустанок» (М., 2019), «паутина повилика» (М., 2021). Соредактор журнала поэзии «Кварта».

возмущено и деловито
так в перемолотых прямых
себе клесты такие мы
осанисто и духовито

полотно рябин безбрежных
ноготок луны
к этой жизни, к этой нежной
приговорены
за пространством невысоким
ходят лебеди осоки
буду я за ними
молодое имя

есть большие ресницы сады
есть внимательный пригород у камелька
черепица у вербной звезды
если звёздам легко мельтешить и мелькать
мы помедлим пока

мы помедлим в смешном переулке луны
броско осень звенит серебром-сентябрём
но полынью мы тихо больны
и ещё этим хлынувшим в небо огнём
тленом да янтарём

а когда обернутся назад
заполосные лебеди сон-бирюза
мы наверное птицы-глаза
станем горлинкой и сизарём?..

...только лица озёр это могут сказать
мы не сможем сказать

светлотелых рябин волокно,
лебединого лета окно,
обнажённого неба завой –
всё нам брошено над головой,
всё нам будет рябиновый смех,
но его не поделишь на всех.

ты объясни меня в синеющем дожде,
дай этой влаги краткосрочной.
смотри, по улице лицо идёт воочью.
я падаю среди тождеств.
но вот огромный луч воимья-вопреки –
его касание так выпукло и гулко –
и я уже в конце слепого переулка,
во глубине руки.

я ваши длинные снега
меня бери подстерегай
я вытянусь до тленных пашен
послушай я снега я ваши
я кольцевая недолга
в смазливой воркотне орешин
я буду аз и многогрешен
тихоней махоньким двойным
до выхолощенной луны
до охряных вполнеба пятен
я буду вытянут обратен
я буду ток о сколь приятен
славянка сколь снега длинны

Заклинание

ты забвенная луна
обесись во семена
где двугорбая река
стану я тебе мелькать
снегом обоюдовеки
воробьём во человеке
сном кудлатым дном проплешин
выходи лёгк и взвешен
встань верстой и королём
двоеточие моё

образ к образу летит
не юли и не финти
стань мне лебедем лесистым
полем честным полем чистым
лунной крошкой стебельком
стань уже материком

ястребы и соколы
станом станут около

На мотив Вени Д'ркина

а где звезда-пегринь
да расползлась в небесах
мы дышим семень-огни
перелицованы все
а где опять невдомёк
мне стержень лишней воды
там взбаламученный мёд
и клён пустой поводыр

а на руках города
и эта древень-вода
страхни меня вопреки
с твоей весёлой реки
я буду след-перекос
я буду весь невсерьёз
а где огонь-поперёк
я буду только намёк

Зимородок

проснёмся, о зимородок!
запятая времени ты –
и какая!
пойдём рассматривать звёзды
на твоих предплечьях,
распределение луны
по межевым градациям акварели,
спряжение твоих вёсен
в повелительном наклонении.

о мы увидим ещё
гроздь неба, собранные вручную.
о мы уточним
щебет одинокого потока.
нимврод над водами, камо грядеши?
станешь ли выгораживать свои ручьи –
щёлк-свист,
щёлк-и-свист ещё –
когда путь их – прочь от источника,
и кто им уточнит своё становище?

зимородок, это время стало мне
исповедником, идущим по первому снегу
в перспективе сколотых лун
к церквушке над окольной рекой,
где преклонны кресты
и селезень
давно устроился в моём созвездии на ночлег.

зимородок, о чём он спрашивает меня?
зачем
я выговариваю перед ним эти вещи?
те, что лежат у ног моих в беспорядке,
те, что выкликал ты в прошлое поколение,
те, что я донёс
ещё из кайр-келемиона,
но пока что не раздарил?

и зачем повторяю
в сотый раз этому времени,
что оно, это время –
гибель и ловчая сеть для меня.
не в неё ли угодил и ты?
да? не так ли?

понимаешь, у времени ты
лишь запятая (какая?).
я глинистый поводырь.
у елового говора мы.
у ежевого семени.

кто нам воздаст
палой хвоей с невыговариваемым лицом алконоста?
и паутинно-волосых девушек
с кровными и гибкими голосами –
нет, их встретим не мы.

не мы, о зимородок мой многогневный
выйдем в Ковш по следам
световой трясогузки,
встревоженной, упорхнувшей
туда,
где кадваллон в лебединых изгибах
по зеркалу
племени твоего

САДЫ АДОНИСА

К адониям

Что-то уже похожее на тепло
ближайшего оборота вокруг солнца,
и с дальновидным расчетом
разбросанные по баштану камни,
подобно болонским, излучают ночью
накопленные за день лучи.

Некоторые из камней
действительно оказались божками съестных припасов,
предвосхищая (шутки в сторону) эру
наших аграрных дел:

лишенный головы человеческий глаз,
едва помещающийся в руке, в огромном зрачке которого
отражается водоплавающая птица*
(*чернети или крякве,
остановившейся
на перелете из теплых в холодные места,
кажется, что она уже избежала жары адоний,
приходящихся на конец июня);

два яйца,
размером с гусиные,
но цвета охристого железа, чуть ли не сурика, как у пустельги*
(*сросшиеся в одно как бы яйцо в квадрате, символизируют
изобилие будущих вылупков этих мест –
бывший Яичный берег);

продолговатый валун, испещренный
рунической чешуею каменной рыбы*
(*в две ладони длиной и в одну шириной, –
чешуйник-камп карп высохшего водоема Камболи,

Юрий Гудумак родился в 1964 году в селе Яблони Глодянского района Молдавии. Окончил геолого-географический факультет Одесского университета, работал в Институте экологии и географии Академии наук Молдавии. Автор семи поэтических книг. Лауреат премии Союза писателей Молдовы (2012). Стихи публиковались в литературных изданиях «Дети Ра», «Новая Юность», «Новый Берег», «НЛО», «Воздух», «Волга», «TextOnly», «Цирк "Олимп" + TV», «Артикуляция» и др., в ряде поэтических антологий, а также переводились на английский и румынский языки.

по-прежнему видящий сны,
не смыкая век).

Я нашел их,
карабкаясь по глинистым кручам шиповниками Дождливой.
Мягкий, хорошо поддающийся обработке, песчаник.
Серый с коричневым.
Тот самый,
в котором впоследствии станут возможны
дивные украшения пламенеющей готики.

Доломитовая основа из миллионов
лучевидных скелетиков радиолярий-солнц,
застывших в зените в нерешительности,
стоит ли продолжать.

Но, прежде чем,
раскалившись летом, сожгут посевы,
теперь они защитят их, по крайней мере,
от холода.

Сады Адониса

Взошедший было редис
я заранее совершенно верно причислил к «садам Адониса».
«Сады Адониса» состояли, к слову сказать, из растений,
быстро пускавших ростки
и столь же стремительно увядавших,
искусство выращивания которых за восемь дней
символизировало в незапамятные мифологические времена
восемь месяцев трудов и забот земледельца.

Растения эти
выращивали в горшках.

Мудрость *Георгик* Вергилия,
императивом косневшая в голове,
никогда не выглядела бы, улыбнулся я,
столь уместною, как сейчас:
«Восхваляй обширные земли, –
над небольшою трудись...».
Во всяком случае,
бросив в ямку
пару пятнастых отборных бобов,
предварительно вымоченных в воде,
я основательно, со знанием дела, загнал в землю
суковатый костыль ровно такой величины,
какую хотел придать побегу стручковой фасоли.
Я старался не думать о том,

что корзина с первинками урожая
наполнится, похоже, не раньше,
чем расцветет костыль.

После того,
как все мыслимые и немыслимые
сроки прорастания, цветения и развития передвинулись –
настолько, что аномалию климата сподручнее
стало вдруг объяснять переменой места, –
полагаться на то, что такого не может быть никогда,
я не мог.

Если некоторые из растений
при перемене места действительно не желают расти,
то иные из них, напротив, – вырождаются
и превращаются в невообразимый дичок.
Я уже знал, что травянистый вечнозеленый барвинок,
растущий под голым розовым кустиком –
чертополохоподобным,
если колючки последнего не считать за листья, –
вовсе и не барвинок, а «карликовый лавр» Феофраста.
Обыкновенная же петрушка, «частично вечнозеленая», –
почти по Диоскороду – была
не иначе как «сельдереем».

Само по себе
это не обязательно так уж плохо.
Быстро отцветающее весеннее растение-анемон
для тех же классических греков, имея в виду, что год у них
начинался лишь в середине лета,
растение позднее, а не раннее.
В рассуждение чего – разве не видно? –
для них оно, хоть и всходило при ветре,
все-таки означало «вздых».

Безразлично, впрочем,
как понимать все это,
когда период солнцестояния – он же пояс безветрия
и солнце переворачивает низом вверх оливковый лист
и страницу рукописи.

Тогда-то и узнаёшь,
что солнцеворот прошел.

Тогда последняя из оставшихся гомерид, цикада,
начинает отсчитывать своим залитым солнцем голосом –
аффрикатой «ц» –
новый аттический год.
Сначала –
солнечный жар в золотистых протуберанцах бессмертника,
потом – его смешанный с медом пепел.

Сады Адониса (*bis*)

У морской атлантической соли
форма кристалла – правильный куб; у сахара –
принесенный медвянотекучим потоком ветра
правильный шар;
остроконечная продолговатая форма селитры
обнаруживает действие ветра, отклонившегося
от первоначального направления на половину ветра
и еще на четверть, переменившегося наконец на южный.

Воздух пустынной зыби, он похож –
не так ли? – на облетевшую розу ветров:
ни облачка цветочной пыльцы. Ни зерна пыльцы,
способного принимать бесконечно разнообразные формы,
которое мы толкуем как полиморфное тело,
и никогда – куб.

Период расцвета бабочек,
существовавших внешне уподобляясь цветам,
сменился таким же, по-африкански коротким, периодом,
когда цветы, коэволюционируя вместе с дневными бабочками,
становятся одновременно тем и другим
еще на одно мгновение –
окрыленных цветов.
Коль скоро цветы умирают,
они умирают – не так ли? – претерпевая метаморфозу.
Взращенный асфоделевым стеблем червяк – и тот
превращается в насекомое вроде шершня:
съев увядший стебель,
оно улетает.

В числе насекомых,
возвещающих лето, оно возвещает лето –
счастливый удел стремительно рыжеющей саранчи
среди иголок травы, похожей на колючее пламя, –
по-африкански долгий сухой сезон –
цитату из нашей осени:
ломкий ссохшийся сучок-стебелек
горазд оказаться запоздалой стойкою богомола,
коробочка-плод – подвернувшей лапку
золотистой бронзовкой.

Анакреонтовский звук просыпающейся цикады: Сады Адониса (II *bis*)

Анакреонтовский звук просыпающейся цикады,
когда она воплощает разом живую цитату и часть тишины.

При высоком положении барометра, сухой погоде
и безоблачном небе аффриката «ц»
кульминирует в удвоенное *си*.
Предельная степень тишины удвоенного *си*
делает восприятие в такой степени четким,
что тишина напоминает скорее прозрачность воздуха,
когда растения – растения*
(*Прим. Растения
становятся реальными лишь в той степени,
в какой перестают быть самими собой:
не иначе как распускаясь,
опадая, принося плод) –
когда растения приобретают резкие –
как стрекотанье цикад – очертания, какие они имеют
на островах Средиземноморья.

Простейший опыт.
И он учит нас, что у перцепции нет объекта;
что всякая перцепция, следовательно, галлюцинаторна;
что листья растений в садах Адониса,
едва распустившись,
заворачиваются от действия палящих солнечных лучей,
как заворачиваются листы писчей бумаги,
брошенные на горячие уголья;
что в обоих случаях
конвергентная серия искривлений
зависит от движения испаряющихся частиц влаги,
иные из которых нагреваются так,
что приобретают движение,
какое присуще огню.

Кривой росток-самосейка,
прозябавший из осыпавшихся семян прошлогоднего солнца,
станет теперь различимым, только налившись пурпурным
теплой золы, еще не остывшего философского камня,
как цикада – неразличимой,
только слившись с ним.

Божественный Платон, любитель смокв

Степень приближения к лету такова,
что то, что было три недели назад
или три месяца назад,
представляется одинаково вчерашним,
словно весна пала жертвой ее предела
как предела между весной и летом, летом
и осенью, осенью и зимой,
зимой и весной,
а ее и не было.

Степень приближения к бесконечному?

Да. Но она по-прежнему является
функцией географической широты.

В довершение к почтенного возраста теориям древних греков,
говоривших примерно то же о степени пригодности
той или иной местности
для жизни людей.

Но лето придет незаметно:
не дав испугаться его приближения.

Воздух, что пустоцвет.

Его полуосознаваемое ничто, в аттических
по чистоте стиля, хорошо освещенных утрах, –
пуховидный цветок шелковицы,
этой, вот уж действительно,
смоковницы умеренных наших широт, –
ненавязчивый призрак, еще не вызванный к жизни воспоминанием
о лопнувшей, белой с розовым,
винной ягоде.

Винногодник-славка, дрозд-пересмешник... –
в числе любителей смокв, каким был философ Платон.
И если бы язык был строгим, необходимым
звуковым олицетворением мысли,
то эта последняя должна была бы всюду
проявляться в одних и тех же звуках:
быть подобной пению птиц.

Начиная с самой высокой *соль*,
нежный флейтовый полутон затем поступательно понижается.
Как если бы винногодник-славка выдавал секрет
пяти нисходящих нот,
пересмешник поет:

хо-хо-хо-хо-хо...

Сергей ЗЕЛЬДИН

РАССКАЗЫ

Конец кино

Наконец час эм, или, другими словами, час икс, о котором так долго говорили ютубовцы, настал.

В одно прекрасное утро Сергей Леонидович, выйдя из подъезда, чтобы сходить в «Железнодорожник» за плавлеными сырками, увидел высоко в небе густо и дымно прочерченные траектории летящих ракет.

Судя по направлению, ракеты летели с северо-востока куда-то на вост-зюйд-вест.

«Не может быть!» – подумал Сергей Леонидович, опускаясь на скамейку, так как ноги отказались его держать. Вспомнилось глупое детское: «П... подкрался незаметно, хоть виден был издадека».

В окнах кухонь забелели ошарашенные лица соседей, с треском распахивались заклеенные рамы, слышался тихий ропот. Дети, совершенно очарованные полосатым небом, стояли, задржав головенки.

Вся жизнь пронеслась перед внутренним взором Сергея Леонидовича. Но сначала он, по вполне понятным причинам, подумал о сыне Володьке, невестке Вере и внучонке Кристиане в Дании. Затем подумал о жене Галине, пошедшей на маникюр, о теще в Коростышеве, о двоюродной сестре в Краснодарском крае, о дяде Саше и тете Рае в Ленинграде, то есть в Петербурге, а уже потом перед его внутренним взором замелькала его жизнь в виде обрывочных воспоминаний и туманных картин.

Странно, что жизнь проносилась перед Сергеем Леонидовичем не в хронологическом порядке: детство – отрочество – старость и так далее, а вразнобой, россыпью.

Так, сначала ему вспомнилось, как в учебке он прокалывал иголкой дни в календарике, дожидаясь такого недостижимого «микродембеля», и какая тоска брала его, когда он видел, что до весны по-прежнему далеко. Самые употребимые слова в химвате были: «тоска», «вешайся» и «все в соплях», почему-то через букву «н» – «в сопнях».

Сразу вслед за этим привиделось Сергею Леонидовичу, что он живет в станице с дедушкой и бабушкой. Он смотрит в окно, а за окном метет снег. В сенях жалобно, по-бабьи вскрикивает дверь, и в горницу входят огромные люди в кожных и папахах, а потом долго играют с дедушкой в дурня, а на столе лежит гора семечек, и все, не отрываясь от карт, их лузгают, а потом, наигравшись, выпивают самогонки под моченый арбуз, а арбуз из бочки, а бочка в кладовой... На чердаке банный дух от пучков зверобоя... Курица бежит с отрубленной головой... Майкоп, Армавир... «Ты мой миткалевый!» – говорит бабушка...

Сергей Зельдин родился в 1962 году в станице Ярославская Краснодарского края. Жил в г. Волжском, с 1974 года в Житомире. В «Волге» печатались рассказы (с 2017 года)), также публиковался в журналах «Крещатик», «Новый берег», «Дружба народов», «Зеркало» и др.

Вслед за этим вспомнилось Сергею Леонидовичу, как однажды на зимних каникулах в пятом классе, когда они жили уже на Украине, он поехал на турпоезде по маршруту: «Киев – Чернигов – Брянск – Москва – Житомир», и как он потерял этот турпоезд в Киеве, и вернувшись с Крещатика, бегал по перронам, и какое отчаяние его охватывало, а ранние сумерки все сгущались, и поезда все уходили, пока, плача, он не подбежал к милиционеру и он не отвел его на запасный путь, куда переставили турпоезд, и он тут же тронулся.

Потом, непонятно почему, память Сергея Леонидовича переключилась на последние события его жизни, как он недавно хоронил друга детства, умершего от ковида, и как он не испытывал особой скорби, и много и с аппетитом ел на поминках, понятно, что от нервов, но все же это было скотством. А раньше он тяжело переносил похороны, и даже пил таблетки от сердца. Вспомнил, как кто-то сказал на перекуре: «По крайней мере, у Витька есть могила», – как будто предчувствуя сегодняшнее. Но, вообще-то, эта фраза давно уже стала популярной и часто произносилась на похоронах, как когда-то: «Бог дал – Бог взял» или «Земля ему пухом». Затем...

Впрочем, сколько бы ни перечислять всех воспоминаний Сергея Леонидовича, все равно это заняло совсем немного времени, пусть не секунду, как когда летишь с балкона или тонешь на зимней рыбалке, но тоже быстро.

Да и ничего тут оригинального или своеобразного не было, и наверное со многими в эти минуты происходило то же самое, и вообще во многих книгах мировой литературы с героями это часто случается, например, в «Снегах Килиманджаро».

Сергей Леонидович, забыв о плавленых сырках, вернулся домой и набрал жену.

Телефон не работал.

– Все, – сказал Сергей Леонидович, – кина больше не будет.

Мои первые книги

Мои самые первые книги, вернее, первые, которые я прочитал сам пятьдесят три или пятьдесят четыре года назад, на туманной заре своей сознательной жизни, были толстая оранжевая книга казахских народных сказок «Похождения Алдара Косе» и тонкая, в картонной обложке, «Приключения индюшонка Чок-Прим», про молдавского мальчика, когда он был еще бессарабским.

Собственно, «помню свои первые книги» это громко сказано, ведь я уже тысячу раз убеждался, какие фокусы выкидывает наша память. Но мне кажется, что ничего раньше этих «Пождений» и «Приключений» я не читал, а до них просто разглядывал картинки.

Так, я помню одну необычайно печальную книгу о какой-то девочке типа Мальвины, жившей в темном лесу в чем-то вроде заколдованного замка или запущенного особняка.

Не то чтобы она пугала трехлетнего ребенка до слез, но помню, что каждый раз, разглядывая в ней картинки, я погружался в меланхолическое и даже пришибленное состояние.

Я тогда жил в кубанской станице с дедушкой, бабушкой и тремя тетками-школьницами, а папа заканчивал харьковский политех, а мама, дочь дедушки и бабушки, жила с ним в съемном углу и работала на заводе в Харькове лаборанткой.

А я, пока суть да дело, жил у бабушки Кати и дедушки Васи в станице Ярославской Майкопского района, не понимая еще, что это лучшие годы моей жизни, закончившиеся летом 1966 года.

Папа с мамой приезжали на папиных каникулах зимой из Харькова на Новый год и привозили всем подарки, но главное, конечно, мне, своему сыну Сереже.

Так, в разные годы они привезли мне: надувного космонавта, пупочка которого, через которую его надували, восхитительно вязала язык тальком; космический же комбинезончик, сейчас называемый «дутым»; кубики из цельного дерева с картинками, которые нужно было еще сложить; толстую коробку зефира в шоколаде и – книжки-раскладки и простые книжки.

И вот одна из этих книжек мне и запомнилась своими необыкновенными, погружавшими меня в задумчивость и грусть картинками с зачарованной девочкой, жившей не то в обветшалом тереме, не то в руинах дворца.

Но книжки с картинками я не считаю, так как они были еще до начала моей умственной жизни, начавшейся после того как папа, применив все свои способности педагога и дрессировщика, выучил меня чтению.

Конечно, память шутит с нами свои вечные шутки, тем более в таком возрасте как у меня. Скорее всего, я читал что-нибудь еще и до «Алдара Косе» и «Индюшонка Чок-Прима», потому что эти две я взял уже в библиотеке, куда пришел сам в шесть лет, когда мы с папой и мамой служили на китайской границе в Казахстане, но я не помню. В библиотеке меня подвергли экзамену на разумение грамоты, потому что по мне этого было не сказать, и выдали для начала том казахских народных сказок о чабане Алдаре Косе, аналоге бухарского Ходжи Насреддина.

А потом и о приключениях индюшонка Чок-Прим из маленькой бессарабской деревушки.

Хозяину Чок-Прима, мальчику, имя которого я, к сожалению, не могу вспомнить, трудно и голодно жилось батраком в Бессарабии под гнетом румынских бояр. Но как только Красная Армия освободила всех от этого гнета, все сразу наладилось и началась очень хорошая жизнь.

Мне кажется, я довольно точно передаю содержание и основную идею книги, но совершенно не могу сказать, причем здесь был индюшонок с экзотической кличкой, именем которого и была названа книжка.

Об Алдаре же Косе я только помню, что он постоянно высмеивал и водил за нос глупых и жадных баев, и в хорошие дни кушал «куырдак» – видимо, какое-то национальное казахское мясное блюдо вроде нашего люля-кебаб.

Да, мне кажется, что все так и было в моих самых первых, еще детских, книгах.

Но если кто-то скажет, что это все сомнительная чушь, то пусть сам попытается вспомнить свои первые книги, хотя бы и с одними картинками, и попробует описать их, тогда сам увидит.

Хотя, может быть, это я торможу, а все всё помнят, я не знаю.

День рождения

Девятого апреля Сергей Палыч проснулся в пять пятьдесят пять.

Как всегда, в первые мгновения он подумал, что пора собираться на работу. Но сразу вспомнил, что на работу только послезавтра.

Сергей Палыч работал сутки через трое. Трех выходных было много, и уже через два дня его тянуло назад к книгам, пешим прогулкам по лону природы, к самосозерцанию – он работал сторожем.

Сергей Палыч лежал, слушал, как через приоткрытую форточку в комнату заползают осторженные звуки, глядел, как светлеет штора.

Штора была оригинальной расцветки и напоминала Сергею Палычу желтоватый белок огромного глаза в лопнувших кровеносных сосудах.

Сергей Палыч, стараясь не скрипеть, сходил в туалет, потом вернулся, включил планшет и стал смотреть «Козла отпущения» с Бастером Китомом.

Бастера Китона, звезду немого кино, он открыл для себя недавно. Этот хрупкий молодой человек с каменным, ничего не выражающим лицом, буквально магнетизировал Сергея Палыча. Чудовищные трюки Короля Падений целый день стояли перед его глазами и снились по ночам.

Отдаленное, весьма смазанное представление о номерах Бастера Китона дает Джеки Чан в своих лучших фильмах. Но и Джеки далеко до Бастера. А ведь Китон снимался сто лет назад, в двадцатых годах прошлого века!

Особенно нравилось Сергею Палычу что Бастер Китон забыт. Это в его глазах было лишним свидетельством его гениальности.

Чарли же Чаплина он ставил гораздо ниже, примерно как Раймонда Паулса по сравнению с Моцартом.

Посмотрев «Козла отпущения», «Ученика мясника» и «Брак назло», Сергей Палыч увидел, что пора курить.

Он выкуривал по три сигареты в день. Первую он любил выкурить на маленьком базарчике возле дома, попивая «американо» и наблюдая базарные сценки.

Сейчас базарчик был закрыт на карантин, и Сергею Палычу приходилось курить возле гастронома «Железнодорожник», купив кофе в кондитерском отделе, сдвигая и натягивая маску между затяжками и с отвращением глядя на свои руки в резиновых, кондомного цвета, перчатках.

Откровенно говоря, Сергею Палычу не стоило делать ни того, ни другого – ни курить, ни пить кофе. Здоровье у него было поганое, сердце подвержено порокам – то аритмии, когда пульс, слабый и неровный, взлетал до ста тридцати, и Сергей Палыч, красный как помидор, лежал пластом, то – брадикардии, когда пульс наоборот опускался ниже сорока, и у Сергея Палыча путалось в голове и стыли пальцы на ногах.

Медицина же давно отступила перед его недугами и сдалась. По крайней мере, в последний раз весельчак кардиолог в поликлинике сказал ему:

– Полноте, дусенька, с вашей аритмией жить и жить! Только не надо думать о плохом и хоронить себя заранее! Держать хвост пистолетом! Позовите там следующего!...

Поэтому, полагая, что двум смертям не бывать, тем более что все мы ходим под Богом, Сергей Палыч покуривал и иногда пил кофе. Ему даже казалось, что от этого его аритмии и брадикардии делается легче.

Сергей Палыч кряхтя обувался в прихожей, когда из своей двери выглянула тетя и тихонько сказала:

– С днем рождения, Сергуня, племяшик дорогой!

Взгляд у нее был как у затравленной газели:

– Извини, что я опять без подарка! Вот получу антикризисные!..

Тетка получала пенсии тысячу восемьсот гривен, что в переводе на доллары означало шестьдесят. Поэтому ей все время хотелось быть щедрой и расточительной.

– Не балуйте, Нина Васильевна! – сказал Сергей Палыч. – Какие подарки на позициях!

Этим он хотел сказать, что когда Григорий Мелехов, потрепанный красными, приехал в станицу на побывку, то на бабские приставания с подарками так и ответил, хмурясь как туча: «Какие на позициях подарки?»

Сергей Палыч был любящим племянником и частенько баловал тетку халвой и сосисками «Нежные», до которых она была большая охотница.

Он сходил покурить и купить хлеба.

Дома его встретила проснувшаяся жена Зинаида и сказала:

– А ныл, что не доживешь! Дожил как миленький! Ну, долгих тебе лет! – и подарила крем после бритья.

Зинаида с Нового года сидела без работы, а когда нашлось место, началась пандемия, и она опять сидела дома, потихоньку начиная звереть.

– Садимся в час, – сказала Зинаида.

У Эдика, мужа Зинаидиной младшей сестры Танюхи, накануне умерла мать, и Зинаида собиралась поехать на Крошню, часок-другой посидеть у гроба. Она только сомневалась, что ее пустят в троллейбус без пропуска. Но хотела попробовать, а то она уже целый месяц не видела живых людей. Поэтому Зинаида и сказала: «Садимся в час».

Тетка налепила пельмешек, поллитра «Немирова с перцем» была куплена и только дожидалась торжественного банкета, посвященного пятидесятидевятитиетю виновника торжества.

Тут на Зинаидин телефон хлынули поздравления от друзей. У Сергея Палыча телефон был хороший, но кнопочный, а у жены шестой айфон, потому-то поздравления и шли не на тот телефон, а на этот.

Первый друг, Козлов, прислал стихи:

Прекрасный мужчина, отец, семьянин –
Об этом все знают, такой ты один.
Завистники пусть отдыхают в сторонке,
Давай в именины откроем бочонки!

Козлов любил поэзию, хотя и служил юристом в «Житомирсвете». Сергей же Палыч стихов не любил и не понимал, вслед за Львом Толстым считая поэзию аферой и бумагомаранием.

Но это было поздравление от друга, и это было очень приятно.

Потом пришло поздравление от второго друга, Ляха. Он прислал красочную заставку с горящим камином, а перед камином стоит столик с толстой пачкой баксов по сто долларов, пузатая бутылка коньяка, видимо, очень дорогого, и коробка сигар, наверное, гаван.

Сергей Палыч весело сказал жене, что доллары и коньяк это не по его части, но что сигарку он выкурит с удовольствием.

Зинаида сказала колкость насчет умения зарабатывать баксы, Сергей Палыч ответил матерной резкостью и, слово за слово, началась распря. Тетка прижухла в своей комнате.

Чтобы не портить себе праздничное настроение, Сергей Палыч обулся, надел маску и пошел развлекаться.

Улицы были чисты и пусты. Изредка навстречу спешили одинокие прохожие в голубых аптечных масках. «Пацаки! Всем надеть намордники и радоваться!» – с грустной иронией пробормотал Сергей Палыч. Коронавирус захлестнул мир, и теперь казалось, что всю жизнь были карантин и самоизоляция, не хватало кислорода в больницах, не работали магазины. Закрытие же парикмахерских привело к тому, что волосы у Сергея Палыча отросли настолько, что он стал похож на нигилиста.

По пути Сергей Палыч набрал Ляха, который тоже изнывал дома с женой, тихой, забитой им в психологическом плане женщиной. Они договорились встретиться у входа на бывшую «Выставку достижений сельского хозяйства УССР», которую в далеком тысяча девятьсот пятьдесят восьмом году открывал лично дорогой Никита Сергеевич. Теперь весь район назывался Выставкой, а от самой выставки осталась лишь триумфальная арка, увитая гипсовыми снопами и овощами.

Друзья сели на скамейку, сдвинули маски и, зорко поглядывая, нет ли мусоров, закурили. Опасения эти не были напрасными, уже был не один случай, когда за маски штрафовали на семнадцать тысяч. Для Сергея Палыча, получавшего три пятьсот, это бы стало катастрофой «Титаника».

Два друга покурили и, поговорив какое-то время о днях рождения и о старости вообще, перешли к другим темам.

– Знаешь, Вадимыч, – сказал Сергей Палыч, – я открыл для себя старую звезду немого кино Бастера Китона! Я бы хотел, чтобы ты тоже посмотрел и сказал свое мнение. Я думаю, ты чокнешься!

– Мне больше делать нехрен, как смотреть твое глухонемое кино! – ответил Лях, бывший и вообще-то грубоватым, а сегодня почему-то особенно не в духе. – Ты слышал, что учудила твоя любимая Россия?

Лях был стихийным русофобом, а по каким причинам, он бы и сам не смог сказать. Это было тем более странным, что все хохляцкое он ненавидел еще больше. Сергей же Палыч был, возможно, и не русофилом, но, по крайней мере, считал, что война Украины с Россией это ужасная ошибка, и тому, кто это устроил, нужно вырвать яйца с мясом.

На этой почве у них с Ляхом возникали споры, доходившие до криков, визгов и посыланий, напоминая споры между почвенниками и англоманами в девятнадцатом веке.

Но тут вдаль показался патруль, и друзья натянули маски по самые брови, надели резиновые перчатки и стали постепенно остывать. А скоро беседа вошла в мирное русло и зашла о недавних событиях в Вацковском переулке. Там три дня назад похоронили Анатолия Оноприенко, известного в прошлом культуриста Аполлона, который, дожив до шестидесяти лет, вдруг омрачил свой юбилей самоубийством.

Теперь два друга спорили, каким именно способом Аполлон это совершил, не замечая, что это, в сущности, детали, а главное, что не стало человека, тихого и невредного.

А вскоре они попрощались и пошли по домам, потому что было уже полпервого, и Сергей Палыч не хотел опаздывать на пельмени. Как гласит народная мудрость: «В большой семье свои нюансы».

Пельмени теткинны удались, и они кушали их с маслом и с уксусом, наливая рюмочки и про-износя тосты. Зинаида, выпив, смягчилась. Тетка сидела на краешке стула и деликатно жевала беззубым ртом.

Вечером Сергей Палыч лежал у себя и смотрел все подряд: «Козел отпущения», «Невезение», «Пугало», «Копы», «Паровоз Генерал», «Навигатор» и ужасную «Лодку».

Потом ему взгрустнулось. Он думал о Бастере, как он не смог приноровиться к эре звукового кино, как разорился, как стал пить запоем и курить по три пачки, как состарился и умер от рака легких в 67-м, когда ему было семьдесят, а Сергею Палычу было пять.

Он чувствовал себя совсем несчастным, когда позвонили дети из Финляндии. Сын сказал: «Ну, старый симулянт, тебя и ломом не добьешь! Расти большой и толстый!»; невестка улыбнулась и сделала ручкой, а внучка представила дедушкин портрет – классическую сахарную голову с ниточками по бокам, и рассказала стишок на финском языке. Сергей Палыч вслушивался в загадочный внучкин лепет и умилялся. Вообще он считал, что Луиза, эта маленькая пятилетняя девочка, должна прожить прекрасную, счастливую, редкостную жизнь и стать если не президентом Европейского Союза, то хотя бы финской писательницей вроде Астрид Лидгрэн, объездить весь мир, долго жить на Барбадосе и получить Нобелевскую премию два раза подряд. Иначе объяснить, зачем появились на свет и жили свои жизни они с Зинаидой, было просто невозможно.

Зинаида же в троллейбус не попала, у гроба не посидела и была вне себя от злости, так как купила восемь гвоздик, пять из которых стояли теперь в вазе, а три в банке на кухне.

Когда Сергей Палыч заснул, то ему приснилось, что он внутри какого-то фильма с Бастером Киттоном и его все время возят в инвалидной коляске на высоких тонких колесиках.

Депер

Когда Геннадия Руслановича друзья спросили:

– Ты куда пропал, Гендос?

Он ответил:

– Блин, пацаны, такой депер был, что не передать! – и махнул полтишок.

«Депером» на их жаргоне была депрессия.

У всех в наше время бывают депрессии, если он только не слабоумный.

Хотя в наше время и слабоумным не сладко, с тех пор как позакрывали дурдома, и они, вместо того чтобы принять таблеточку клозапина в комплексе с укольчиком рисперидона и забыться в грезах, бегают по улицам и цепляются, чтобы все говорили по-украински.

Так что депер случается со всеми, и потому особенно приятно, что именно в этот раз он был не у вас, а у товарища.

У Геннадия Руслановича депер в этот раз был ни большой, ни маленький, а такой, средний. По крайней мере, ему не представлялось с мазохической ясностью, что он режет себе вену на руке, да не поперек, как это делают симулянты, а как положено, вдоль. Также он не смаковал последние секунды после самоповешения и не фантазировал на тему похорон, которые в наш коронавирусный век напоминают похороны Стендаля. За гробом классика шли трое: Тургенев, Мериме и неизвестный. Но все равно Геннадий Русланович мрачно пролежал на диване все выходные, от-вернувшись к спинке и то и дело куря на кухне, хотя уже почти собрался бросить.

Растравляя душу воспоминаниями, он бормотал про себя: «Е..на доля!» – чувствуя, как подергиваются глаза слезами, а в груди болит, как в юности от растоптанной любви.

Он перебирал всю свою жизнь и не находил ни одного мгновения, когда бы не напортил или не был мудаком.

«Я был, – думал Геннадий Русланович, – плохим сыном, бл..м мужем, сволочным отцом и опять херовым сыном для старой мамки! Зачем, зачем я не ездил на дачу поливать грядки и только обещал постеклить балкон? Моральный уродец! О, Х-хосподи-и!..» – и он крепко сжимал глаза, чтобы не видеть картин, нарисованных ему услужливой памятью, чувствуя, как катится слеза, холодя щеку и моча подушку.

Жена позвала жрать, и Геннадий Русланович сходил на кухню, но жрал без всякого аппетита, без водки, и хмурый, надутый вернулся на диван скорби.

Вспоминалось ему, как не поступил он в политех, чтобы только сделать назло отцу, который вскоре разбился на машине, да так всю жизнь и проходил дураком без высшего образования, хотя самые тупорылые троечники пооканчивали если не политех, то хотя бы военное училище.

Вспоминалось ему также, каким мудилой сержантом он был в армии, нахватавшись в учебке самого плохого, присущего дедовщине.

И как потом, уже после армии, однажды не кинулся в драку, будучи грязно оскорбленным при девушке, засав получить по рылу.

А также как изменял жене, хорошей, доброй и ни разу не попавшейся на аналогичном.

Как лупил маленького Андрюху. А тот в восьмом классе записался на каратэ, и когда он опять полез по пьяни, встал в какую-то «позу кобры» и заверещал: «Шо хочешь?.. Шо хочешь?..» – и Геннадий Русланович засал получить по рылу и пошел лег проспать.

Геннадий Русланович дошел до того, что начал уже цепляться к мелочам, вспоминая, как мычал с остальным стадом: «Ю-щен-ка!.. Ю-щен-ка!.. – участвуя в погублении страны. Как старается теперь говорить в магазине и на почте по-украински, хотя не любит мовы и никогда, кроме как на уроке, на ней не говорил.

Как...

Ну, было еще много разных «как», и Геннадий Русланович все выходные провалялся в депере как выжатый лимон.

Но на третий день за окном выпал блестящий беленький снежок, вышло солнышко, природа стала очень красивой, и Геннадий Русланович, погнав в гастроном за хлебом, с особой лихостью, усмехаясь, сказал жлобихе продавщице:

– Вы бачылы, яка зыма? Казка!

Сидя в маршрутке и едя на работу, он уже совершенно забыл о своем депере и даже не мог представить, что так переживал из-за такой ерунды, как своя жизнь.

Настена

Летний день был в разгаре.

Солнце так ярко стосылало на землю свои жаркие лучи, что становилось понятно, отчего в старину его называли Ярилом.

Природа дремала, погрузившись в сонную спячку.

Березы томно пошевеливали листвою. Сосны источали такой аромат, как будто банщик плеснул на раскаленные камни хвойным настоем.

Настя Стечкина, которую подруги называли Настеной, а руководство Пистолетом, не спеша шла по дороге. Неся босоножки в руках, она мягко ступала босыми ногами по глубокой бархатной пыли проселочной дороги.

Настена шла на полустанок, где проходила электричка, шедшая на Москву.

Она со вчерашнего дня гостила у бабушки Элеоноры в деревеньке под названием Партизанская Засека. Бабушка занемогла, и Настена приехала проводить старушку и привезла корзинку круассанов из пекарни «Хруст французской булки», до которых бабуля со времен нелегальной молодости была большая охотница.

Тревога оказалась напрасной, и никакого предынсультного состояния у бабушки Эли не оказалось, а просто она захотела увидеть любимую внучку, с которой ее так много связывало.

Настена сняла с головы красную панамку, подняла лицо к бледному от жары небу и, не в силах сдержаться, счастливо засмеялась:

– Ах, как хорошо живется!

Ее стройная спина взопрела под легким холстинковым сарафаном. Маленький, незаметный со стороны пушок над верхней губкой покрылся бисеринками пота.

Настена вошла под полог леса и напилась из маленького родничка, а когда вышла из-под сени леса на дорогу, отряхивая с холстинкового платяща капельки родниковой воды, мимо проезжала машина, вернее, старый и раздолбанный сельский джип.

Трое парней, сидевших в нем в разломивших позах, окинули девушку враз загоревшимися похотливыми взорами.

У Насти и впрямь было на что посмотреть – стройная, длинноногая, без излишней мускулатуры, с маленькой грудью «как у мальчишки-боксера» – как говаривал Сан Саныч.

– Эй, красotka! – окликнул Настю здоровенный бугай, сидевший на переднем месте. – Залазь, прокатаем!

– По очереди! – заготовили двое его дружков, тоже наглые и циничные.

Вместо ответа Настюха лишь улыбнулась, погрозила деревенским Казановам пальчиком и покачала головкой в своей красной панамке.

Меньше всего ей хотелось в свой, такой несчастный, выходной, сдавать нормативы по физухе.

Старый, выдавший лет двадцать назад Японию «Субару», обогнав Настю, встал у обочины и перегордился девушке дорогу. Из него вышел гогочущий, хищно улыбающийся верзила. От него разило не то самогонкой, не то одеколоном.

– А ну, – гадко хихикая, сказал верзила, – прыгнула в тачку, Красная Шапочка! Мы тебя сейчас будем есть!

Не впервой, как видно, проделывая такое на проселочных дорогах, трое бугаев радостно ослабились.

– Мальчишки, не надо! – сказала Настя, хотя уже и видела, что – надо. Надо!

– Хорош скулить! – уже со злинкой сказал первый бугай и схватил Настену за тонкую девичью руку в нежном загаре чуть повыше локотка.

«Йтитить твою, fucking-digging!..» – вспомнила Настюша любимую присказку Сан Саныча.

В следующее мгновение рука потенциального насильника по какой-то ракетной траектории взлетела вверх и – по кругу – вниз, раздался негромкий хруст и верзила, скорее удивленный, чем пораженный, не чувствуя в первые мгновения шоковой боли от открытого перелома и разрыва плечевых связок, упал на колени.

Ударив, скорее коснувшись, тыльной стороной ладошки склоненный затылок нападавшего, Настена отправила его в кратковременный рауш, с целью дальнейшего допроса.

Не до конца понявшие, что и почему, двое дружков свалившегося кулем бритоголового амбала уже распахивали дверки с другой стороны, чтобы выйти наружу и поглядеть, чего там выдывает Сява.

Моментально переключившись на следующую цель, Настена быстро устремилась навстречу врагу. Она обегала машину не спереди, как это сделал бы любой из вас, а сзади. Хотя так бежать было дольше, зато ты заставлял противника в неудобном согнутом положении, к тому же не прикрытым дверкой как щитом.

Первому, ближнему к ней бугаю Настена, в последний миг пожалев его, чего Сан Саныч не одобрял, не сломала, а просто выбила коленную чашечку, легко ткнула пальчиком в кадык и провела ладонью, скорее мазнула по шее в месте прохождения сонной артерии.

Верзила еще стоял на своих двоих, не понимая, что он в отключке, а Настена набегала уже на третьего и последнего. Он успел выскочить из машины в глубокую бархатную пыль и стоял, глупо таращась и сжимая в руке нож, похожий на орудие труда рубщика сахарного тростника.

С этим Настя уже не церемонилась и от всей души отрубила ему мизинец его же ножичком, молниеносно пописала кровавыми буквами «хэ», а в конце ударом плашмя по точке кю между теменем и ухом, уложила незадачливого мачетейрос рядом со своими друзьями.

В этот самый момент по проселочной дороге проезжал второй джип, но уже не старый, а почти новый «УАЗ-Patriot».

Сидящие в джипе три качка стали было притормаживать, чтобы узнать, не нужны ли такой симпатной телочке герои-любовники, но быстро все смекнули и так резко дали по газам, что «Патриот» чуть не заглох и, прыгая по ухабам и колдобинам, скрылся за горизонтом.

Настя Стечкина выдвинула вперед нижнюю губку и дунула вверх, как это делают женщины в пылу спора, поправляя локон на голове. Она подобрала свои босоножки, лежавшие в глубокой бархатной пыли и вдруг рассмеялась:

– Господи! Хорошо-то как!..

Летний день угорал.

В тамбуре электрички стояла Настена и думала, что скоро в Вашингтоне ей придется крепко работать, а не как сегодня балду бить. А какая это работа – была государственная тайна, известная лишь начальнику ГРУ ГШ МО России и высшему руководству страны.

Духовная надстройка

В философии есть такое понятие, называется: «надстройка», возводимая человечеством на материальном «базисе». Это означает, что человек, как только его питание делается более-менее регулярным, начинает заниматься разными вещами уже не для выживания, а для души. Сочиняет оперу «Жизнь за царя», пляшет, пишет абстрактные картины или трактат «Закат Европы». Так было всегда, и стены пещер до сир пор хранят рисунки, сделанные сытыми, разнежившимися у костра питекантропами.

По собственному опыту знаю, что духовная надстройка бывает не только из-за обильной пищи, но и по другим причинам, не учтенным Марксом.

Так, бывает, что утонченной внутренней жизнью заживает человек, дотянувший до пенсии, разумеется, приличной. Нужно отметить, что получающие пенсию минимальную, духовной жизнью не живут, а пытаются выжить до самой смерти.

Человек же с пенсией от трехсот долларов и выше вскоре начинает испытывать задумчивость и чувство печали о Несбывшемся – о тропических островах, о Большой любви, прошедшей мимо как парус в тумане, о неубитых на дуэли гвардейцах кардинала, вообще, о неполной реализации себя. Тут-то, торопясь успеть наверстать упущенное, старый хрен бросается возводить свою духовную надстройку, последнюю в этой жизни.

Он начинает ходить в ТРЦ «Глобал» и играет там в хоккей с молодыми, рискуя переломать себе руки-ноги и отбить внутренности черепа. Мерзнет на зимней рыбалке до посинения. Пишет картины, сделавшие бы честь любому питекантропу. Начинает одеваться как юный франт, уже без определенной цели понравиться девушкам.

У Сереги Лавриненко был как раз такой друг, бывший одноклассник, из жэковских юристов, Вадимыч, посвятивший свои закатные годы брендам и трендам.

Вадимыч, а если официально – Юлий Вадимович Сацюк, жил в Вацковском переулке, в подвале которого располагался старейший и солиднейший секонд-хенд «Хумана».

В этот секонд-хендовский чертог бывший юрист ходил как на работу, возводя и штукатуря свою духовную надстройку.

А Серый, старый работяга и по совместительству инвалид третьей группы – ибо как в наше время выживать без группы простому человеку? – ходил в «хендерс» за компанию, как в музей или на выставку.

Со времени победы Революции Достоинства в 13-м году секонд-хенды превратились из магазинов поддержанного платья в животворные источники, по примеру глубоководных гейзеров, бьющих цветными струями и дарящими жизнь окружающим губкам и морским огурцам.

Креативные молодые люди, явные уклонисты от армии, наследники и потомки советской фарцы, с ночи дежурят у закрытых дверей «хендехоха» в день завоза «товара из Европы», а потом первыми врываются в магазин. Со стороны это выглядит как штурм Измаила чудо-богатырями генерал-аншефа Потемкина. Захватив богатые трофеи, чудо-богатыри реализуют их потом через интернет и с этого имеют свой кусок пиццы. Если это и не совсем гламурно, то все же лучше, чем горбиться на клубнике в Польше или кастрировать датских поросят.

Говорят, что импорт европейских обносков – бизнес еще лучший, чем фальшивые таблетки от сердца, и уступает только контрабанде полесского янтаря и карпатского леса.

Семнадцатого сентября, в теплый душный день, когда вдали посверкивало и погромыхивало, и все говорило о близости дождя, два друга, Юлий Вадимович и Серега, как всегда, рылись в корытах секонд-хенда «Хумана». Был второй день завоза, так как в самый день завоза сюда лучше было не соваться, чтобы не быть затоптанным, придушенным или убитым.

Вадимыч, постигший на старости лет все красоты и тонкости моды, с ходу могший отличить штаны «Ральф Лаурен» от пиджака «Томми Хилфигер», а боты «Лоид Ред Вингз» от тапочек «Лакоста», перебирал вещи с любовью. Одетый по последней хендовской моде, рядом с обычными посетителями он напоминал райскую птицу, роющуюся в помойке вместе с голубями.

А Серый, простая душа, смотрел на черт знает что:

– Юлик, секи! – сказал он, вытаскивая из кучи рябенькую тенниску. – Шик-модерн?

– П...ц какой шик! – отозвался Юлий Вадимович. – Одна там была шелковая, и ту нашел! Весна-лето девяносто первого!

Серега бросил тенниску назад:

– В девяносто первом, в девяносто памятном году прокричали телевизоры беду! – дурашливо пропел он, и оба приятеля рассмеялись.

Игорь ИРТЕНЬЕВ

Богатым мне уже не быть,
А бедным я уже не буду,
Настолько, чтоб сдавать посуду.
Встает вопрос, куда ж мне плыть?

Нас было много на челне,
Но все куда-то подевались,
Порасплевались, поспивались,
И что прикажешь делать мне?

Куда его я устремлю,
К какому берегу пристану,
Когда и жизнь не по карману,
И смерть я с детства не люблю?

Вот некто в черном к нам стоит спиной,
Немолодой, усталый и больной,
И выраженьё говорит спины,
Что дни его, похоже, сочтены.

А некто в белом к нам стоит лицом,
И будучи изрядным молодцом,
Он чашу жизни выскребет до дна,
Какие б ни стояли времена.

Других один черт не было и нет,
Так что неважно, кто во что одет.

Игорь Иртеньев родился в 1947 году в Москве. Закончил Ленинградский институт киноинженеров и Высшие театральные курсы. С 1993 по 2003 год — главный редактор иронического журнала «Магазин Жванецкого». С середины 80-х годов до начала 90-х был одним из основателей, а затем и председателем клуба «Поэзия». Автор более 20 поэтических книг. Стихи печатались в журналах «Арион», «Знамя», «Октябрь», «Интерпоэзия», «Урал», антологиях «Строфы века», «Самиздат века», переведены на основные европейские языки. Живет в Москве.

Опухший после многодневной пьянки,
Скорее даже, многовековой,
Идет мужик по улице Солянке,
По пыльной и булыжной мостовой,

Уверенный, что вывезет кривая,
Надеясь, как обычно, на авось,
Идет, бразды пушистые взрывая,
Куда ведет его земная ось.

Идет от заколоченных когда-то,
Видавших виды, Яузских ворот,
Примерно, в направлении заката,
Хотя, возможно, и наоборот.

Ведет его безумная химера
К метро, опять, забыл название, блин,
Ну, как его... революционера,
А, вспомнил, был логин его Ногин.

Московского душою населенья,
Служил он в состоянии живом.
Я сам москвич в тридцатом поколенье,
А как бы даже не в сороковом,

И помню град наш славный и обильный,
Гордящийся величием былым.
А не покрытый плиткою могильной,
Расползшийся безмерно Когалым.

Я помню сарафан твой штапельный,
Лица неправильный овал,
И поцелуй воздушно-капельный,
Что я тогда тебе послал,

И полутемную гостиную,
И рук твоих полукольцо,
И полумаской карантинною
Едва прикрытое лицо,

Но все равно при этом русское,
Как Балабанова кино,

Что никакой перезагрузкою,
Уж не исправить все равно,

И проще снять, наверно, заново,
Допустим, где-нибудь в Крыму.
Но что тебе до Балабанова,
Кто он тебе, кто ты ему?

А ты мне всё, если не более,
Ты мне как пуп родной земли,
Не зря тебя назвали Олею,
Хотя Наташей бы могли.

А впрочем, разве дело в имени?
Гори сто лет оно огнем,
А только в сарафане синем и
Лишь в нем одном, в одном лишь нем.

Я слышал, что люди живут на Луне,
Простые советские люди,
Они глубоко отвратительны мне
И лучше о этом не будем.
Острастка печать на уста мне кладет,
Кто знает, что завтра на ум им взбредет.

Я слышал, что куры живут на Луне,
Хотя по углам и таятся,
И тайно несут по ночам в тишине
Простые советские яйца.
Без видимых, как утверждают, потуг,
Бывает, что сразу по несколько штук.

Еще на Луне есть, слышал я, козлы
И дикие лунные козы,
Что вяжут супругам морские узлы
Под общим советским наркозом.
Он служит защитой от внешних угроз
И действует, кстати, не только на коз.

Я в детстве мечтал полететь на Луну,
Чтоб Лунную слушать сонату,
И если однажды случайно усну
На вечные веки когда-то,
Желаю зарытым быть прямо в луну
На десять советских штыков в глубину.

Я пишу тебе вилами по воде,
Потому как в себе далеко не весь,
Я не знаю, с кем ты сейчас и где,
Знаю лишь, что ты не со мной и не здесь.

Нас накрыла с тобой череда разлук,
Между нами легло стопицот дорог.
Кто целует теперь твои пальцы рук?
И при этом стрижет тебе ногти ног?

Сторонюсь я с детства красивых фраз,
И во мне гражданин сильнее, чем поэт,
Но отдал бы жизнь, чтоб увидеть хоть раз
В запыленном окне твой родной силуэт.

Я покурю еще, а ты приляг,
Прикрой глаза и поминай как звали,
Тот наш с тобой томительный медляк
В облупленном алушкинском курзале,

Куда, на входе приплатив чуток,
«Хирсы» пузырь смогли мы притаранить.
Как ты сказала? Маленький цветок?
Да, точно он. Ну, у тебя и память.

А я уже не помню ни черта,
Ну, разве если только «Кукарачу»,
Как, как еще раз? Та-ту-та
Та-та- ту-та. Блять, я сейчас заплачу.

Григорий БЕНЕВИЧ

Д Р У Г И Е

Общежитие

Немец кушает морковь
Ежедневно и по многу,
Разгрызая ее ловко,
И зубам его не больно.

Немец... Впрочем, он не немец,
Он австриец, он из Вены,
Но сидит немой как немец,
Ест морковь постоянно.

Мне ж не по зубам морковь,
То есть и не по карману,
И не по здоровью: десна
Слабые и зубы – старые.

Да, и мне бы каротину
Не мешало б, но полезней
Мне его не ненавидеть,
А любить того австрийца

Научиться, того Ганса,
Белобрысого арийца.
Хоть мешают ленинградца
Десны и мое еврейство.

...

Так за что ж здесь ухватиться?
Полюби его... Морковку
Вон как ест, не подступиться,
Полюби его, попробуй!

Если б это был индиец
Добрый, или был эстонец

Григорий Беневич родился в 1956 году в Ленинграде. Закончил Ленинградский политехнический институт; в 1994-1995 годах учился на теологическом факультете Оксфордского университета. Кандидат культурологии. В советский период был автором самиздатских журналов «Обводный канал», «Часы». Стихи и статьи публиковались в журналах «Нева», «НЛО», «Звезда», «Волга», «Новый мир», «Интерпоэзия» и др.

Бедный... полюбить не диво
Их, хоть чем-нибудь подобных.

Здесь же... Только так, д р у г о г о
Встретив, и поймешь, что легче,
Кажется, чтоб был врагом он,
Чем вот так морковку ел бы.

...
Может от того и войны,
Что мы, люди, не выносим,
Когда для других не больно
То, что нам кровавит десна?

Тогда в качестве зацепки
Выступает то, что в прошлом
Их, как мы считаем, предки
Виноваты в крови наших.

Так, с неразделенной боли
Начиная, переходим
К ненависти мы, от крови
Собственной – к пролитью крови

В землю общую как в чашу
Общую – взамен причастья
Крови с плотью, нас, болящих
Исцеляющих от страсти.

Оксфорд, 24.01.95 (общезитие)

В том-то и дело,
что, пока у нас –
гоев и изгоев –
у кого – Антипасха,
у кого – Красная горка,
нацмены (вспоминая словцо
покойной бабушки)
мастрячат евроремонт
у нас в подъезде,

красят, зацепившись за крышу,
очередной фасад
северного модерна –
под халяльную музыку
налаживают Европу.

Так, может, уже преодолены
Оппозиции
иудеев и язычников,
варваров и скифов?..

Триптих о родных и чужих

1.

...Ну, а живущие здесь веками,
не отчуждены ли от языка, не

только насильем властей,
но и тиранией своих страстей.

Ведь чтоб язык был и вправду родным,
быть должен
родным
тот, с кем мы говорим.

Нынче же и по крови родные
часто для нас совершенно чужие.

Что же тогда говорить о чужих,
может ли быть с ними общий язык,

не говоря уже о культуре,
архитектуре и литературе?

Мы нелюбовью отчуждены
от языка, от земли, от страны.

Может, затем и нужны нам чужие,
чтоб нелюбовь навсегда мы изжили,

встретившись, и поняв, что пока
нету родного у нас языка,

коли не можем мы как родных,
хоть и других, приветствовать их.

2.

Встреча с другими (тавтология)

Узбек? Таджики?
Смуглое на лимонном

Веник, совок
– Здравствуйте, – говорю.
– Здравствуйте,
не отрываясь от мусора.
Ниже по лестнице
пожилая
узбечка? таджичка?
Может быть, мать?
Смуглое на лимонном.
– Здравствуйте!
– Здравствуйте!
Каждый кусочек перил
тщательно протирает.
– Спасибо, – говорю, – Вам за работу!
Поднимает глаза:
– Здоровья Вам!
– И Вам тоже здоровья!

3.

И при каждой подобной встрече
мы как будто проходим тест –

есть ли в Родину нашу вечную
пропуск жителю этих мест.

И – живем ли сейчас на Родине
среди близких мы и родных,

или в рабство «в Россию» проданы
и боимся людей чужих?

Евхаристия

Что Евхаристия есть таинство Другого,
Поди попробуй докажи,
Когда нет опыта такого,
А есть одна и та же жизнь,

В которой нечем удивиться,
И так живешь в себе самом,
Даже когда выносят причаститься
Дары Другого, память о Другом.

2015

Хесед

На улицу Милосердия
в конце советской эпохи,
не зная того и этого,
ходил я к Зое Эзрохи.

Была мне старшей сестрой она
и ангелом сферы «хесед»,
но это сейчас я понял,
задумавшись о том месте,

что недалеко от Карповки,
с ее обителью чудной,
тогда закрытой, но, кажется,
действовавшей подспудно.

Была мне старшей сестрой она,
моей сестрой милосердия,
и умягчала расстроенное
и черствое мое сердце

с собакой Альмой и кошками
в убогом своем жилище,
где столько было хорошего
и пищи для духом нищих.

Голос Другого

Молодость эгоцентрична –
даже лучшего друга
слышишь не как Другого,
а как другого себя.

То есть вовсе не слышишь.
К зрелости понимаешь,
до чего вы другие...
Что же сближало вас?

Только где-то под старость
открываешь внезапно
в старом друге Другого,
слышишь голос его!

Разная оптика

У каждого
своя оптика.

Прежде всего,
замечают
своих
и свое.

Опираясь на трость, –
людей с тростью.

Оставшись
без переднего зуба, –
щербатых.

Еврей (в галуте) – еврея
(словно бы это
отметина или травма).

А вот, художник,
или созерцатель идей...
У них ведь тоже
у каждого
своя оптика,

но как-то по-другому,
в каком-то другом смысле:

видят то,
что не замечали
или не смогли
увидеть другие,
и так,
как не видел
никто.

Мир сузился до ближнего двора,
в котором все уже воспето –
и это дерево, и это,
но вот же – встретил здесь с утра

двух ангелов Другого чернокожих,
великолепной снежной зимой,
и мир расширился на всю планету мой,
и сердце отпустило... Боже! Боже!

декабрь 2021

Анна МАРКИНА

РАССКАЗЫ

Рыба моя рыба

*

- Людмила Николаевна, саня на этой неделе не придет в школу, у нас бабушка умерла
- Арсений, примите мои соболезнования...
- Мы домашнее задание постараемся сделать
- Хорошо. Держитесь!
- Спасибо Вам!

*

- Людмила Николаевна, здравствуйте! Можно мы эту неделю тоже пропустим? У сани похоже психотравма, не хочет выходить из дома(((
- Арсений, добрый день! Я вам очень сочувствую, но по семейным обстоятельствам можно пропустить не больше недели. Вас нет уже десять дней.
- Ну что я сделаю, если он не выходит из комнаты! Силой его тащить?
- Тогда нужна справка от врача!
- Так он же не болен.....
- Арсений, либо приходите в школу, либо несите справку!
- Хорошо, понял. Спасибо!

*

- Арсений, Саши опять не было в школе
- Он сидит у аквариума и укусил меня!
- Укусил??
- когда я его утром пробовал вытащить из дома....
- Это на него не похоже. Он же очень спокойный.
- Я же говорю, у него травма
- А почему он сидит у аквариума?
- Он считает, что там бабушка...
- ???
- Думает, что бабушка стала рыбой...
- Так.
- я не знаю, что с ним делать и сколько это продлится
- А вы пробовали с ним говорить о смерти?

Анна Маркина родилась в 1989 году. Окончила Литературный институт им. Горького. Публикации стихов, прозы и критики – в «Дружбе Народов», *Prosodia*, «Интерпозиции», «Юности», «Новом Береге», «Крещатике» и др. Автор трех книг стихов и повести для детей. Главный редактор журнала и издательства «Формаслов». Живет в Люберцах.

– Я ему сто раз говорил, что бабушки больше нет. Он не верит. Говорю, мы ее похоронили, положили в землю. А он такой мы тело положили в землю а не душу а душа теперь в рыбе(((

– Так.

– ...

– Я посоветуюсь и напишу вам завтра.

– Хорошо! Спасибо!

*

– Арсений, добрый вечер! Как вы там?

– Добрый вечер, Людмила Николаевна. Сегодня врача вызывали, справку не дали. Извините нас, пожалуйста, не знаю, что делать.

– Что врач сказал?

– что Саня симулирует. Наорала на него, потом на меня.

– Вот сволочь! А вы что?

– Ну я ей сказал, что это она врачебную деятельность симулирует и что мой сын просто очень любил бабушку. Она же у него была вместо мамы, фактически...

– Ох.

– Может, психолога ему в интернете поискать?

– Так он справку не даст, наверное. Надо на прием куда-то везти... Буду думать.

– Я вот что хотела предложить, пока ищите психолога. Мы тут с Ольгой Николаевной и Марией Степановной посоветовались... А если рыбу просто с собой носить?

– в смысле?

– Раз он не хочет ее оставлять, пусть берет с собой. Некоторые дети же приносят в школу игрушки. Пусть Саша приходит с аквариумом. Он постепенно адаптируется, с ребятами начнет общаться... и потом в себя придет. Ему главное сейчас помочь пережить горе. С другими людьми, а не в четырех стенах.

– я даже не знаю, аквариум тяжелый

– Ну, может, походный вариант купить...

– я подумаю, Людмила Николаевна, спасибо Вам огромное!

– Вы не волнуйтесь, все встанет на свои места. А мы Саше обязательно поможем справиться.

– спасибо!!!

*

– Людмила Николаевна, доброе утро, Вы гений!! Саня согласился пойти в школу!

– Сам? Или с аквариумом?

– с крючком, да

– Крючок?

– крючок, это наша рыба...

– Ааа...

– У меня как раз отпуск заканчивается. Я заказал переноску для рыб

– Ура! Вот увидите, общение с ребятами Саше поможет. А что, бывают специальные переноски для рыб?)

– такой пластиковый контейнер с ручками, с дырочками и дверцей вверх))

– Ого! Когда теперь в школу?

– послезавтра точно будем!

– Хорошо. Я лично прослежу за классом, все объясню, не волнуйтесь

– вы спасительница!!)))

– Вы ему только скажите, чтобы он про бабушку не очень распространялся...

*

– Людмила Николаевна, добрый вечер! Извините, что постоянно дергаю, просто саня мне ничего не рассказывает. Как все прошло?

– Арсений, добрый вечер. Вроде неплохо. Он ребятам показывал рыбку, все ее разглядывали. Только он, действительно, от нее не отходит. Все носятся на перемене, а он в классе сидит((

– Как вы думаете, это надолго?

– Я же не психолог. Но думаю, скоро пройдет... должен же он переключиться на одноклассников. К тому же ему нравится одна девочка, может быть, это как-то подстегнет.

– Да? Что за девочка?

– Таня Пшеничкина. Тоже рыбами увлекается.

– хорошо, а то я завтра возвращаюсь на работу, времени почти не будет

– Ок

– мне только его возить постоянно придется в школу и из школы, а то боюсь Крючочек замерзнет, холодно

– Арсений, вы со всем разберетесь

– Извините. Я наверное вас отвлекаю?

– Я на концерте

– Извините и спасибо! Хорошего вечера!

*

– Арсений, вы где? Саша уже целый час сидит в классе один, уроки давно закончились.

– не могу приехать на работе

– А что с ребенком делать? Это уже не в первый раз!!!!

– людмила николаевна не могу говорить скоро освобожусь

– Мне, что ли, вашего ребенка домой вести? Вам не стыдно?

– ...

– людмила николаевна, простите, пожалуйста, не могу вырваться сейчас. Пусть сам идет домой, там 7 минут пешком.

– А рыба не замерзнет?

– ну пусть быстро идет, накройте ее чем-нибудь, я не знаю

*

– Людмила Николаевна, с 8 марта! Спасибо вам за все!))

– Спасибо

– Я купил утепленную сумку и контейнер поменьше, чтоб в сумку умещался) Еще стенки пенопластом обложил) Теперь можно так носить. Так что саня теперь сам будет приходить и уходить

– Ок

*

– Арсений, добрый вечер! Как Саша?

– Я пока на работе, но вроде как обычно...

– Восемь вечера уже...

– кто-то должен оплачивать психолога...

– Он вчера сильно расстроился?

– А что было?

– Вы бы с ним почаще разговаривали! Он вчера попросился на урок труда вместе с девочками. Сказал, что будет учиться шить и что хочет стать модельером. Принес кусок ткани, сел за первую парту и стал вырезать из ткани кружки, а из них делать цветы. Все стали его дразнить, что он ведет себя как девчонка. Потом к нему Таня подсела и стала помогать ему эти цветы пришивать к сумке. А потом он сказал Тане, что в этом платье умерла его бабушка и что после смерти ее душа

переселилась в рыбу. И Таня тогда запищала, побежала мыть руки и всем стала рассказывать, что у Саши «кукуха съехала». Я это только потом узнала, когда он уже с уроков ушел.

– ((((((Может, он хоть теперь выбросит эту идею из головы?(((Сколько можно уже – два месяца

- Ну он же не специально, это защитная реакция.
- Не знаю. Мне кажется, он все понимает, просто так привлекает к себе внимание
- А психолог не помогает?
- да шарлатаны они все
- Ну вы, в общем, с Сашей поговорите
- ок

*

– Людмила Николаевна почему мой ребенок пришел домой весь в грязи и с разбитой губой? Его что бьют в школе? Почему вы не следите за классом?

– Арсений, вам чуть позже позвонит директор, когда вернется.

– ...

- Возьмите трубку!!!!!! Объясните мне немедленно, что происходит!!
- Арсений, у меня урок. Я не могу все свое время посвящать вашему сыну «с особенностями».
- ну сказать-то мне, что его обижают, вы можете?
- Я вам говорила.

– вы говорили, что над ним девочки смеются, а не то, что его избивают

– Над ним все смеются! а вы как думаете, четыре месяца ходит с аквариумом и говорит, что в нем живет умершая бабушка. Вы представьте, какую эту реакцию вызывает

- а бьют-то его за что?
- Это он набросился на старшеклассников.
- в смысле? Саша не может ни на кого наброситься, вы о чем!
- Насколько я поняла, над ним решили пошутить и позвали с собой за школу курить. Один старшеклассник сказал, что у него тоже бабушка умерла и что это помогает...

– курить??? в таком возрасте!?

– И они вначале дали ему сигарету, а потом стали спрашивать, правда ли, что он считает рыбу своей бабушкой. А потом отобрали у него сумку и стали тушить окурки в его контейнере. И он тогда набросился на самого старшего и расцарапал ему шею и лицо... Еле оттащили. Тот, на которого Саша накинулся, разбил об стенку контейнер, а сумку забросили за забор. Но Саша успел спасти рыбу – он ее подобрал и побежал в столовую за водой.

– ужас

– Директор пока что в отъезде, но все виновные будут наказаны. Такого больше не повторится!

– Конечно, не повторится. Я ему сейчас объясню, где раки зимуют...

*

- Все. Завтра придет без рыбы.
- Наконец! Вы с ним поговорили?
- Поговорил.
- Ну хорошо.

*

– Арсений, простите, что беспокою ночью, но я никак не могу заснуть. Скажите, пожалуйста, с Крючком все в порядке?

– не совсем

- Что вы сделали?
- я его сварил
- Вы его сварили?
- да
- Зачем вы его сварили?
- Я сразу сказал либо ты перестаешь придуриваться, либо я сварю эту чертову рыбину. Он не перестал придуриваться.
- ... что с Сашей?
- Сказал, что ненавидит меня. И что нас всех самих надо сварить.
- Вас точно.
- встретимся на дне кастрюли, Людмила Николаевна
- Если он опять откажется ходить в школу, то нужна будет справка от врача.
- ок

Вышивальщик

Он просыпался в девять, когда похолодевшее к осени солнце укладывалось на пустую сторону кровати. Ставил чайник на кухне, напоминавшей однопалубный корабль в игре в морской бой. Раньше, бывало, они с Дятловым щелкали карандашными выстрелами в ожидании вызовов, а теперь любое действие ощущалось как бумажный выстрел по случайной клетке. Чайник с опаленным дном, пластинами накипи, дрейфовавшими внутри, и расплавленной крышкой доживал свой век. Норкин никак не мог заставить себя выгнать калеку из квартиры из-за ощущения какого-то с ним родства по дожитию. Хотя жизни после пятидесяти четырех оставалось не так уж и мало, Норкин уже со скукой глядел на ее остаток, как на куций старособачий хвост, который, как ему представлялось, уныло волочился по холодной земле и совсем уже редко подскакивал от восторга.

С тех пор как Норкина уволили из ЖЭКа и оставили заведовать домовыми трубами Дятлова, Василию жизнь окончательно разонравилась. Он и раньше не отличался щенячьим жизнелюбием: говорил мало, и в основном так, что дамские уши сворачивались в трубочку, ходил ссутулившись, но быстро ко всему привязывался – прилеплялся, как на «жидкие гвозди». И тогда из-за стены его молчания выглядывала коренастая нежность к миру.

С нежностью он наматывал лен на резьбовое соединение полотенцесушителя. С заботой снимал облупившийся радиатор, чтобы хозяева могли выкрасить стену в модный вишневый цвет. С теплым удовлетворением шерудил толстой проволокой в сливе и разбирал над тазиком сифон, изрыгавший вонючие черные комки из пищи и жира, пока соседка в красном халатике, из выреза которого полная грудь высматривала новые возможности, хлопала в ладоши и совала ему несколько сотен на «добавку к чаю». И с тихой страстью, которую уж не было возможности применить к живому существу, он шел в магазин за этой самой добавкой и вместе с Дятловым раздавливал ее в однопалубной однушке, где он уже много лет был себе и шкипером, и рулевым, и юнгой, и оттого потерял всякое представление о своей личности.

По воскресеньям звонила дочь. Разговоры выходили суховатые, так как Василий в основном сурово молчал и слушал; только иногда спрашивал с надеждой, не сломалось ли что в ее доме, не заметна ли какая течь, чтобы обрести предлог для встречи. Но дочь обижалась и говорила, что все у них в порядке и непонятно почему он думает о них исключительно как о рукожобах. Иногда Норкин мыслями зарывался совсем уж в обидные дали и полунамеками выяснял, не дал ли течь ее брак, нормально ли функционируют дети – делал это только из любви, из вечного ожидания возвращения дочери в родную гавань, но она еще больше обижалась и сухо прерывала разговор, сославшись на семейные дела.

Недели между звонками тянулись как двести раз пережеванная жвачка, давно потерявшая вкус. Скрашивали бледное время только вызовы соседей, привыкшие к норкинской сантехнической поддержке. Но все больше обращались с ерундой: засоры да подключение бытовой техники.

В этот раз дочь позвонила утром – чайник приветствовал ее веселым свистом. Погода на дворе стояла веселая, деревья выстроились за окном напомаженные, с высокими кудрявыми прическами, как у соседки Лидии Григорьевны, у которой вид был такой, будто она дошла до нас из екатерининских времен, засахарившись в пудре и пыли. Воздух был простодушный, мягкий и поддерживал румяную осень под локоток. Дочь сообщила о своем хорошем настроении и, поскольку отец еще не успел толком проснуться и наговорить неприятного, предалась воспоминаниям о детстве, в котором было хоть и небогато, но очень даже, как она сейчас поняла, ничего. Были у нее и куклы, хоть и не такие, о которых она мечтала, и целый караван вырезанных из дерева отцом верблюдов, и вышиванье:

– Ты помнишь? Там же целые картины... цветы и домики...

– Куст был. С розами, – кивнул Норкин, который года два назад вышивки раскопал и в деревянных рамках повесил на стены.

– И животные какие-то были... – вспоминала дочь.

– Дельфины, – Норкин проскакал взглядом по стенам, – и жирафы.

– Ага. И еще какую-то большую картину я начала, но так и не закончила, мы с мамой съехали как раз... Наверно, потерялась, – задумалась...

– С ребенком, что ли?

– Ты помнишь?

– Ну! – у Василия сердце застучало быстрее оттого, что он наконец смог угодить.

– Ооо! Вот бы ее закончить! А нитки остались? – обрадовалась дочь.

– Все есть.

– Папа, давай я к тебе через недельку заскочу? Ты мне все сложи; я заберу, хорошо?

Она не была у него года четыре и редко называла его «папой». После разговора он тут же кинулся к шкафу, извлек шитьевой набор с нитками-мулине, пальцами, иглами и канвой, разложил перед собой схему и пожелтевшую от времени ткань с начатым рисунком. Вышит был только верхний уголок. Норкин подумал, что дочь, наверное, расстроится: слишком мало сохранилось от ее труда и воспоминаний. Будто от двенадцати лет их семьи, от целого океана осталась одна кружка воды, а все остальное иссохло. Он и не заметил, как засел за вышивание. На схеме мать держала младенца.

Так он провел два дня. Вызовов не поступало. К вечеру понедельника пришел Дятлов. С Дятловым установились военно-дружеские отношения. Тот не заслуживал своего места: бессмысленно мельтешил руками-крюками, все у него подтекало, ржавело, расходилось, поэтому Норкин встречал его как захватчика. Но после некоторых матерных реверансов и просьб оставить в покое, Василий сдавался, размягчался и садился слушать дятловские жалобы на жизнь.

Плохо у Дятлова было все и всегда. Зарплату задерживали, жена притесняла и не давала простора, гримзы из ЖЭКа что-то замышляли против него, змеили коварные речи, соседка Маруся, пока он прикручивал ей фильтр вчера, рыдала в салфетку из-за отсутствия детей.

– Есть же у нее этот дрыщ, вот в него бы и причитала, а в меня за что? – обиженно буровил Дятлов, вытаскивая из-за пазухи бутылку водки, как замерзающего котенка.

Норкин пошерудил в холодильнике и извлек два яблока и заплесневелые останки сыра.

– Ну, бахнем, – кивнул он.

Опрокинули рюмки. Показалось, что после первой внутри наступило лето. Василий поприотвествовал в себе тепло и пожалел Марусю за бездетность, заодно рассердившись на нее за то, что вызвала Дятлова, а не его.

К концу бутылки Дятлов раскоординировался и уронил свое размягченное тело на комнатный диван. И на тумбочке приметил «Мать с младенцем», из которой недвусмысленно торчала нитка с иглой.

- Это што? – спросил он, подняв вышиванье за уголок над собой, как кусок гнилой картонки.
- Ничего. – Норкин попытался выхватить женщину с младенцем.
- Это ты, что ли, так? – Дятлов далеко вытянул руку, вгляделся в рисунок и заржал. – Ниче се.
- Верни, сука, – прошипел Норкин.
- Да че ты!.. – продолжал хохотать гость. – Нормально так.

Василий выдернул наконец свое тканевое достояние из варварских рук:

- Хрен кукурузный, – просвистел он сквозь зубы.

После молчания Дятлов заметил, бросив взгляд на бутылку:

- Кончилась, сволоочь.

Похлопали по карманам, прояснили общее безденежье.

- А давай мы эту твою из ниток Маруське толкнем? – придумал пьяный Дятлов.

- Это для дочери...

- Так ты ей еще забубенишь!

- Да Маруська не возьмет. Зачем ей?

- Ну вдруг... за бутылку-то?

Два раскаченных тела извлекли вышивку из пялец и спустились на второй этаж. На писк звонка из дверей вынырнула облепленная картофельным запахом, растрепанная домашней жизнью женщина в линялом платее.

- Маруська, ребенка хочешь? – с порога в карьер шатнулся Дятлов.

– Вы что! – расстроилась Маруська из-за грубого копошения в ее мечте. – Полдень еще только, а вы уже как нелюди...

Норкин перестал слышать в себе китовье-океаний звон, и теперь, когда он почувствовал, что растолкал чужое горе, к пьяной пустоте примешался стыд.

- На вот, – запихнул он неоконченную вышивку в белые руки. – Это тебе.

Маруська развернула ткань, и от растерянности у нее набили слезы в глаза.

- Что это?

- Это твой ребенок, – смешавшись, бухнул Норкин, разворачиваясь для подъема домой.

- Это что? – растерянно повторила женщина, и несколько слезинок прыгнули на ткань.

– Да чего ревешь-то? – сказал Дятлов. – Это вон Васька все – сам. Чтоб у тебя все хорошо было.

Маруса продолжала непонимающе молчать.

- Пошли, – потянул Василий напарника за собой.

- А отблагодарить-то? – пробурчал Дятлов.

- Пошли, тебе говорят...

Когда они поднялись в однопалубный корабль, Норкину стало так горько и печально, что он вытолкал Дятлова за дверь и рухнув в кресло заплакал, размазывая кулаком слезы по щекам.

Румяная осень бледнела с каждым днем. Наплывали туманы. Наскакивали дожди, сбивали цветные рюши с пышного платья природы. Обшитые белыми инеем, трепетали на ветру сердца осин. У окон дежурила сонная тишина, прикрытая телевизионным бормотаньем. Он вышил картину заново, но дочь в выходные не приехала. У нее засопливели дети. Потом всей семьей ездили на рынок пополнять запасы. Потом старшему строгали какую-то декоративную доску на труды. Потом сломалась машина. Потом Василий перестал спрашивать и прятал пакет с нитками в дальний угол шкафа.

Он просыпался в девять, плелся на кухню, заваривал чай, ходил на вызовы и ждал выходных.

Однажды, когда снежная мошकारа облепила деревья у дома, Норкин распахнул дверь и обнаружил за ней Марусю. Она изменилась: как будто подступившая зима выбелила ее картофельную кожу, присыпала серебром серый взгляд и как-то ее всю подсветила изнутри. Она протянула ему два больших черных пакета и выдохнула:

- Сбылось, Василий Иванович.

Василий посмотрел на нее непонимающе.

– Уж не знаю, как это так, может, это и не вы, конечно... Но мы пять лет пытались. Врачи сказали – без шансов. И вот...

– Чего?

– Чудо, наверное, не знаю...

– Беременна, что ли?

– Ага. Это из-за вас? – она опять протянула ему пакеты.

– Да я-то что... – он почесал затылок. – Ты извини, что тогда так. Очень мне стыдно...

– Это все-таки вы! Берите, устала держать уже, – Маруся поставила пакеты к его ногам.

– Это что?

– Всякое там, отблагодарить. Спасибо вам, Василий Иванович.

– Да ну...

Он долго сидел в задумчивости на кухне, наблюдая за мелким снегом. На столе громоздились две бутылки коньяка, колбасы, сырные треугольники, банки красной икры, конфеты, консервы, чай. И новый шитьевой набор.

Для осмысления произошедшего был вызван Дятлов. Дятлов ел икру ложкой, пил коньяк полустаканами и прицокивал языком.

– Вот баба уверовала... Соображения как у капусты! – качал головой Норкин.

– Екарный смех, – кивал собутыльник.

Открыли банку с соленьями.

– Домашнее, – сказал Дятлов.

– А вдруг правда? – подумал Норкин. – Вдруг, правда, сбылось...

– Да ну тебя, – махнул рукой Дятлов и хрустнул огурцом.

– А вдруг. Давай проверим. Ты чего-нибудь загадай, а я вышью. Ну так... в общих чертах. По-быстрому.

– А давай нашу! – расхохотался Дятлов.

Василий раскопал в шкафу пяльца и за пятнадцать минут на краешке, оставшемся от второй матери и младенца, сообразил что-то, отдаленно напоминавшее бутылку. На всякий случай добавили прямое указание косыми стежками («ВОДКА»).

Через полчаса опять загудел звонок. На пороге стоял Марусин дрыщ.

– Василий, меня жена отговаривала... Но я подумал: чем черт не шутит. Может, вы нам еще колясочку вышьете двойную? А то фиг найдешь у нас.

Дятлов высунулся из-за двери:

– А благодарность?

– Так не постоим, – обрадовался проситель. – Сейчас. – Он перескочком через ступеньку направился вниз и скоро вернулся с двумя бутылками. – Вот!

Затворив дверь, поставили бутылки на стол и сели друг напротив друга.

– Однако... – сказал Дятлов.

– Ты... – протянул Норкин, – никому не говори только.

– Совпадения же... – протянул Дятлов.

Утром у дверей образовалась Лидия Григорьевна, припорошенная пудрой времени. Сверкая черными глазами, она гаркнула, как ворон, и стукнула об пол тростью для убедительности:

– Молодости!

Василий соседки побаивался и от замешательства, не спросив, плеснул ей и себе коньяка. Лидия Григорьевна рюмку опрокинула, вавилонская башня прически на ее голове качнулась от удовольствия.

– Сделаешь? – нетерпеливо спросила она.

– Как же я вам сделаю молодость? – удивился Норкин. – Это же не коляска. Это не получится.

– А вот! – Лидия Григорьевна полезла в карман черного пальто, похожего на воронье оперение, и вытащила аккуратно сложенную вчетверо бумагу.

Это была схема вышивки с черноволосой красавицей.

- Один в один я пятьдесят лет назад, – объяснила старуха.
- Не получится, – отрезал Василий.

Тогда гостя вытащила из другого кармана бумажный сверток:

- На.
- Что это? – насторожился Норкин.
- Десять пенсий.
- Да хоть двадцать, Лидия Григорьевна. Молодость не сбудется.
- А ты вышей, а остальное уж мое дело. Вышить-то можешь?
- Вышить я могу, но говорю вам – вы не сможете помолодеть на пятьдесят лет. Так не бывает.
- Я знаю, – кивнула упорная старуха.
- Ну а зачем тогда?
- Это с запасом. Хоть бы десяток сбросить. Думаешь, я ради красоты? Да бог с ней. Спина болит. Так, будто в меня гвозди забивают, как в крышку гроба. Вышей, Василий! Ну что тебе?

Василий растрогался:

- Ладно. Но деньги вы заберите... не надо мне.

На двух матерях с младенцами Норкин руку набил, но черноволосая красавица была большая – сидеть не меньше недели. Да так ему жалко стало старуху, что тут же он сомкнул пальца на белой ткани и крестик за крестиком стал выводить портрет. В конце концов, раз ей так легче... Молодость, ясен пень, не сбудется. Но что есть возраст, как не вера в него? Он вышивал и вышивал. Казалось, что не нитка вдета в иголку, а накопившаяся в Василии нежность.

Приходили другие соседи, малознакомые. Одни просили машину, другие – найти кота. Машины Василий отверг по причине поверхностности желания. А на кота согласился.

Хоть и не верил в спасение кота посредством его вышивания, чтобы успокоить хозяев, Василий на всякий случай записал в блокнот окрас и кличку и, поскольку кот мог замерзнуть в зимнем дворе, сразу вышел его по «бутылочной технологии», то есть как попало, на глаз, и подписал стежками: «Кот Арсений».

После засел за заказ Лидии Григорьевны. Ему снилось, как в старушкину спину вбивают гвозди, и он просыпался среди холодного рассвета, включал настольную лампу и складывал черную нитку пополам.

Когда снова вышел из квартиры, обнаружил на лестничной клетке небольшую очередь смущенных людей, которые сказали, что ждали начала его рабочего дня.

– Я еще утром поняла, что ты закончил, – сказала соседка, принимая готовую работу. – Простулась, и не болит почти. Последние недели так болело, хоть вой. Да что сделаешь, когда старость. А сегодня будто снег в душе включили – всю боль заложил.

Норкин выпил чаю в гостях, еще раз отказался от денег, но от продуктов и бутылки отказываться не стал. И вернувшись в свой подъезд обнаружил, что очередь удлинилась.

- Можно? – спросил его робкий голос.

- Заходите, – коротко кивнул Норкин с видом высокопоставленного врача.

Просили вещей самых обычных и самых невероятных. Просили собственной зарплаты, которую задерживали, просили выиграть тяжбу с теткой о наследстве, опять просили найти кота, так как первый кот, Арсений, обнаружился в подвале и его имя передавалось из уст в уста, просили любви, просили стиральные машинки, холодильники, компьютеры, ремонт, звукоизоляцию, путевку на Кипр, поездку на Дальний Восток, домик в деревне, смену в лагере, одна девочка просила, чтобы родители разрешили морскую свинку, просили исцеления от разных болезней, выигрыша в лотерею, опять найти кота, найти собаку, найти машину... С ремонтами, наследством и машинами Норкин прогонял сразу.

О звукоизоляции просили из-за маленького ребенка, которого будила музыка и молодежно-лошадиное ночное скаканье соседей, так что Василий сжалился. Правда, не смог придумать, как должна выглядеть звукоизоляция, поэтому просто крупными стежками на обрезке написал «ТИШИНА». Потом владельцы тишины пустили слух, что звукоизоляции так и не дождалось, со-

вершенно разочарованы «этим Норкиным» и веры ему нет, сплошное вымогательство. Нашлись еще обиженные, обвиняли во всех тяжких, чуть ли не в том, что «вышивальщик» сам угоняет машины, а потом их «находит» на обочинах.

Как-то Норкина подкараулил Маруськин дрыщ:

– И где коляска? – рассерженно то ли спросил, то ли потребовал он.

Василий складывал в пакет только что пробитые в магазине средство для мытья посуды и порошок.

– Коляска будет? – не унимался дрыщ.

Норкин весь поджался, как заяц перед убегающим, потому что понятия не имел, будет коляска или нет.

– Ты чего пристал? – заступился мужик с такой из очереди. – Купи коляску и будет тебе коляска. Нашел на что дар тратить!

– Я ему заплатил.

– Да что ты наваливаешь?! Он денег не берет, это все знают! Ну-ка двигай отсюда.

И дрыщ ретировался.

Но слухи о «даре» даже с волнами вперехлест все расползались, как океан надежды.

Камчатский вулкан и деревенский домик Василий вышил ради интереса – через месяц немно-го приелось вышивать котов и нездоровые человеческие органы.

С болезнями было особенно сложно. Люди бухались на колени, целовали руки. Он предупреждал, что надо лечиться, а не вышиваться, что его силы сугубо человеческие, но его не слушали. Как и с Лидией Григорьевной, он сдавался, видя нужду в поддержке и вышивал «сердце Елены», «желудок Федора», «память Константина».

Больше его не звали чистить засоры и ставить раковины – дорожили чудотворными руками. Прослышав, что деньгами вышивальщик не берет, таскали продукты под дверь, сваливали огромными пакетами на лестнице, так что запасов на Норкинском одиноком корабле уже хватало на прокорм целой африканской деревни. Он стал отдавать еду просителям.

Помимо болезней, Василия трогали просьбы о любви.

Он вспоминал себя, свою жизнь с холодной женой. Как грудились дворовой компанией возле лавочки, щелкали семечки, пили пиво, и как она громко смеялась и бормотала, как будто бы заговаривала разбросанные вверх камешки звезд; он молчал, а она сидела рядом, потом сидела у него на коленях, обнимала шею морозными руками. Ей нравилось, что ее кто-то слушает, ведь до этого не слушал никто: ни своенравные подружки, ни прокопченная на трудной работе мать, ни учителя, требующие дифференциалов, ни другие парни, которые сами смеялись и бормотали и сами обнимали ее. И размякнув оттого, как он крепко приклеился к ней, как он многозначительно смотрел и терпел любое ее слово и смешок, она вышла за него, но скоро начала скучать, ведь на самом деле не любила ни молчания, ни терпения. А когда появилась дочь, заполнившая собой все жизненное пространство, отнявшая внимание, жена стала совсем далекой. Утром молчала, днем пропадала на работе, где-то гуляла по вечерам, а по ночам отползала на самый краешек кровати, засыпая там, будто бы над бездной. Он любил дочь, как первый снег, – всегда ясную, всегда разную, желанную после осенней серости. Он купал ее, вырезал ей верблюдов, водил в сад, а потом в школу, решал с ней уравнилки, хотя они ему тяжело давались. Он любил жену, которая лежала рядом как маленькая льдинка, источавшаяся от его тепла. Так тянулось двенадцать лет – от морозных звезд к ледниковому молчанию. А потом вспыхнул у нее другой мужчина, с которым можно было говорить, у которого была интересная работа и который прогнал ее с дочерью через полгода. Но к Василию она больше не вернулась – слишком тяготной казалась ей прошлая жизнь.

Поэтому всем просившим любви Норкин сразу вышивал небольшое сердце со стрелой Амура, перерисованное из девичьего журнала.

Когда снега окружили дом, а ветер трубил о сумрачных днях, раздался особый звонок – долгий и тревожный. Это был звонок не просящего, а приказывающего. Норкин открыл дверь, и в нее вошли трое в костюмах. Главный – широкий, как русское поле, с румяными рассветными ще-

ками, в отутюженной рубашке, из-под которой выглядывала тяжелая золотая цепочка, – грохнул на стол дипломат. Дипломат был набит деньгами.

– Это что? – не понял Норкин.

– Это за работу, – объяснил помощник щекастого.

– Я не беру денег.

– А что берешь? – спросил главный.

– А вы с чем пришли? – спросил Норкин.

– Походу с тюрьмой, – сказал щекастый, – мы там с одним делом под камеры попали.

– С каким делом?

– С таким, о котором тебе лучше не знать, – отрезал помощник.

– А от меня вам что надо?

– Надо не попасть в тюрьму.

Василий посмотрел на главного.

– И как мне вышить свободу?

– Кто тут вышивальщик, я или ты? – мужик пробуравил Норкина таким взглядом, будто дрель направил в лицо.

– Что вы от меня хотите? – упрямо пробубнил Норкин.

– Ну хоть статую Свободы, – предложил первый помощник.

– Или решетку перечеркнутую, – предложил второй помощник.

– А если не сработает? Не у всех срабатывает.

– Ты сделай. А мы уж сами разберемся.

Василий неуверенно мотнул головой.

– Красиво... – Щекастый отвернулся к окну и стал наблюдать за сходящим по темноте снегом.

– Вот что. Через неделю ребята зайдут. Если не будет готово, то мы тебя закопаем вон там. – И он показал в сторону особой красоты.

Трое ушли. Норкин крикнул очереди в подъезде, что ближайшую неделю приема не будет. Хвост очереди зашевелился и начал уползать. Руки дрожали. Он бросился к книжному шкафу и нашел какой-то старый учебник по географии. Жадно перелистывая страницы, разыскал нужный рисунок. Начал вышивать женщину с факелом и скрижалю. И только на рассвете, закончив работу, смог задремать.

Проснувшись, позвонил Дятлову. Тот явился надутый и бледный. Дятлову не нравилось норкинское возвышение.

– Ну, Гарри Поттер, звезда во лбу не погасла? – поприветствовал он.

– А меня, наверное, убьют... – ответил Василий невпопад.

После этого дятловская ревность переломилась, и он, разлив «нашенскую», стал вникать в историю. Выслушав, он задумчиво кивнул:

– Так отдай им эту статую и пусть двигают на все четыре стороны. Они же от тебя больше ничего не требуют. Ты просто отдай им, что они хотят, и все.

– А если исполнится... – протянул Норкин.

– Эээ, брат... Ладно другим голову морочить, но себе... Ты совсем больной? Знаешь, у скольких не исполнилось? Особенно про болезни. И крупные вещи не у всех. И коляски у Маруськи так и нет.

Василий понял, что друг усердно собирал досье на его чудотворную несостоятельность.

– У многих исполнилось. Они идут ко мне. Десятки людей. Благодарят.

– Да это самовнушение все и совпадения. Котенок убежал, котенок нашелся, и на тебе – чудо небесное...

– И все-таки. Вдруг они убили кого, а из-за меня у них свобода сбудется.

– Так, – подытожил Дятлов, опрокидывая четвертую рюмку. – Тут все просто. Ты жить хочешь?

– Хочу, – сказал Норкин, опрокидывая четвертую рюмку.

- Статую им отдашь?
- Отдам.

Вечером он поставил чайник-калеку и включил телевизор. В новостях передавали, что на пешеходном переходе известный бизнесмен сбил восьмилетнюю девочку. В нарезке кадров мелькнул розовощекий. Норкин долго сидел над статуей Свободы и сверлил ее ненавидящим взглядом.

Он не мог заснуть и рано утром, по темноте, поплелся бродить по городу. Колючий воздух упирался ему в лицо. Нахмутив лоб, сбоку плыла задумчивая луна. По своим маленьким делами спешили первый люди. Он прошел мимо лавочки, где жена когда-то сидела у него на коленях, мимо школы, откуда он забирал свою дочь и вел ее через дорогу, мимо спящего рынка, где торговали барахлом и жизнью. Все есть барахло, все есть жизнь – думал он. И разбухавший, словно белая вата, день уже не казался таким серым и холодным.

Была еще только пятница, но вечером позвонила дочь. Василий вначале испугался плохого, но оказалось – ничего не случилось, дочь просто хотела поболтать. С тех пор как он перестал одолевать ее своими течами и полочками и зажил какой-то неординарной и недоступной ей жизнью, все стало легче и проще.

- Помнишь, как я водил тебя в школу зимой? – спросил он вдруг. – Было холодно и темно.
- Ага, – сказала она. – Пап, я в воскресенье приеду: за вышивкой-то. Ты мне обещал – женшину с младенцем.
- Приезжай.
- А ты ее никому еще не подарил? Ты у нас теперь нарасхват...
- Она в шкафу, если что.
- Ну ты мне ее отдашь?
- Отдам.
- У тебя там, наверное, толпы людей всегда?
- Сейчас нет. Я в отпуске.
- А ты про Лидию Григорьевну знаешь?
- Нет. А что?
- В больнице, говорят, в тяжелом состоянии. А мне в детстве казалось, что она будет жить вечно.

Норкин помолчал.

- Пап, я только хотела сказать... У нас тут разное про тебя говорят. Но ты знай, что я в тебя верю... Вот. Ты же знаешь?
- Угу.
- В общем, скоро увидимся? Пока.
- Пока.

Дверной звонок настиг его на следующий день. Он впустил к себе двух помощников. Главного с ними не было.

- Ну, – промычал первый помощник.

Норкин отдал ему вышивку. На ткани вместо свободы сияло большое красное сердце.

Андрей ТОРОПОВ

Где судзуки витара, где судзуки витара. Где судзуки витара.
Митцубиси паджеро, митцубиси паджеро. Митцубиси паджеро,
В лес уходит отара, в лес уходит отара. В лес уходит отара.
Остается лишь вера, остается лишь вера, остается лишь вера.

И никто не увидит, и никто не увидит. И никто не увидит.
И никто не узнает, и никто не узнает. И никто не узнает,
Что из этого выйдет, что из этого выйдет. Что из этого выйдет.
Кто любить позволяет, кто любить позволяет. Кто любить позволяет.

После бабьего лета, после бабьего лета. После бабьего лета.
Но до первого снега, но до первого снега. Но до первого снега
Превратится в карету, превратится карету. Превратится в карету
Деловая телега, деловая телега. Деловая телега.

Бессмысленность жизни бесспорна,
Но будет у жизни конец.
Купите побольше попкорна,
Не хочет попкорна мертвец.

Не хочет ни секса, ни сердца,
Ни боли, ни даже конца.
Растите в себе страстопера,
Не ждите в себе мертвеца.

Смотрите, бессмертные души,
На наш увлекательный матч.
Победы и смерти не нужно.
Буланова Таня, не плачь.

Андрей Торопов родился в 1978 году в городе Каменске-Уральском Свердловской области. Окончил исторический факультет, аспирантуру Уральского госуниверситета, кандидат исторических наук, доцент, автор научных трудов по истории уральской промышленности. Стихи публиковались в журналах «Урал», «Дети Ра», «Зинзивер», «Новая реальность», «Воздух», «Белый ворон», «Байкал», «Артикль», «Крещатик», «Волга», «Новая Юность», «Зарубежные записки» и др. Автор четырех поэтических книг. Живет в Екатеринбурге.

Улетает зелёный фургон уходящего лета,
Дивидишка ещё нам на даче киношку покажет,
Собирают картошку и свёклу большие поэты,
«Не грусти», – кто-то близкий тебе удивительно скажет.

Это было давно, на восьмом километре, в сарае,
И довольно смешно наставлять, надевая колготки.
Видишь крюк, повиси-ка на нем, как форель золотая,
А потом возвращайся назад покататься на лодке.

Как пила воеет баба, но только не будет интима,
Полежали и хватит, пора возвращаться к картошке.
Вы читали когда-нибудь Киплинга «Кима»
Про спасение в детской нелепой киношке?

У Чехова – крыжовник,
А у меня – ирга,
Китайка и шиповник,
И прочая пурга.

Когда придут морозы
И заметет наш сад,
Ко мне вернётся в грезах
Уральский виноград.

Шипы вонзятся в душу
И сердце защежит.
Он никому не нужен,
Но любит и болит.

Защищающий Йеллостоун
Проиграет, но честь сохранит,
А поэт – удивительный клоун,
У него ничего не горит.

Он, конечно, потешит ковбоев
И застрянет навеки в веках,
Но какое оно голубое
В этих складных и сладких стихах.

А потом появляются звезды,
А потом наступает зима.

Я смородины красные гроздья
Собирал от большого ума.

Муравьи бывают красные,
Муравьи бывают чёрные.
Только люди здесь напрасные,
Удивительно позорные.

Эти карики и валики,
Даже мудрый гермогенович,
Бесполезные надалики,
Федерерики, жукевичи.

Напридумывали мании
И за ними сами бегают.
В саламандрах из Германии,
В стильном пухе из Норвегии.

Я окучиваю тяпкою,
Разбиваю муравейники.
Я все кафкаю и кафкаю
На крапиву и репейники.

Это дерево стоит зеленое,
но оно уже обречено.
Беспокойное и в свет влюбленное,
только обреченное оно.

По утрам смотрели докторхауса,
грелись от поставленных вакцин.
Во вселенной было много хаоса,
но закрой глаза и ты – один

остаешься с неизвестной вечностью
в самом удивительном конце.
Что мне делать с мягкой человечностью
В выеденном полностью яйце?

Одни люди делают счастливыми,
Но другие делают несчастными.
Ни за что не связывайтесь с ними,
Убегайте быстро от напрасного.

Дальше я начну анализировать,
Что в строфе я первой напортачил.
Но полезет сразу монплеизировый,
Потому что не могу иначе.

Получилась некая трехсмысленность,
Я её легко преодолею,
Превратив её в четырехсмысленность,
Ни о чем не плачу, не жалею.

Что стало с Черным Псом из «Острова сокровищ»?
Что Сильвер приказал – прибить или прогнать?
Второстепенный тип, ты ничего не стоишь,
Кому твою судьбу захочется узнать?

Но в книге про него – две легендарных фразы,
И без него никак до времени нельзя.
Поэтому нельзя отказываться сразу,
Раз он и Билли Бонс – бессмертные друзья.

Но бросили его, когда стал пес не нужен:
В безвестности исчез, на остров не попал.
Но если бы попал, то было бы похуже.
Один лишь автор все, что будет дальше, знал.

Как хорошо сидеть на травке
И Боратынского читать.
Козлиной песней для приправки
Себя смиренно почитать.

Как хорошо зимою с дочкой:
Коньки, ледянка, санки, снуд.
Толпа навстречу прогрохочет,
Свободу крикнуть и уйдут.

Ты знаешь, что такое счастье,
Продляешь каждый сладкий миг,
Мы путаем названия часто,
Трагично начитавшись книг.

Памяти Ж. П. Б.

Надеюсь, что издатель выживет.
И книжка выживет моя.

Мак-Наббс спокойно молвил: «Хижина»,
И мы ушли из бытия.

Разжечь очаг, согреться до смерти,
Испить походный кофеек.
Вы тоже ужинали в «космосе»
Пироженками вмятых строк.

Вы были очень рассудительны,
Входили даже в генофонд.
Но стали снова вы – язвительный,
Отбившийся подросток Бонд.

Бомону, может быть, понравилось:
Сесть в вертолет, дожить до ста.
Но все, кто умерли – поправились
И дают кофе у костра.

Каждый думает, что с ним-то
Не случится смерть никак.
Но останется лишь снимок,
Пара строчек и пиджак.

Если в нем не похоронят,
То носить его бомжу.
Я концовку профилоню,
Что устал и ухожу.

Но какой же я вам ельцин,
Спрятан снову парашют,
Лишь за мной заедут эльфы,
И с собою заберут.

Остров декабристов

I.
Здесь все как в наших треках,
Но рядом Ленинград.
И можно переехать,
Но зелен виноград.

И жизнь почти сложилась
В лежанку на печи.
Кому отдать на милость
Родные кирпичи?

И кто еще запишет,
Как Слуцкий от погонь,
Классические вирши,
Как просит Рябоконь?

Скучает одеяло
И замерзает печь.
С Финляндского вокзала
Вернуться и залечь.

И книги, и уголья
С собой не унесешь.
Прекрасные отродья
Оставишь и уснешь.

2.
Я букет Ренуара,
Наконец, рассмотрел.
Голых женщин немало,
Но и розы узрел.

Доказательство мира
И любви неземной.
Для цветов очень мило
Жить на свете со мной.

3.
Питер перед глазами
Через несколько дней,
Ешь каналы с мостами
Из тарелки своей.

Жизнь тарелкина – пытка,
Беспросветная грязь.
Небольшая ошибка,
Что случайно стряслась.

Жизнь тарелкина – польза,
Но такой не нужна,
Путь холодный и скользкий
Лучше сытого дна.

Лучше нищим поэтом
Ешь дворцы и блуждай.
Под порывистом ветром
Острова Голодай.

Октябрь 2021

Михаил ТОКАРЕВ

ДВЕ РЮМКИ ДИХЛОФОСА

Рассказ

Как-то раз меня атаковали дети. В то время мы жили с одной девушкой в районе Балашихи. И у нас завелись тараканы. Когда завелись тараканы, тогда же начались проблемы с нашей семейной жизнью. Если много тараканов, словно крошки печенья, падают на вас с девушкой, пока вы спите, всегда начинаются проблемы. Хорошо, если возможен диалог, хорошо, если одна из сторон идет навстречу другой. Но девушка, которую звали Люда, отказалась слушать мои аргументы. Было полпервого ночи, мы с ней посапывали под пуховым одеялом, лежа на матрасе. Вместо полноценной кровати у нас был матрас, мебели почти не имелось, но это неважно. У каждого свой вкус и видение того, чем наполнить комнату. Свечки по периметру нашей берлоги потухли. Дом был в аварийном состоянии, к тому же мы экономили на разных бытовых проявлениях современной жизни, типа на электричестве. Но съехать мы не могли, потому что деньги мы не печатаем. И с потолка, предположительно от соседей, стали сыпаться насекомые.

Спросонья мне привиделось, что начинается утренник в садике, что-то попало в рот, захрустело на зубах. Гирлянда, висящая на стекле для придания праздничности, загорелась. Эти лампочки пульсировали красным, зеленым и синим. Людмила имела истеричный склад характера, поэтому ее крики не вызвали удивления или какой-либо другой реакции. Она часто кричала, особенно когда я приносил не слишком много денег в конце каждой недели. Нам всем не так много платили на станции переработки пластика, но мы не жаловались. Я говорил Людмиле на ее нечленораздельные яростные крики: послушай, сегодня так, завтра иначе, все это пена дней, которая когда-нибудь рассосется, и останется ни-че-го. Она не могла от меня уйти, не знаю, как это называется, может быть, привязанность. Тем не менее, в конце каждой недели я приносил свою получку, девушка негодовала, забирала деньги, и все было нормально.

Так вот, когда в полпервого ночи случился снегопад из насекомых, Людмила закричала: дихлофос, нам нужен дихлофос, что ты лежишь как пенек?! И мне пришлось перетечь на улицу, чтобы найти дихлофос. Там, где мы жили тогда, была одна контора, занимающаяся проблемами, идентичными нашей. Они работали круглосуточно, надо было только постучать в заднюю дверь. Ребята, работающие уничтожителями крыс, комаров, термитов и прочей живности, мне нравились. Эта контора принадлежала моему начальнику. По пятницам дезинфекторы и мои коллеги со станции собирались в рюмочной. Я присоединялся к ним в те пятницы, когда Людмила была добра ко мне, добра она была очень редко.

На улице вспомнил, что забыл надеть кальсоны, но возвращаться мне не разрешалось. Люда говорила: если вернулся, значит, ты не можешь думать наперед, значит, ты дефективный. А казаться таковым – чревато лишними нервами и снижением либидо. Кому хочется казаться дефективным? Несмотря на позднюю осень, погодка навевала летние воспоминания. Как будто стрекотанье кузнечиков – гудел трансформатор. Замерзли ноги. В том районе фонари были какими-то

Михаил Токарев родился в 1996 году в Иркутске, переехал в Москву, окончил институт журналистики и литературного творчества в 2018 году, в 2020 году окончил магистратуру РГГУ. Публиковался в сетевом журнале «Литература».

не такими. Они светили, но им не хватало мощности для того, чтобы залить светом достаточные для передвижения участки улицы. Еще там были такие небольшие трехэтажные дома. Мы жили в таком же. Их аварийное состояние совсем меня не пугало, в отличие от Люды. У нее прямо какая-то паранойя возникла в связи с этими домами. Она говорила: тут живут одни маргиналы, как только я найду себе состоятельного мужчину, то первым делом перееду в центр. Найти состоятельного мужчину Люда не могла уже год, подозреваю, что девушка привязалась ко мне.

У заброшенного кинотеатра меня окликнули. Это были дети, выбравшиеся из советской машины. Человек шесть. Каждый из них выше меня и крупнее. Но голоса и смешные усики выдавали возраст. Усики я носил в старшей школе, тогда была мода на них. Точно не помню, в честь кого мы отращивали эти щеточки над верхней губой. Лица детей, насколько я разглядел впотмах, выражали легкое сомнение по поводу того, стоит ли меня окликать или нет. Что-то во мне их насторожило. Я уже расстегнул свой полушубок, потянулся к карману пиджака. В нем лежал целлофановый пакет с мелочью, которой мне не жалко было поделиться. Все кошельки, бывшие у меня, терялись при загадочных обстоятельствах. Как правило, терялись они после посещения рюмочной. А вот пакет никогда не терялся. Мне нравилось носить деньги в пакетике, в этом было что-то от лепреконов.

Один ребенок достал отвертку. Сказал мне: не суетись, доставай медленно кошелек. Ребенок не знал, я сучусь постоянно. Это естественное мое состояние, нервный тик, ночные судороги. Неконтролируемые вскрики. Той ночью я действительно хотел поделиться своими монетами с теми нуждающимися детьми. Но эта отвертка. Не понимаю, что на меня нашло. Впрочем, я никогда этого не понимаю. Подошел к нему вплотную, взялся за металл. И накричал на них: все что хотите, все забирайте, вы достойны самого лучшего, но скажу вам по секрету, усики это не модно! Потом я отпустил отвертку, достал свой пакетик, протянул. Дети ничего не взяли, потянулись к своей советской машине. Они опешили, перешептываясь: ненормальный какой-то, дядь, иди-ка домой. Они побрезговали моими деньгами, все они, неимущие дети. Я наступал: почему вы не берете мои деньги, я искренне желаю вам помочь, вы же нуждаетесь. Дети сели в машину, хлопнули дверьми, начали выезжать на проезжую часть. Разболелась голова после общения с ними. Заброшенный кинотеатр, у которого я стоял, назывался «Буревестник». Не знаю, почему его забросили, когда мы только въезжали в эту квартиру с Людой, хозяин провел экскурсию по району. И даже он не знал, почему кинотеатр закрылся.

Я обошел заколоченный черными досками «Буревестник». Прошел метров сто, тут начинался пустырь с ангарами. Как я помнил, нужно было постучать в заднюю дверь первого ангара со стороны дороги. Мне отрыл один дезинфектор, у него еще не было глаза. Вернее, глаз был стеклянным, но там история до безобразия печальная. Парня звали Толя, его родители бросили в детстве. Все-таки я не буду рассказывать эту историю, потому как слишком страшно слушать подобное, а не знаю, кто меня слушает в данный момент. На Толике был махровый халат, он зевнул, поздоровался. В помещении, поделенном на множество секций, работали обогреватели. Так что внутри было достаточно душно. Точно такие же обогреватели стояли на нашей станции переработки пластика. Наш общий с Толей начальник приобрел их где-то оптом. Грели они будь здоров. Напарники Толика уже спали в секциях.

Пока рассказывал о тараканах, которые повалились на нас с Людой с потолка, он ставил чайник. Посмотрел своим голубым и черным глазами, спросил: ты голоден? Я ответил, что нет. Хотя про себя задумался. Я был голоден, не то слово. Не помнил, когда последний раз ел. Кажется, в обед, это были пирожки с капустой из ларька напротив нашей станции. Толик достал из тумбочки две лапши быстрого приготовления. Хороший он человек, я даже растрогался, глаза намокли. Он сказал: Миша, ты такой сентиментальный, завязывай с этим. За поздним ужином разговоры между нами были соответствующие. Толик рассказывал про пухлую женщину с двумя детьми, с которой он познакомился недавно. У них там что-то намечалось. Дети его не пугали, он сказал, что нет чужих детей. И я в очередной раз растрогался. Он предложил пойти со мной и помочь травить тараканов. А еще спросил мимоходом, как у нас с Людой обстоят дела. И я не знал, что

ему ответить. Вроде бы она искала себе нормального мужика, но в то же самое время моя кандидатура ее пока устраивала.

Мужчина надел синий комбинезон, куртку, стал копошиться в реактивах, греметь баночками. Искал дихлофос. Спросил, не глядя на меня: а сам ты, что чувствуешь к ней? Я чувствовал к ней жалость, не стоило забирать ее лучшие годы. Больше ничего такого сверхъестественного не чувствовал. Даже желание с ней переспать пропало на первом годе нашей совместной жизни, а встречались мы уже год и три месяца. К тому же уровень либидо существенно снизился по сравнению с подростковым периодом. Подозреваю, что вредные выделения на станции переработки пластика были тому причиной.

С Толиком мы пошли ко мне. Он нашел огромный литровый баллон дихлофоса красного цвета. В черном перекрестии был нарисован мультяшный таракан, который грустно улыбался. Еще Толик нашел липучки, обработанные химикатами. Это на случай, если будут выжившие, и они уползут за подмогой. Подступы – сказал Толя – мы заминируем, чтобы уберечься от очередной волны паразитов. По-хорошему нужно пройти специальным раствором, но тогда вам с Людой придется уехать дня на два – говорил Толя. Я сказал ему: исключено, нам некуда. И так Николай пробил для нас эту квартиру с большими трудностями. Николаем звали нашего общего начальника. Он нашел эту квартиру через своего знакомого в прошлом году, когда я устроился на работу и съехал от родителей. С Людой у нас была разница в возрасте. Речь идет о десяти годах в ее пользу. Понятное дело, женщина за тридцать хочет детей. Даже не потому, что она правда-правда желает забеременеть. Дело в установках, заложенных родителями, возможно, самой природой. Мы познакомились с ней на поэтическом семинаре, и вот дожили до момента, когда попали под тараканий дождь, а это, наверное, уже серьезно, почти как совместные дети.

Мы с Толиком подошли к подъезду, стали подниматься по ступенькам. Позвонили в дверь, но Люда не открыла. Мы позвонили еще раз, но Люда не открыла. Тогда я стал несильно постучивать. И дверь со скрипом распахнулась. Изнутри пахло чем-то затхлым. Я позвал, когда мы заходили в квартиру: Люда, мы пришли с Анатолием травить тараканов. Но вместо Люды нам ответил мужской голос: мы на кухне. Подобные канделябры мне совершенно не нравились. Как-то раз Людмила привела одного коллегу с работы, а потом уверяла, что ничего страшного не произошло. Вроде бы ничего страшного тогда действительно не произошло, но вот коллега оказался скучным в общении кренделем. И, кажется, хотел переспать с Людой. На кухне сидела она, рядом с ней стоял, положив свою руку ей на плечо пожилой мужик. На мужике был старый серый пиджак, точно в таком же я ходил на свой выпускной вечер. Из-под пиджака торчала белая майка, серые брюки на ногах. Выразительное лицо мужика вызывало во мне странные чувства. Эти длинные, закрученные на концах усы хотелось подпалить зажигалкой. В черных глазах, казалось, не было зрачков, и на нас с Толиком смотрели две черные дыры. Мужик хитро улыбался. В уголках его глаз образовались морщины. Толик стоял у меня за спиной, выглядывал. Люда молчала. И только слышалось тиканье часов над дверью, тик, тик, тик.

Так, а вы кто? – не выдержал я. Мужик, все так же улыбаясь, сказал: я ваш сосед сверху. Он сказал это как-то со скрипом, словно жук усач, только во много раз громче. Потому что, если бы он был настоящим жуком и что-то сказал, то мы бы его не услышали. Усачи же очень тихо стрекочут. Толик подал голос из-за моей спины: хорошо, сосед, что-то случилось? Люда, которая сидела все это время с рукой мужика на плече, по-прежнему молчала. На ее лице не было эмоций, как будто она спала с открытыми глазами. Или как будто снова напилась своих успокоительных таблеток. Я сказал ей: Люд, мы с Толиком пришли травить тараканов, дихлофос принесли. Сосед убрал руку с плеча, оживился: дихлофос это хорошо, будьте любезны накапать мне рюмочку. Он повернулся к шкафу, по-хозяйски достал рюмку, поставил на стол. Толик от такого поведения нашего соседа немного смутился. Признаться, я тоже немного смутился, хотя виду и не подавал. Сказал Толику: накапай товарищу дихлофоса, как он просит. Толя переспросил: ты уверен? Усачий сосед подтвердил: конечно!

И Толя напшикал из баллончика целую рюмку дихлофоса. Мужик посмотрел на Людку и выпил. Я даже непроизвольно присвистнул, прикидывая в уме, через сколько минут сосед крякнет. Он повеселел, как будто выпил не дихлофос, а чистейший спирт. Радостный, погладил Люду по голове, сказал ей: ну, собирайся, дорогуша. Она зачастила: да-да, нужно собирать вещи, засиделась я. Люда, ты съезжаешь, с ним? – уточнил я. Она ответила: послушай, я встретила мужчину, с которым ощущаю себя настоящей женщиной. Пока она говорила это, мужик с усмешкой разглядывал таракана, который сидел на холодильнике. Потом он взял его, положил себе в рот, проглотил. За окном виднелась полная луна, капли осеннего дождика впечатывались в стекло.

Мы с Толиком по-настоящему охренели. Как это вышло, меня же не было всего полчаса. А Люда успела с этим соседом построить какие-то там отношения. Все мы перешли в комнату, женщина достала со шкафа чемодан, начала скидывала туда свои юбки, блузки. Вблизи сосед мне не понравился еще больше. На майке сальные желтые пятна. Затхлый запах шел именно от него. Он стоял вполоборота ко мне. Из его уха показалась головка таракана, потом и все насекомое вылезло на свет божий. Сосед ловко схватил тельце, когда оно пересекало его лоб, и отправил в рот, на этот раз прожевал и только потом проглотил. Посмотрел на меня, хитренько улыбаясь, и предложил налить ему еще одну рюмку.

Толик намек понял, сходил на кухню, нацедил дихлофоса, вернулся. Я обратился к Люде, когда она застегивала молнию на чемодане: и куда вы теперь? Она, стараясь не смотреть мне в глаза, ответила: это тебя не касается. Мужик панибратски похлопал по моей спине, прострекотал: тебя это не касается. И опрокинул в себя рюмку. Толик прошептал мне на ушко: так мы будем травить тараканов? Я ответил ему: какие теперь тараканы. Сосед взял чемодан Люды, и они отправились на выход. А мы отправились с Толей их провожать. Лампочка в подъезде перестала справляться с напряжением, мигала. Парочка влюбленных друг в друга людей поднималась на этаж выше, в свое новое жилище. Хотя были кое-какие сомнения насчет влюбленности Люды. Не то чтобы я подозревал ее в корыстных помыслах. Она же как-то жила со мной и моей небольшой зарплатой, значит, дело не в этом. Может быть, тот мужик не снимал квартиру, и она была его собственностью. А собственность при случае можно продать и переехать в центр. Может быть, его работа была лучше моей, кто знает.

Вернувшись в квартиру, мы с Толиком попили чай с «Юбилейным» печеньем. Единственное, что мы нашли из съестного в шкафчике, где стояли рюмки. Товарищ не захотел возвращаться в свою контору, и мы улеглись спать у меня. Совпадение или нет, но с уходом соседа и Люды тараканы тоже ушли. Во всяком случае, той ночью мною не было замечено ни одного насекомого. На следующий день я уволился, и к вечеру съехал с квартиры. Подумал, что семейная жизнь мне пока неясна. То есть тонкие механизмы взаимодействия с женщиной виделись сплошной математикой, по которой в школе у меня была тройка. Примерно в то время, как я переехал обратно к родителям и рыскал в поисках новой работы по разным значным местам, мне написала девочка, читающая мои стихи. Мы сходили несколько раз в кино, а потом решили жить вместе. Фамилия у девочки была Тараканова. С ней тоже связано несколько историй, которые я расскажу в следующий раз.

мы встречаемся редко в зеркальную гладь теплых вод никто не придет если станет страшно ты сама себе построила быт словно проводка мира настойчиво коротит если каждый второй убит кто будет считать убитых кто будет просеивать юность и старость сквозь сито мы так редко видимся в общем нет мы привыкли не ропщем это овощи старых времен превратившихся в сон в них нет надежное витаминов целебных свойств ничего не осталось только всепоглощающая усталость чтоб целовать холодную амальгаму мертвые не имеют ни любви ни сраму

мы встречаемся редко нас нет здесь наверное вовсе мы выдумка тех кто погиб теплой тени изгиб на стене протягивая руки друг другу это простуда обычная что ты сезонный орви письма тех кто забыл нас не рви все окажемся в точке отсчета умирание это любовь это сложная тела работа нас просто учили совсем не тому мы блуждаем в осеннем дыму мы в чаду и отчаянье дома и города мертвых ризома источник живительных сил вот возьми свой сироп так тебе этот красный идет никогда так не шел ни один из известных цветов в этом мире просто открой глаза пошире смотри внимательно мир сам тебе расскажет всё чтобы не сказать толку от нее у каждого было свое здесь житье-бытье но все превратились в светящийся шар слились в пустоте в комок теперь никто здесь не одинок можно сказать что день сурка но я не помню что такое сурок

так мы редко встречаемся нас превратили в пустоты наполнили лавой кипящей нет мы больше не будем встречаться чаще мы спящий вулкан который уничтожит всё в радиусе известном ему чтобы уничтожить тюрьму своего тела раз ты оказалась в нем чего ты еще хотела чего ждала крох с чужого стола добра вместо зла потому что добро ведь лучше полезнее для кровеносной системы мы были детьми были еще не доказанные теоремы нас могли отправить куда угодно выжатой коркой лимона бросить под стол нож этой жизни был уже не острый был притуплен он но все равно резал по живому мы впадали от каждого взгляда кривого в кому от существования нелюбви возможной как данность в мире который мог быть прекрасен мы учили в школьные годы столько басен про сыр и ворону мартышку очки все басни про не взаимность словно мольбапусти нас в царство свое при жизни плоть прости что спросу с нее все тексты отчаянья наши

мы так редко встречаемся лава кипит внутри если больно глазам лучше не смотри лучше глаза закрой смотри в привычную тьму там видны яркие точки чужой вселенной кусочки распускающиеся весной ожившие почки сотри во тьму там может быть что угодно может быть даже свет который говорит что свободна дорога и ты летишь навзничь кровь с виска вытирая потому что это свет и ты наконец живая

мы так редко встречаемся клеим друг другу слова на лоб угадай кто я человек или предмет может быть ничего этого нет всё это нам снится что в глаз попала ресница и колет там что в квартире копится разный хлам к которому ты привязан что мир отчаяньем опоясан но тебе мнится что ты со всем существующим связан поэтому всё не просто так скоро Вселенная подаст тебе знак

мы так редко видимся бог весть кто мы уже не помним прозрачны и невесомаы что за мир за окном что в коконе куколка или высохший плод никто твой номер не наберет кроме кредитных

организаций в которых кто-то твой номер указал мир продуваемый всеми ветрами вокзал с которого не уехать можно выбрать общий зал или зал комфорт где тепло почти иногда смотреть на табло что там пишут еще прочти

как мы выжили в этой стране бесполезных полей не зная что будет за ней что кровью и плотью становится нашей комковатой манною кашей разброд и шатание букв больше здесь никого не убьют не вынут занозу иголкой

мы находим обрывки тетрадок под елкой мы загадали чтобы всё было хорошо но шить не умели раскroенных фраз это пейзажная лирика что ли про любовь ли столько боли в жизни и так живем не зная зачем чтобы тебе подали какой-то знак что всё не напрасно что жизнь могла быть прекрасна если свернуть вон туда но там снова выселки игр словесных руда что с нею делать ни во что другое не верить ни ждать не просить то что другие сшили носить

так мы выжили в этой стране бесполезных полей по которой в беспечности колесили милостыньку не детство на старость просили детские песни бессмертия пели что толку от нас это раньше было мороженое был квас были пять копеек все кадры подряд без склеек никого не вырезали просто так не клали на полку не лили на пол карболку что тебе не жалко себя что ли чему только учат вас там в школе что тебе не жалко ни себя ни других это один большой бесконечный стих в котором должно быть всё бессмысленное прекрасное каждой клеткой житье бесполезное теплое тел осторожных в пейзаже каждый день этот мир становится только краше нет это не наш город это кружево тоже не наше

так мы выжили в этой стране бесполезных полей эту елку юную нарядили милостыньку подаренную в ладошке носили пока не потеряли в муках нас в этот свет рожали чтобы мы были прекрасны чтобы это были не мы - ангелы божьи на каждой руке по пять колец во взгляде всепрощение ада чтобы это были не мы а те кому от нас ничего не надо чтобы любили друг друга и всех погребла одна вьюга так ходили по кругу не спрашивали что за поле что за страна знаешь ли вину за собой не знаю что за вина

я никогда не путешествовала автостопом я не знаю как выглядит Европа за пределами Ужгорода где знак «до Европы 2 километра» я просто не стала кем-то

любить уважать на день рождения звать вместе гештальты закрывать как форточки из которых дует вечность скажи ты мне что там извне

как мы родились при мире привыкли жить при войне с трудом конечно из французских булочных вышли на свет оказалось что там снаружи ничего нет

шли по улице отламывали по кусочку твердый багет думали что жизнь такова что молоко и мед льются из рукава что кисельные берега отремонтированные дороги что всё в этом лучшем из миров просто не может быть плохо

так мы лишними стали сами себе не зная о чем говорить с собою так эхо вторит прибою на теплой земле всегда чужой вот мы внутри кокона нить вокруг шеи волна захлестнет тебя так что не поговорить с нею на равных или любовь или смерть или снаружи на тело моли смотреть

так мы лишними стали блуждая по улицам юга уличная еда исчезла из нашего рациона вот смотри внучок что было здесь во время оно рай для хипстеров ад для девиц лежбище масок и рукавиц

так мы блуждали и свет наше тело в себе растворил так подземка случайных перил в наше тело впивалась так разрезали нас пополам и на храм собирала старушка и кто ты у нас не спросили ты в garnитиру кричишь все договоренности в силе но сил уже нет для ответа так нас уносила

поземка в пустые дома заселившихся прежде так нас содержали в холе в надежде что мир перекрыть это всё равно что ближнего возлюбить всё равно что полюбить себя как другого всё равно что найти верное слово

но не было для нас ничего здесь дорогого поэтому все договоренности перечеркнули как себя из нуля не родится новое так из города не родится что бы тебе еще придумать я никогда не

это всё ерунда вот когда ребеночка родишь всё поймешь нас природа растила кормила толкала весной под нож детский глупый скулеж ножками вперед задыхаясь от вечной любви жаркого воздуха стен расплавленных сколько стали выплавили в этом году сколько слов превратили в руду это не жизнь а статистика тело движется к плахе шагом неровным ему просто больно иначе молчит почему мы построили тюрьму создали чуму провели несколько дней прекрасных в Крыму теперь вспоминая что это земля ничья или чужая сколько выплавили стали сколько собрали с них урожая

это всё ерунда вот когда ребеночка родишь он тебя убьет нет может даже ватку приложит щедро расходует йод ибо нам ничего не жалко для тех кто любит нас кто нам не нужен совсем из всех севооборота молью траченых схем так мы отдавали сердца мясникам и ждали другого результата это просто сталь она холодна но в общем не виновата так нас и спрятали в дальние папки куда-то потом достали ибо мир держится болью только баланс печали его хранит только любовь доверия вечный стыд а зачем ты живешь если ничего не создаешь никого не родишь зачем ты вообще здесь нужна ишь мир имеет смысл если им играет в мяч глупый малыш

это всё ерунда вот когда ребеночка родишь это будет чудо не было человека вдруг появился из ниоткуда похож на каких-то родственников которых я не видела никогда ходить на семейные празднества это казалось унылая ерунда восхищаться салатом «Мимоза» если бы сочинила прозу это была бы слишком унылая проза но нет здесь ни прозы ни чуда жизнь проходит вялотекущая простуда это всё ерунда вот ребеночка родишь ну что ты всё в угол глядишь словно видишь там кого-то что на тебя нападает слог словно смертная икота нет прости на тебя не хватило йода не хватило вечной любви смертной как всё нам дарованное судьбою нам не держаться за руки не говорить о глупом с тобою мое зеркало мой автопортрет заилненный кровью бювет привези мне цветочек привези мне талых конфет скажи это гостинец от зайчика встретил его в поле сказал передай обязательно Оле больше здесь ничего не осталось не будет никакой боли

садись и пой мой ангел рая у нас будет страна другая мы не будем рожать детей не будем ждать нового урожая не будем верить рожая что мир не обойдется без нас мы пойдем в первый класс от выколотых английской булавкою глаз у тебя будет глаз-алмаз честная бирюза нет зачем тебе дитя эти глаза

садись и пой мой ангел у нас лучшая страна на свете мы самые красивые дети просыпаемся на рассвете бегаем марафон проходим в угольное ушко двух античных колонн проснись и пой мой ангел кровь горяча но нельзя вот так просто с плеча вырезать плоти кусок ангельской плоти извини я больше не буду ничего личного по работе

проснись и пой мой ангел нас растили кукольной мишурой что мне делать с тобой красивые люди мясо растущее на убой и некрасивые тоже чтобы это на жизнь было похоже чтобы резцом не проводили по теплой коже ну что же мой друг из тебя сделали теплую свитку иначе не компенсировать тяжесть жизни убытка нас держали в теплом раю заставляли петь песню свою говорили не спи волченочком станешь здесь на краю да мы стали уже бог весть кем нас и нет здесь наверное в общем нас наверное нет но мы все равно не ропщем

проснись и пой мой ангел у нас тут такие небеса у нас такие тонкие тела нас всех съела лиса наконец-то мы съедены ею я с каждым вдохом ее становлюсь добрее я просто немею проснуться не смею что ты говоришь малыш ты просто спишь из тебя кровь течет на асфальт в твоей голове черная дыра да тебе просыпаться пора в твоей голове лисья горечь кротовья отчаяния нора да что ты лежишь на земле эта земля сыра

проснись и пой мой ангел в твоём теле растёт цветок распускается незабудка боль нечуткое слово я не могла пожелать тебе ничего иного она тебя создала она тебя предала ты смотрела на мир из-под её крыла но тебе никогда не сравняться с нею она была намного ровнее она знала где конец оси координат где никто из живущих не виноват где нас забрекут в октябрюта по описи всех подряд если тебе нужно больше ада это ещё не ад

смотри мой ангел как твоя кровь горяча пропитала асфальт из неё вырастет да ничего не вырастет из неё это не питательная среда это просто жидкость на тверди нам завещали не надеяться не просить сказали не верьте вот и не верим не надеемся не просим ну и кем выросли мы построили новую версию старой тюрьмы да и она не хороша любовь не дается с бою кем я могла бы стать рядом с тобою ангельских перьев подушка растяжка в центре земли ты идешь по нейтральной но все равно умри

посмотри кем были мы из тела тюрьмы вышли на свет наверное нас уже нет мы пыльных книжных полок оттенки побережья цвета выцветшей бирюзы

выдумали сами себя и поверили в это решили забыть всё что за стороны света глядят на нас винтовками глаз зачем ты ходишь здесь где твой класс найди поскорее верную дверь главное никому не верь

теперь ты знаешь где север где мох теперь где созвездия Медведиц больших и малых рук несших тебя усталых веривших напропалую что в эту форму пустую

можно божественный свет залить по образу и подобию своему спрятать как медные деньги в суму как тело в привычную телу тюрьму чтобы не объяснять никому что мы делаем здесь мы ошиблись собою как дверью

но научились любить себя каждый шаг выверяя земля знаешь такая большая что всю не обойти сколько ни иди на горизонт зная даже что там никто не живет что нет этой линии водораздела

нет пустоты заполняющей истиной тело совсем ничего нет но идти все равно надо пока остается то что удерживает фокус взгляда странно думать что в конце должна быть награда рядом просто тень

ты так простынешь пальто теплее надень день выдался не из теплых узоры на стеклах в ботинках своих неудобных идти все равно надо не говорить что взыскуешь Града или подобный высокопарный бред

наверное Града нет мы так долго идем давно пропустили обед скоро пропустим ужин так понимаешь что ты никому в мире не нужен да и себе не особо нужно себя убедить

и увидеть свет странный серый Каракум с фантиков детских конфет увидеть свет и раствориться в нем смотри мы научились смотри как мы плывем не касаясь дна бездну не ощущая не чувствуя страх под ложечкой дрожь заката чаинки в блюде ведущие вдаль куда-то

выдумая тебя немирных стогн Лорелея то кровушки нет в жилах у тебя то нет в глазах огня то колет ноги стерня босые должны найтись слова простые выдумая тебя ибо любовь не требует

ничего а долготерпит и ждет всему придет свой черед когда ждать надоест птенцы возвращенные
пищей стать любят свой насест

здесь тепло и корм не в укор тебе сказано будет нас жгли утюгом раскаленным пытаюсь уз-
нать тайный код когда узнают больше никто не умрет но сами его мы забыли давно потому лишь
увертки и страх

отраженье чужих убийц осталось в наших глазах да они были по-своему хороши даже не-
что вроде синдрома стокгольмского или восхищения вызывали мы всё равно пришли в этот мир
для печали так нас жгли-пытали любовь внушая как ужас неверие во всё что вокруг детский спа-
сательный круг с головою лебеда или дракона но ты находишься здесь незаконно не пересекай
черту песочного города теплого ада

здесь веерный дождь рассада из купленных оптом семян из которой вырастет общий бурьян
в каждом зеркале трещина в каждом теле изъян нас одели празднично почему-то сказали
осталась одна минута приготовьтесь отрепетируйте текст идите смело нет вас там никто не съест
всё говорите как есть да не такой он и страшный на самом деле сошлитесь на свои эмоциональ-
ные качели скажите что правда верили просто многое не успели да тем-то он и хорош это в горле
твоем для бумаги нож

тут никуда не спрячешься никуда не уйдешь нас растили для чуда бессмертия переходный
период закончится пока надо просто съежиться переждать пока снимут седьмую печать
не подходить к двери никому просто не открывать

мы живем в городе трех революций (пока что) шестнадцати переворотов в городе где у всех
есть свое мнение по любому поводу всё кроме согласия качели сплоченности/разобщения

у революции есть начало как известно мы не помним когда она началась когда мы пришли
сюда незадолго до ее нового витка она должна была никогда не закончиться но каждый раз всё
по-другому

мы живем в городе иногда теряющем свою свободу иногда продающем ее потому что абстрак-
цию не намажешь на хлеб потому что это просто надпись на стене мало ли что там напишут потом
вспоминающем как это было

я и в пионерах не была и красный цвет меня скорее раздражает в 2017-м мы шли седьмого
числа по улице и пели «Ленин такой молодой» встречные хипстеры отшатывались от нас конечно
это был эпатаж а не проявление идеологии

однажды ты спросил за кого я ответила знаешь как говорил Летов «я всегда буду против»

изнанка энтропии так мы шли по городу из сквера Чкалова кажется его хотят построить или
уже застроили или нет мы живем в городе безвкусных архитектурных решений эклектики мно-
жества всего о чем можно сказать я всегда буду против но имеют ли смысл слова имеют ли еще
смысл слова

так мы шли из сквера Чкалова промозглым осенним днем выпив там шампанского за столетие
революции идеализированной в советском кино развенчанной в пост-советском кино как теперь
говорят у каждого своя правда но ее больше не видно

ты не спросил против чего я потому что тебе было всё равно действительно какое это может
иметь значение ты говорил что Союз был идеальной империей а вы его развалили смешно что я
могла бы развалить в девять лет кроме песочного дворца но поступила бы так же

не то чтобы мне нравился цвет крови на самом деле нет в стране где шесть лет война странно
любить цвет крови разрезать и зашивать одно бесконечное движение

так Вена растворилась пеною морской кофейной пенкой гущей крови детских страхов мостовых ночных автобусов печали

так вот нам выдали вначале один билет обратный что ли счастливым станет если съест его запив одною кружкой тьмы нет здесь уже не мы играем в немоту в готических пространствах камнемоны

здесь кто-то знает кто мы разве но маршрут построен был без нас и вот смотри как слезы слухат украшением глаз как мелкий жемчуг чувств отчаянье страстей не прожитых но кто нас выдал на поруки тьма спускается над нами

кофейни и мосты теперь усеяны крестами брусчатка белой известью блестит здесь лишь любовь сменяла жизни стыд но с ней договориться было не в пример сложнее

смеяться проще кажется над нею тони теперь в кофейной гуще все гаданья наши здесь обречены

вот руки тянутся к тебе из тьмы и тело превращается в пейзаж фрагмент картины тьму что той снаружи кажется равна

допей свой кофе там еще поднимет взвесь со дна печальный ветер листопада

куда идем зачем мы здесь нам ничего не надо было вышли потому что мир прекрасен был и звал идти вперед

нас было мало нас уже наперечет здесь оставалось песни петь устали связки и молчание застыло в песнях талой тишины

мы были выбирать вольны свою историю по крайней мере нам казалось так свинец или отравы всех историй здесь конец печален что ни говори вот разговорник старый наш карман отягощает никто не знает всё равно что мы сказать хотим смотри моя любовь как мир лежит на блюде

бросай монету в океан чтоб больше не вернуться

старшие строили страну во дворе собирались по трое мы смотрели на автомат с газировкой где не было стакана

я старалась проснуться рано чтобы с мамой пить чай когда она собирается на работу перед зеркальцем на стене красит ресницы советской тушью из коробочки человек должен пытаться стать лучше

потом собираюсь и еду на спортивную гимнастику опоздавший должен пробежать вокруг снарядов восемь кругов

опаздываешь значит к подвигам ты еще не готов даже проснуться вовремя серым утром серого дня под дождем города-героя детскими ножками семеня

человек должен стремиться к преодолению старшие строили страну потом разрушили я не хотела стрижку а-ля Мирей Матье хотела бантик с косой нам кто-то сказал что полезно по земле ходить без босоножек я начала ходить босой но вскоре отказалась от этой затеи поняла что сейчас на земле больше железа и стекла чем в пятидесятых

пыталась читать Блаватскую и Кастанеду но не пошло прочитала только письма Елены Рерих два тома по вечерам мы не выходили из дома да и днем выходили только в школу и на базар Елена Рерих написала в письме «по какой дороге вы ни идете - всё равно придете ко Мне» это о Боге если верить на верное страха нет мне не хотелось новых платьев или конфет избавиться от страха было бы лучше

мы смотрели и ничего не видели в желудевой кофейной гуще по вечерам играли в переводного дурака

друг над другом смеялись это тебе еще на погоны других не будет пока

дети убегают от грозы
но гроза слезных желез неба следует за тобой
новости сообщают наперебой
что мир не будет как прежде
нам становится холодно в летней одежде
на ладонь ложится циклон из темных окон соседних домов из плохо расслышанных слов
от несобранного пластика пакетов ниспровергателей утлых основ
убегают они но в поле некуда спрятаться от грозы капли остужают горячий лоб нам
не встретиться чтобы
поранить в кровь о стерню бежать уставшие стопы
кто мы зачем пришли сюда нет ничего за пределами картины мастера грустных
жанровых сцен
они убегают голубые прожилки на запястьях веточки вен

в теплом теле страны окопавшись ее площадей невозможное золото но вас не отпустят, ребята
тело не может быть здесь не виновато
в сетке вен и в авоське кефир не просрочен ли посмотри
ничто не дрогнет внутри
это всего лишь хлопущка в тебя не стреляют со счета три
в теплом теле страны что вынашивала нас
бродила вместо крови словно квас полезный
но тем кто выжил не соболезнуй
свет прорастет из могилы любой неизвестной
страна где колыбелей памятников и стен для расстрела
строили столько от детской любви неумело
нас породила убивших ее но над телом
рыдающих вчуже всё что будет потом будет только хуже
призрак ее колыбельные тихо поет как ты мог нас предать безрассудный
воздух сгущается в горле отравленных нежностью будней
как ты мог нас предать но вернуться туда же где был
словно лишь для кружения на центрифуге тебе и хватило сил
да любил ли ты здесь хоть кого-то и эхо ответит любил
эта страна детских садов зеленым крашенных стен
половиц от боли скрипящих
нам надо снова куда-то идти даже видаться чаще
но хватаемся за луковку за которую не удержаться
это были другие сны больше они не снятся

так сбились мы с пути колхоза «Светлый путь» шли куда-нибудь
делая на деревьях зарубки получая размытые указания из радиорубки
цветом пунцовым красили обиженно надутые губки
цветом крови знамени нашего невежества возведенного в веру

некоторым обещали избранности высшую меру
словно точечный этот обстрел может выбрать любимых судьбою
словно здесь ничего не хотел только вчуже грустить над собою
так мы заблудились в лесу птицы черствый наш хлеб клевали
глаза у нас были синие такие как белая ночь им нравились наверное тоже
детям ночью в лесу одним оставаться негоже
оставлять следы безвременья на высохшей коже
любви превращенной в закон
какой скучавший в своем панельном доме тихо спивавшийся Пигмалион
каждое утро думая что обречен рисовал их бледную кожу
пламенные сердца
с любовью истинного творца отправляя на смерть
еще так много нужно успеть
так мы шли нам не разрешали здесь по сторонам глазеть
это карусели это леденцы красного цвета яркие гребешки
эта невозможная нежность дрожь холодной руки
так красота убивает прежде чем кровь окрасит мрамор ее висков
так наши рабочие одним рывком избавятся от вековых оков
так мы шли песни старых ссыльных каторжан заунывные пели
чтобы не думать что всё это на самом деле
где-то скрипели покинутые вечным детством качели
нас построили по росту нас построили по двое
нас никогда не оставили бы в покое
это твое лучшее время потом будешь его вспоминать золотое

дети расплавленной лавой чужой нелюбви
расскажи мое тело теперь тебе мыльная пена боль расстояния
которое отменили время которое превратилось в клубок
вот оно катится по лабиринту
Хронос по кусочку твою память съедает
пустота где Минотавра ожидали увидеть в центре всего
большой универмаг ткани разноцветные искусственные цветы белые манжеты
скидки постоянным покупателям твоя скидка обнулится
я ничего здесь не узнаю не помню названия цветов
не различаю дешевые ароматы
это новая коллекция или всё уже придумано до нас
мы заблудились в ярких витринах это чужое отражение
родители тебя ищут это голос зовущий неизвестно откуда
мы заблудились но красота кажется почти бессмертием
яркая фольга игрушки срок которым короток
но к груди их прижать не больно
кто кружит тебя за руку здесь пытаюсь поймать пустоту
с ней найти точки соприкосновения какие-то объяснить
кто кружит тебя за руку здесь и толкает на кафельный пол
ты падаешь разбиваешь висок до крови
нам не больно нам просто легко потому что нас нет
нам сказали что клюквенный сок в наших жилах течет

мы пробуем на вкус это что ли клюква
нам сказали что страх это глупость всё в мире глупость
и держится на волоске от карманных часов
по приметам время тоже иллюзия
я смотрю в отражение в зеркале времени нет
и тебя что в глаза мне смотреть пытался
мы вырезаем человечков из фольги выбрасываем их в море
с чего ты плавать не научилась а могла бы ты рыба в рассоле воды
мимолетный аромат из флакона как всё настоящее здесь
мы заблудились не стой у качелей и сердце у горла где-то
мы обманули сами себя этот яркий пустой лабиринт
вывески за которыми ничего нет музыка без слов
коробка от печенья зимний Брюгге дети на коньках

маленький Христосик октябратских икон все подходы к церкви закрыты ономом
я нахожу белых червей в скромном
но смерти не существует больше мы живы все мы даже поправились к этой весне
мы словно рыбы в белом дыму передвигаемся в космосе прелой травы апреля
у нас невероятная легкость в теле совсем не чувствуем себя
ни смерти ни жизни здесь только воздух окрашенный белым
краситель химический так ядовит как любовь твоя
к мягким игрушкам и детским вещам
тело детское наше изношено с ним на примерки ходить но душа эта в теле пустыни
это просто белок и зародыш бессмертия в теле носить
белок растворяется в мутной воде
краситель багряный словно кровь запекшаяся на солнце
тебя не пропустят через кордоны болят колени переступаешь с ноги на ногу сонно
весь шелк и виссон текстильной промышленности этой страны
все запасы его для тебя существуют
возьми себе отрез несколько локтей
уезжай отсюда пока не перекрыли дороги
пока возможны разговоры с незнакомцами о Боге
на которые хочется ответить что вы знаете о нем
он завязывает меня морским узлом который всё туже становится с каждым днем
мы с ним сидим в этой комнате не разговаривая вдвоем
у меня есть чай в пакетиках у меня есть даже сахар где-то давно без сахара пью
так привыкла к вечному страху в эту жизнь свою играть словно в шахматы
без основных фигур
поставь вместо них что угодно но так создавалась иллюзия что свободна
воздух белым белком растворяется в теле
простые истории здесь так нужны Расскажи мне хорошее что-то
а не то что мир это ярость и шум в пересказе безумного идиота
это мы помним и так подай мне добрый какой-нибудь знак
воскресения жизни вечной антител в крови
слов у тебя всё получается просто живи
по волнам белого дыма сигаретным пеплом плыви

Мария видит цветок спрашивает – ангел за что мне
эта одежда белого цвета
я не готова я не уходила прежде далеко от дома
Марией нарекли гибискус тогда цвел да будет мне по твоему слову
радуйся Благодатная говорит ангел Божий на картине
это был прохожий или шапочный знакомый в дымке изображения невесомой
цветок парит рука проводящая линию стебля дрожит слегка
в глазах ангела выражение ровной строгости и печали
в глазах Марии страх
перед ней вышивка женская какая-то работа
она подносит руку к лицу боясь оглянуться увидеть свет слепящий
который возникает лишь в глазах у спящих
потом они просыпаются забывают что видели во сне
Мария боится оглянуться больше никогда не проснуться
радуйся Благодатная благословенна в женах говорит ангел
художник идет по улице шаги всё ближе он не оглядывается
слышит щелчок затвора кровь на мостовой
благословенна в женах

послушные дети получают подарок от Николая ничего не выбирая у нас будет своя история
будет память другая в руки она не дается из пенопласта не бьется послушные дети получают лощадку
доброго инородца нам ничего не дается ни математика ни сленг ни перечень бесплатных
утех мы написали историю думали она не для всех но выпадет снег и всех равно закроет собою
стихи равны утробному вою теплый саван снежный тебя укроет нежностью с головою

возьми свой подарок нет сначала прочти стишок ты знала что мир жесток но все равно не
верила не выучила урок прочти стишок что там читается между строк это кровь замерзшая медвяный
клюквенный сок да прочти стишок мы дети выжатые но еще послушны покуда потому
что любовь не предполагает иного чуда нас хранили в коробе в теплом буфете дней говорили не
водись с ней ну и что что не будет у тебя никого родней это родник все равно засохнет до срока
сколь бы он ни был глубок а ты все равно забыл несколько строк возвращайся к началу тверди
свое голубок

послушные дети получили подарок от Николая а мы в потолок смотрим страдая ничего о
том что происходит не понимая нет была бы у нас жизнь другая мы использовали бы ее а так
просто скучное порою бессмысленное житье но подарков хочется нет не хочется даже зачем нам
какой-то старик в красном костюме испачканном в саже нет мы не будем стихи читать ему что
стихи ему тлен и пепел он подарит тебе хомяка из резины скажет что праздник светел мог быть
но ты недоучился в школе светлого бытия а так в общем нельзя как тебя мир принимает как тебя
держит эта земля ах ты дитя несуразное выпороть нужно тебя забрать хомяка закопать в лесу по
фарфоровому подносу он ударит указательным на тебя посмотрит он косо

да мы добрые дети мы хотели быть лучше всех опрятнее и добрее так закончится вечная
жизнь не помирившись с нею будем один и тот же стишок твердить пусть не в рифму но ты за-
метил и подаришь нам хомяка ведь мы хорошие дети достанешь его из мешка добродушный и в
стельку пьяный на табуретку чтоб наверняка чтобы дикция без изъяна я не помню стихов чужих
что мне делать скажи мне боже как мне выбрать один из них чтобы было на жизнь похоже

новогодняя щелочь истории нас выжимали по капле в сироп от кашля рыбьего жира порция рабство тебе идет на самом деле да что ты кочевряжишься из тебя тут человека сделать хотят а ты

так нам нравятся эти гилянды прекрасного детства петлею вокруг земли неба шеи но здесь нельзя быть теплым просто теплым запрещено температуры батареи быть здесь запрещено да в общем быть здесь не очень выдумки выюг если душа существует ей больно должно быть но ее существование не доказано наше существование тоже под вопросом

новый год старый год годы годы годы отрывной календарь жизни мудрости на каждый день нет вывода не будет какой тут можно сделать вывод буквы прекрасны сами по себе или нет

ель должна радовать хоть что-то должно радовать а не просто так ель объект в центре пространства что ты поглощаешь как мюсли со вкусом сои как разные смыслы что ты говоришь

что ни поглощай что ни говори ель детсадовских экзорцизмов подстерегает за углом вот тебе укол сыворотки правды не было тебя и не будет что теперь с этим делать а сейчас здесь разные дома для любви не существует конца света для ели не существует любви или милости поклонения только пустотелые игрушки кукуруза там шарики разные всё остальное нам кажется они есть только когда разбились только когда осколки впиваются в кожу они есть ты их чувствуешь есть но нет

иначе проекция нашей души нас обманет сколько ни наряжай ее она бедная родственница на балу бесприданница в модной лавке ошибка выжившего сколько ни наряжай ее все ей не в счет все не красит не греет сколько ни говори ей что все будет хорошо не верит потому что вокруг снег или не было снега

так нас душат гилянды и дожди разные и пустота и красивые мертвые смысла игрушки и разные бессмысленные красоты с кем ни поговоришь как с собой с кем ни помолчишь всё рай истории ад истории чистилище полей с кем ни поговоришь забудь меня скажет что мы здесь делаем

мы просто достаем из коробки украшения для языческого дерева мы просто да странная история внутри которой еще одна кто мы такие чтобы ждать чудес дети резвившиеся на морозе пока холод окутывал сердца пока грог окутывал вены кто мы такие чтобы ждать чудес внутри поллой сферы летящей на пол

Анна АРНО

(1953–1997)

Перевод Екатерины Симоновой

ПРОШЛОЕ НАКОНЕЦ СТАЛО МНОЙ

Моя мать

Моя мать была красавицей. Так говорили все, кто ее видел.
Так сказала моя бабушка, когда впервые меня увидела.
Мне было семь, мы приехали к бабушке в ее большой дом,
Полный мертвых мужей, мертвых цветов,
Оленьих голов на стенах, чучел хорьков и лис,
Блеска мертвенных глаз в бриллиантах ее серег.
«Вот, Анна, твоя бабушка, поздоровайся с ней», –
Сказала моя мать таким мягким голосом, какого я у нее никогда не слышала.
Помню ее ледяные, в момент окостеневшие пальцы,
Больно сжавшие мое плечо, как будто я была птицей,
Которую она поймала, хотя я даже не думала улететь.
Бабушка подошла ко мне, ухватила меня за подбородок
Двумя пальцами, такими же холодными, как у матери,
Сказала мне прямо в лицо, пожевав накрашенными длинными губами:
«Странно. Ведь твоя мать – красавица». Вытерла пальцы платком.
Больше она со мной не разговаривала.
В тот момент моя мать показалась мне птицей,
Которую поймала моя бабушка:
Медленно гаснущий блеск глаз,
Птичья когтистая лапка, выпустившая мое плечо,
Как ненужную ветку, несъедобный плод.

Моя последняя вышивка

После смерти матери тетка Лиз научила меня вышивать.
Я так и не заплакала – просто вышила слезы на материнской любимой кофте
Самой голубой ниткой, какую смогла найти.
Но не смогла на этом остановиться, стала вышивать себе новую жизнь.
Я вышила на своем свитере два серебристых крыла чайки –
В школе долго смеялись надо мной, хотели их оторвать,

Анна Арно родилась и выросла в г. Биддефорд, штат Мэн. Окончила Хантерский колледж. Многие годы жила во Франции. Стихи начала писать в 20 лет под влиянием поэзии Элизабет Бишоп. Книги: «Отражение Анны» (1983), «Освобождение, только похожее на любовь» (1990), «Наши невидящие глаза» (1997, вышла уже после смерти поэта).

Курица ты, говорили, а не чайка, ощиплю тебя, выпотрошим, съедем.
 Я вышила для тетки Лиз скатерть – она убрала полотно в шкаф.
 В первый раз и в последний скатерть доставали на ее поминки:
 Помню куриные крылышки в кокосовой стружке,
 Кузину, бледную, обсасывающую нежную косточку, всем, как всегда, недовольную.
 Я вышила море на занавеске в своей комнате,
 Пока вышивала, мечтала: вырасту, уеду и больше никогда не увижу море.
 Вышила и стала видеть море каждый вечер, когда задергивала перед сном окно.
 Я вышила первую букву отцовского имени на всех его носовых платках,
 Он даже не заметил. Приходил домой поздно, уходил рано,
 Казался самой бледной ниткой в узоре моей жизни.
 Я вышила на салфетке рыб, краба, морскую звезду, по углам – витые красные раковины,
 Положила ее на комод в гостиной, поставила на нее фото матери.
 Это был единственный раз, когда отец все-таки посмотрел на меня, дал пощечину.
 Тогда я почувствовала, как печаль вонзилась мне в сердце,
 Как иголка в бархатную ветхую подушечку: ткань лопнула, починить невозможно.
 Я тогда ничего не сказала, как ни странно, я его понимала.
 Сделала свою последнюю вышивку – на рукаве той самой маминой кофты:
 Еще одну – самую маленькую – слезу.

Чему она меня действительно научила

Первое, что я увидела, когда увидела ее впервые – это ее голос.
 Его было нельзя не увидеть – густой и темный,
 Вьющийся кольцами, как ее волосы,
 В которые захотелось прямо сейчас и здесь запустить пальцы,
 Оттянуть голову назад, прижаться губами к беззащитным ключицам –
 Правой, затем левой, потом провести языком по шее.
 Никогда я так не любила средневековую французскую литературу,
 Как в те два семестра, когда слушала ее голос,
 Похожий на все сразу: на Персеваля, ищущего собаку прекрасной девицы,
 На прекрасную девицу со сбитым дыханием, со слезами кудрей,
 На босых кармелиток, молящихся в грозу, то шепчущих, то восклицающих,
 На взгляд Изольды, видящей черный парус и все равно
 Просящей служанку сказать, какого цвета паруса на корабле.
 Она проходила мимо меня в коридоре, густая, темная, безразличная,
 Не моя, как вино, вытекающее из разбитой бутылки.
 Иногда, когда становилось невыносимо, я шла за ней до дома, стояла в тени,
 Глядя, как зажигается свет в комнатах на третьем этаже,
 Как к ней приходит разносчик пиццы, соседи, ее Подруга,
 Представляла, как Подруга запускает пальцы в ее волосы,
 Змеящиеся как у Медузы, обвивающие руки Подруги,
 Как Подруга присасывается своим узким безгубым ртом
 К венам на шее, похожим на пожарную лестницу на ее третий этаж.
 Кажется, никогда я не была так близка к сумасшествию,
 Как в те два семестра – глупый соловей с розовым шином –
 Не в сердце, нет, ниже, там, между ног, беспощадно и сладостно,
 Даже спустя много лет я стыжусь говорить об этом.
 Однажды, когда она опять проходила мимо, моя голова закружилась,

Ноги перестали слушаться, кажется, я упала, кажется,
Она помогла мне подняться, кажется, коснулась моего бедра –
Я почувствовала, как розовый шип моего смущения
Вонзился мне в кожу чуть ниже паха. Я взяла ее за руку, впервые
Посмотрела ей прямо в глаза, цвет которых я так и не смогла назвать,
Она посмотрела на меня впервые, покраснела, отняла руку,
Сказала: «Будьте осторожнее, берегите себя», но было поздно –
Розовые шипы впились в мое тело везде, тогда я впервые поняла:
Больше всего болит, не отпускает, кровоточит то,
Что не случилось и уже не случится.

Бегун Билл

Осень была такой холодной, что мне постоянно хотелось спать.
Но каждый день после уроков мы встречались на школьном стадионе:
Я, Елена, Надин и Лив. У Лив была ровная белая кожа,
Ровные зубы, ровные ноги, ровно подрезанные русые волосы.
Она лучше всех нас смотрелась в красном большом пуховике,
Которые тогда были в моде. Где-то неподалеку всегда сидел Билл,
Влюбленный в Лив. Зубы у него находили один на другой,
Волосы казались мне мокрой соломой, лицо – красным большим пуховиком.
Мы смеялись, ели леденцы, сплетничали,
Грели ладони друг друга леденцовым дыханием,
Билл молча сидел неподалеку, мял в руках шапку,
Как будто пытался вылепить из нее что-то красивое –
Спящую птицу, черную жемчужину, ночное небо – то, что могло бы
поправиться Лив.

Однажды Лив повернулась к Биллу и сказала,
Играя блестящими глазами, ровными зубами, ясным лицом:
«Пробежишь десять кругов – поцелую». И Билл побежал.
Первые три круга мы смеялись, пели на четыре голоса «Давай, Билл, поднажми!»,
Посылали ему воздушные поцелуи. Волосы Билла быстро намокли и потемнели,
Прилипли к бургистому прыщавому лбу. Билл бежал и бежал,
Хватаясь за левый бок, за правый бок, утирая пот со лба,
Билл бежал все медленнее, но не останавливался.
Елена закричала первой: «Хватит, Билл, хватит, дурак».
Но Лив все смеялась и смеялась, и Билл бежал.
На восьмом круге он споткнулся и упал. Вызвали скорую.
Кажется, что-то с сердцем, или с легкими, или что-то еще.
Но Лив все равно смеялась, показывая ровные зубы.

Билла больше не видели ни в школе, ни на стадионе, ни в нашем районе.
Он умер от передоза в восемьдесят восьмом – молча, все с тем же красным лицом,
Похожим на пуховик, к тому времени – помятым, щетинистым,
Будто дешевая ткань в катышках. «Бегун Билл помер», –
Сказала мне тетка Лиз, когда я в очередной раз позвонила узнать, как дела.
Последние двадцать лет жизни Билла звали только «Бегун Билл»,
Хотя больше никто и никогда не видел его бегущим.

Когда я вернулась в Биддефорд, как-то вечером
 Пробралась, как в детстве, на тот стадион, сняла куртку, красную, тоже как в детстве,
 И побежала. «Давай, Анна, поднажми!» – как будто откуда-то сбоку кричала
 Я сама себе из прошлого, такая жестокая, такая сильная, как будто
 Рядом со мной маленькой смеялась ты, такая нежная, такая взрослая.
 Тогда я наконец заставила себя остановиться – я поняла:

Ты все равно никогда меня не поцелуешь.

Будущее

Я зашла в свой старый дом, чтобы остаться в нем навсегда.
 Все было здесь так, как я когда-то запомнила:
 Пачка пожелтевших, слипшихся от старости газет на рассохшейся этажерке,
 Облезлая львиная голова с кольцом в пасти – вместо дверной ручки,
 Лицо матери, лежащее в верхнем ящике комода –
 Поблекшее, расплывшееся, как лицо любой матери,
 Слишком надолго оставшейся в одиночестве.
 Я прижалась щекой к стене, надеясь,
 Что это напомнит мне о чем-то хорошем:
 Сияющем снеге, рождественской чашке какао,
 Тетке Лиз, замерзшей, румяной, стучащей в двери,
 Кричащей: «Открывайте быстрее, сколько мне еще вас ждать?»
 Но обои пахли слезами и пылью, тем, что остается от печали,
 Когда печаль уходит, а надежда не возвращается.
 Тем самым рождественским вечером, много лет назад,
 После долгого счастливого дня,
 Тетка Лиз стояла у камина, пила свой невкусный виски,
 Тихо говорила, глядя на тени пламени:
 «Каждый человек умирает там, где и рождается».
 Я притаилась за дверью, не дышала, дрожала, впитывала каждое ее слово,
 Которое не могла понять и не смогла забыть.
 Почти тридцать лет спустя я стою на том же самом месте,
 Пью такой же невкусный виски, наконец понимаю:
 Человек умирает там же, где и родился – внутри себя самого.
 Я наконец пришла туда, откуда уже не выйти –
 Запертую комнату моего разума, забытый храм моего тела.
 Я закрыла глаза. Я наконец могла быть спокойна:
 Прошлое наконец перестало меня тревожить, поскольку
 Прошлое наконец стало мной.

Александр ОЖИГАНОВ

(Искандер АДЖИГАН)

ИЗ КНИГИ «БАЯН. ВОСТОЧНО-ЗАПАДНЫЙ ДИВАН»

Вступление Сергея Стратановского

Подборка стихотворений, предлагаемая здесь читателям «Волги» – из очень необычной книги. Называется она «Баян» и писалась она в Самаре (тогда Куйбышеве) с 1980 по 1985 год без какой-либо надежды на публикацию. Ее автор, поэт Александр Ожиганов, принадлежал к т. н. «второй», или неофициальной, культуре, которую с легкой руки перестроечных журналистов стали именовать андеграундом. В советское время ни одной его строчки не было и не могло быть опубликовано. Первая публикация состоялась лишь в 1992 году в «Волге» (№2) с предисловием петербургского поэта Виктора Кривулина. Потом были публикации (не только стихи, но и статьи) в самарском периодическом издании «Цирк “Олимп”»). При жизни Ожиганова вышли три его книги: «Трещотка» (М., 2002), «Ящеро-речь» (М. – Тверь, 2005), «Утро в полях» (Самара, 2012). Уже после смерти поэта, в петербургском издательстве «Пальмира», в серии «Часть речи» вышло «Шестикнижие», а сейчас в том же издательстве готовится еще одна его книга¹, включающая три неизданных самиздатских сборника, в том числе и «Баян». Для желающих узнать об Ожиганове больше рекомендую свою статью «Ящеро-речь» в 7-м номере журнала «Звезда» за 2021 год².

«Баян» абсолютно оригинальная, как по замыслу, так и по исполнению книга, представляет собой сплав собственных стихов автора, написанных, однако, как бы не от себя, а от лица некоего Искандера Аджигана, и переводов (или переложений?) стихов арабских, персидских, индийских поэтов, а также некоторых сур Корана. Как объяснял сам автор, слово «баян» в переводе (с персидского? с арабского?) означает озарение. Но у русского читателя с этим словом связаны совсем другие ассоциации: баян – народный музыкальный инструмент и Боян – певец-сказитель в «Слове о полку Игореве». Обе эти ассоциации, несомненно, учитывались поэтом, но на первом плане для него было озарение: Ожиганов тогда серьезно изучал мусульманскую культуру, увлекся (если этот глагол тут уместен) мистическим движением в исламе – суфизмом. Основная часть «Баяна» – это манифестация духовного пути суфия к Истине.

Именно из этой части взяты публикуемые ниже тексты.

¹ Выход книги «Треножник» ожидается в 2022 году. Составление Светланы Варкан, предисловие Сергея Стратановского

² <https://magazines.gorky.media/zvezda/2021/7/yashhero-rech.html>

*Когда путей нет внешних – в самом себе ты странствуй,
Как лалу – блеск пусть дарит тебе лучистый свод.
Ты в существе, о мастер, своем открой дорогу –
Так к россыпям бесценным в земле открылся ход.*

*Из горечи суровой ты к сладости проникни
– Как на соленой почве плодов душистый мед.*

Руми

ШАРИАТ

I. Хаджж

*Что Кааба для мусульман, то для тебя душа.
Свершай вокруг этой Каабы обход свой не спеша.*

Руми

Первый таваф

1
Сползая вкось по вылизанной змейке,
складной аршин – состав – отмерил ткань.
Игла стучит по черной тюбетейке.
Куда ни ткни – кругом Тмутаракань.

Прибытие – предлог для поворота
кругом: по кругу в миллиард углов.
Тускла засаленная позолота
лепных полустеблей и полуслов.

Смело самумом смысл для бедуина,
звучание – пучком согласных-стрел.
И шепелявит каждая руина
Самары с выщербленным «р».

2
Наплыв венков – щекоткой на губах.
Надрывное гуденье катафалка
гнездится в раструбах и в праздных рукавах

разбитых механизмов луна-парка,
где что-то лязгает, сверкает и шипит
окрошкой Песка, Огня и Сада
и все – суннит ли, суфий ли, шиит –
пестрят, как этикетки лимонада.

Отравлены колодцы вдоль пути.
Щепоткой соли, толикою блажи
удержит дервиш дерганье культи,
ведь на пути Аллаха нет поклажи.

3
Терновник на заброшенном карьере,
синеющий орнаментами сур,
свиреп и укреплен, как аль-Мансур,
корнями в реставрируемой вере.

По камешку окрашена в цвета
отцов и вся – ворсинкою к ворсинке –
подобрана... Сорви! – уже не та:
то в меле желтизна сквозит, то в синьке

Не выбелить ракушечный костяк.
не высинить воздушные чешуйки:
горят! И окроплен зеленый стяг
поволжской позолотой желчной шулки.

Второй таваф

1
Сириус направил острие
на мою раскрытую тетрадь.
Если я создание Твое,
что тогда такое благодать?

Утро развернуло ворох лент:
солнце, как султана, величать.
Если я искусный инструмент,
почему тогда на мне – печать?

Вся земля сверкает, как алмаз,
беспросветно в тайниках ума.
Если я – Твой филигранный глаз,
почему во мне такая тьма?

2
Славу былых племен,
пепел становищ их,

сотню Твоих имен,
тысячу звезд Твоих,
праведность чистых жен,
пение райских хур,
светоч священных войн
или полночных сур –
все, что могу назвать,
все я назвал бы. Но
«словом и убивать,
и воскрешать дано...»
Я же, немой имам,
темный шаир песков,
слабость, кичась, придам
сонму сыпучих слов:
каждое – тверже ядр,
а под рукой – ручей.
Пейте! Неверным – яд,
праведным – мед речей.

3

Когда – под пятистопный перестук –
меня размелет мельница разлук,
кому, скажи, понадобится эта
мука – щепоть нерастворимых мук?

Шестой таваф

1

Говорит Искандер Аджиган.
Что индусу – пустой истукан,
что ушкуйнику – полный стакан,
мне – избыток пустыни: обман.

Ложью правды и правдою лжи
замани же, заморожи,
спрячь поглубже – и покажи:
нимб – снаружи, внутри – обман!

Возврати выпадающий слог,
чтобы я оглянуться смог.
Слогу – вечность, залогу – срок,
злобе – вещьность, любви – обман.

Обмани же меня, обмани!
Ночи – днями, ночами – дни.
Все блуждающие огни –
маяки мои, капитан...

По наитью – курс на Маристан¹.
Красной нитью – сплошной туман.
Колыбель бутафорских ран,
кыбла кыбл – наобум: обман.

2

Говорится хикмет о тоске
по уже пролетевшей беде:
если ни в городах, ни в Орде,
ни в суме, ни в уме – нет, то где?

Говорится: беда, мол, черна.
Может быть, так и было – вчера.
Сердце вдруг озарила стрела.
Свет остался, стрелы нет нигде.

Смертоносного света струя
ноет все и звенит, как струна.
Или не пролетела стрела:
все летит и сияет – везде?..

Если свет устремился к звезде
животворной стрелою, то где
быть победе? и где быть беде?..
Говорился хикмет о тоске.

3

Сороковая часть добра – закат:
дырою с дуры, дулей с дурака
баскак сдавил, и вывалил босяк
ему ясак: баклагу языка...

Когда араб гордится красноречьем,
перс мудростью, а тюрк простосердечьем, –
отмалчиваюсь. Похвалиться нечем.
На висельнике – гиря языка.

Цепь натянулась. И оцепенело
на дереве добра сырое тело, –
отмаялось – не вовремя поспело:
спросить «который час?» – нет языка.

А сорок жал шипят, как баклажаны
на противне: «Алля – илля рахманный,

¹ Маристан – сумасшедший дом, от мар – святой.

переведи меня на ино – странный
немой, немецкий статус языка!»

Вещь – это весть. Вещественное веще.
Молчание лучом источит вещи.
Но толмачи выхватывают клещи
и расщепляют атом языка.

И в сорок сороков словарь толковый
разбух славянофильскою коровой
и, целое толкуя как целковый,
кладет на зуб лопатой языка...

Баскак, возьми целковый! Иляллах,
возьми свое – все сорок в тороках! –
не век мне быть в долгах, в шелках, в словах
на сорока немецких языках.

II. Хал

Полушария глаз видны
лишь с одной стороны луны.
Только любящий, как лунатик,
смотрит с внутренней стороны.

2

Опять вы на меня сердиты: «Чуть что – выходит из себя!..»
Змея цепляется за плиты и вот – выходит из себя.
Сок винограда в бочках бродит, и космос из себя выходит,
и – весь в росе! – бутон закрытый с утра выходит из себя!

3

Нет читателей? – экое горе!
Мой читатель – Эгейское море,
тайный друг, росомаха и мак...
Мой читательский круг – Зодиак.

4

Аруд и кафия стиха – все окончательно забыто.
Ты хороша или плоха, – мной окончательно забыто.
Беспамятствуя буду плыть: там берег «знать», здесь берег «быть»...
И где зерно, где шелуха? – мной окончательно забыто!

5

Уходит... уходит земля из-под ног...
Не перешагнуть через низкий порог!

Летит голова, как ядро Галилея,
которым играл механический бог.

6

«Торопись, спеши, как будто у тебя одна минута!» –
понукает проповедник беззастенчиво и круто.
Но Аллах, какие бредни! – я не знаю миг последний:
каждый миг живу я вечно чередой несчетных суток!

7

Будда, Христос и Аллах.
Все обращается в прах,
если какое-то имя
будит свирепость и страх.

8

Дает обет пустынный и аскет.
Но вне обетов и аскез поэт.
На что бы он в пути ни оглянулся, –
на все и так отказ, на все запрет!

9

Не верь ничему. Лишь неверью доверься.
Ни снам, ни уму – лишь неверью доверься.
О чем там трубят? кто на рынках судачит?..
Закройся в дому и неверью доверься!

10

Лишь неверующий доверчив. Подозрение – веры плод.
И доверчиво так заверчен вечный двигатель – небосвод...
Свой хорал о Дверях и Рае семицветный волчок играет,
славя смысл бессловесной Речи тверди, тварей, дерев и вод.

11

Ты указал мне, сух и строг,
сдвиг ударения на слог:
«Лейли, – сказал ты. – А не Лейла...»
Да, здесь я ошибиться смог!

12

Двенадцать девиц, недотрога – одна.
Двенадцать кострищ, а дорога – одна.
Есть дюжина средств стать слугой падишаха.
Возможность стать стражником Бога – одна.

13
Не поклонился Адаму Иблис.
Бог рассердился – столкнул его вниз.
Можно понять возмущение шайтана:
«Не поклоняться кумиру клялись!»

Из «Глоссария»

*Аджиган – Огненный Змей
аль-Мансур – халиф
аруд и кафия – форма и содержание
Баян – Откровение (ясная речь)
дервиш – нищий (странств. монах)
диван – собрание стихов
Иблис – дьявол
Кааба – мечеть с Черным камнем в Мекке
кыбла – направление на Мекку
Огонь – ад
Песок – земной мир
Сад – рай
суннит – ортодокс в исламе
суфий – мистик в исламе
таваф – ритуальный обход
хаджж – паломничество
хал – озарение, просветление
хикмет – «изречение», жанр философского стих.
хур – гурья
шариат – законодательство, первый этап Пути
шаир – поэт
шайтан – черт
шиит – сторонник Али*

Калле КАСПЕР

НЕВОЗМУТИМОСТЬ

Алексей Пурин. Астры: Книга новых стихов. – М.: СТИХИ, 2021. – 64 с. – (Серия «Срез». Книжные серии товарищества поэтов «Сибирский тракт»).

«Поэзия бывает многолика...» Кто так сказал? Возможно, я сам? Неважно. Поэзия – да, но не поэт. У поэта должен быть свой лик-облик, что-то, что делает его узнаваемым. У Пурина этот облик есть, и вырисовывается с каждым новым сборником (а «Астры» – его восемнадцатая книга стихов) все отчетливее – будто скульптор начал ваять барельеф, и, долго трудясь, в значительной степени завершил его. Конечно, какие-то детали еще не доделаны, в левом верхнем углу мрамор пока нетронут – интересно, что там будет? – но общий замысел узреть возможно.

Пурин – певец Истории. Поэзия в целом – искусство сиюминутности: уловить момент, минуту, секунду, и запечатлеть чернилами, гелем, графитом. Даже Кавафис, пожалуй, самый известный современный/недавнего прошлого поэт, проникавший мыслями в стародавние времена, все равно пытался как бы «втиснуться» в них, занять место своих героев; но Пурин не таков. Пурин сохраняет дистанцию – не только тогда, когда его разделяют с описываемыми событиями века, но и рассказывая о недалеком прошлом.

Пурин – певец воспоминаний, и о тех, и об этих временах, он как будто держит в голове все эпохи, все континенты и всех героев. Амплитуда его опытов огромна – от Троянской войны до распада СССР. В этом он переплюнул даже Кавафиса – если недревний грек сосредотачивался на истории, близкой ему по пространственной координате, то охват Пурина значительно шире, он рассматривает, можно сказать, всю историю Европы, и заглядывает даже в джунгли Африки!¹).

А с Кавафисом они как-то встречались – где-то во втором веке до нашей эры, в эпохе Селевкидов².

Что ищет Пурин в этих, разных и одновременно похожих, эпохах (похожих тем, что везде суетится homo sapiens)? Смысла жизни? Бога? Героя? Человека? Или всего этого, вместе взятого? Намеков немало, вот, например, одно из лучших, на мой взгляд, стихотворений сборника, посвященное Алексею Машевскому: «Ахилл, Ликомед, Одиссей. Барельефы античного саркофага» об известном мифе (мифе?) про Ахилла, которого мать спрятала на острове Скирос, чтобы ему не пришлось идти на войну и погибнуть, и где его

...облачают в девичьи наряды,
прикрепляют локоны до плеч.

Хода нет ему из гинекея.
В комнатах для царских дочерей
прясть ему и вышивать, тупея...
Ни Арес не тронет, ни Нерей...

Хитроумный Улисс разоблачает трусливую тайну юноши, после чего

Голос:
Будет всё – невиданная Троя,
гнев небесный, сладость битвы, страсть,
торжество коварства и разбоя,
драка псов за золото и власть,

гибель друга, бой, что лют и жарок,
тело, распростёртое в пыли,
вероломных эллинов подарок,
спрятанные в бухте корабли,

берег, погребальными кострами
озарённый (сколько дров и жил!),
и пиры, и песни вечерами,
Смерть сама... А значит: жив Ахилл!

¹ Стихотворение «Зайрская песня. 1971–1997».

² У Пурина, как и у Кавафиса, есть стихотворения о Деметрии Сотере и Александре Баласе (см. А. Пурин. Седьмая книга, СПб, 2017).

И Хор, введенный автором, наподобие греческой трагедии, заканчивает:

Отпрыск Пелеев
славы вкусил.
Сгинула Троя.
Смерть не страшна,
если она
на поле боя
примет героя.
Вечен Ахилл!

Понятно, что для обретения бессмертия надо идти своей дорогой, что бы ни случилось. Судьба ли это, или сознательный выбор? Есть ли тут место Случаю? Ахиллу он, в итоге, помог (страшно подумать, что было бы, если бы он остался в девичьем обществе до конца своих дней), а вот герою заглавного цикла сборника «Астры» – не очень. Да, сперва вроде все получалось: победоносные бравые походы – Маренго, Аустерлиц, Йена, затем – ворота Москвы, пройденные туда и обратно, а потом – Ватерлоо, что еще не так страшно, если бы он там погиб, но вот финал...

Завтра – дремота тлена,
плен и – в луже плевков –
крошечная Елена,
чёрт-те где островок.

Финал, конечно, не из приятных.

Тем не менее, несчастный пленник двух островов тоже навсегда остался в истории, доказательством чего могут служить многочисленные стихи, посвященные ему в стране, которую он пришел завоевывать (освобождать?). Уникальная, прямо скажем, ситуация. Можете себе представить, чтобы русские поэты стали слагать песни о Гитлере? (Разве что карикатурно-сатирические.) А герою «Ста дней» слава. Вот вам наглядная разница между этими двумя личностями.

А как же Россия? О ней Пурин не поет?

Поет, поет – и грустно поет. Здесь в той невозмутимости, с которой он рассказывал об Ахилле или Наполеоне, образуется брешь.

Не пожелал отречься от отца –
и в штольню вместе с родичами брошен.
...А стихотворцем мог бы стать хорошим,
родись он чуть подальше от венца.

Пушок нимфеток, бабочек пыльца...
И он столетьем был бы огорошен –
и жил бы тем же эмигрантским грошем,
не потеряв и в бедности лица.

.....
Жестокий век кровавых лотерей!
По статусу, но всё же не по блату,

он галисийских избежал полей,
но принял за Романовых расплату –
единственный на свете князь Палей.

(Из цикла «Разрушенные сонеты»)

Этим, можно сказать, гимном честности и достоинству Пурин увековечил имя погибшего молодого коллеги¹.

Но история России – это не только история Российской империи; как составное, и наиболее важное звено Россия вошла и в другую империю, ту самую, основатели которой убили не только единственного князя Палей, но и большинство его родственников, во главе с теми четырьмя девочками и одним мальчиком, которые, родившись в Петербурге, погибли в Екатеринбурге (и когда же этих душегубов наконец всенародно проклянут?).

История СССР, совсем другой страны, другого государства, и – можно смело сказать – другой цивилизации, в отличие от Российской империи, уже наша – родная история, прожившая и тоже ставшая прошлым. Теперь можно о ней говорить – не столь потому, что раньше было опасно, сколь потому, что сейчас она лучше видна.

Было время, когда лирический герой сборника «Астры» проектировал заводы и ездил с этой целью в Чечню, теперь он пишет: «В райцентре нас встречала председатель / райисполкома, деушка совсем», а затем до-

¹ Можно еще вспомнить созвучную этому стихотворению «К.Р.» из сборника Пурина «Седьмая книга».

бавляет: «...Что с девушкой стало – / подумать страшно – десять лет спустя...»? Что он имеет в виду? Что она так сильно постарела? Иностранцу может и так показаться, но мы-то знаем, что автор имел в виду другое – что с ней сделали война, распад империи и новый статус Чечни? Она жива? Бежала? Или переделалась в черное и носит закрывающую лицо «вуаль»?

Так или иначе, проектировщиков обильно угостили, а завод так и не был построен – звучит почти как метафора всей нашей жизни в той, и страшной и смешной, стране.

Белый стих, использованный в этом стихотворении, дает возможность подобрать самые точные слова для описания эпохи – получается что-то вроде поэтических мемуаров, весьма эффектных по сравнению с мемуарами обычными.

Пурин, как мы сказали – певец Истории. Но писать об истории трудно, вечно подстерегает опасность запутаться во времени; не обошла она и Пурина. Можно смириться с тем, что Москва 1812 года названа «брошенной столицей», у России же традиционно две столицы, но то, что Наполеон сравнивает свой сон с немым кино («Замершее движенье... Боро... дино... вино... Сонное наваждение – словно в немом кино») – это, конечно, анахронизм. Хотя кто не ошибался! Наверняка и у Гомера бывали ляпы. (Да и я сам не исключение.)

Важно другое – отношение Пурина к истории. Оно деликатное, вдумчивое. Пурин смотрит на историю не иронично, как его предтеча Кавафис, и не цинично, как другой, недавний предтеча, культ которого особенно силен в родном для Пурина Петербурге, а невозмутимо, иногда с мягким юмором, иногда – с сочувствием...

А пафос поэта? А пафос – вот он:

Deus conservat omnia

Всё сохраняется – гербарий
и драгоценный саркофаг,
дивидиромы дивных арий,
мыслехранилища бумаг,
секрет желёз, секреты наций,
и сталактит, и сталагмит,

инскрипты, перечни реляций...
Лишь душу Бог не сохранит.

Бог сохраняет всё – руины
Равенны, Рима, гул Ла-Скал,
громады гор, простор долины,
холмы Тосканы, что искал
в тоске, не дочитав Назона...
Души же призрачны черты –
хранить их Богу нет резона.
За душу отвечаешь ты.

Что же сказать под конец? И кому? Читателю, понятно что – читать (Пурина). А самому автору? Чтобы он завершил свой «барельеф»? Это само собой. Но чем именно ему заполнить пустующую часть?

Может, гекзаметрами?

Анна САФРОНОВА

ЗА МИРНОЕ ЧТЕНИЕ

Владимир Аристов Жизнь незамечаемых людей. – М.: Русский Гулливер / Центр современной литературы, 2021. – 180 с.

Рассказы из цикла «Жизнь незамечаемых людей» Владимир Аристов публикует не первый год – они выходили в «Новом мире», «Знамени», у нас в «Волге», и вот в нынешнем номере, который сейчас перед глазами читателей, – продолжение.

Бумажную версию издания я получила (спасибо автору) по почте незадолго до февральских событий, сразу же возникла мысль написать о ней, но прошло немного времени – и всё изменилось. Взяла в руки книгу и поняла, что все мои наблюдения, попытки найти верные слова исчезли. В голове, как и у большинства людей, только сводки новостей.

Ловлю себя на том, что читаю «Жизнь незамечаемых людей» как книгу о нашей тотальной несвободе – и о тотальном отечественном абсурде. Понимаю, что это несправедливо и неверно: проза Владимира Аристова – нечто гораздо большее, это сложное и тонкое полотно. Но ничего не могу поделать, читательская оптика (в том числе и моя) искажена, настрой-

ки сбиты, и как и что будет дальше – непонятно, оптимизма нет.

Пока же – просто небольшая подборка цитат, иногда с некоторыми пояснениями по сюжету, а иногда вырванная из контекста (прошу прощения).

Рассказ «Барклай». Преподавателю высшей математики не дают справку по совершенно абсурдному поводу: «Мы поняли ваш случай. Вы подсели на эндорфины. Научились их так много вырабатывать в голове, что понятно, почему не интересуетесь наркотиками и алкоголем. Но такое умствование, как у вас, – постоянное и приводящее к расслабленности сознания, быть может, не менее настораживающее, чем при использовании психотропных средств. В некотором смысле оно суррогат наркотических и опьяняющих веществ». Итог: «Мы выдаем вам справку. Условно. Надеемся, ненадолго». И они расстались друзьями. Условными и на условный срок».

«Улитки по-бургундски». Около магазина толпа, которая негодует, что не завезли улиток по-бургундски. «Но тут подошел человек из общества по защите животных и выстрелом из стартового пистолета разогнал толпу. Но тут к нему, в свою очередь, подошел полицейский и, козырнув, спросил, откуда у него такое полупортативное-полубоевое оружие».

«Дает о себе знать», первые строки: «Он долго шел зимней тропой с большим коловоротом. Но как только ступил на лед канала, был немедленно задержан двумя».

«Аквапарк». Двое вполне живых студентов обнаруживают свои имена на мемориальной плите. «И они стали читать, что написано на плите – раньше и в голову это не приходило. Там значилось, что монумент – в честь спасенных детей, которые могли бы утонуть в аквапарке, если бы он был построен здесь. Но строители вовремя прекратили стройку, потому что на основе новых методов определили и вычислили, что в аквапарке произойдет авария-катастрофа». Присоединяются две студентки:

« – Кто знает, кто знает, – несколько даже обиженно сказала она. – Эти расчетчики дума-

ют теперь, что могут все вычислить, все будущее за каждого предсказать, но ведь это ужасно, да и вранье.

– Ты права, – согласилась с ней первая студентка. – Они все теперь наблюдают... все знают про тебя... я имею в виду про меня... но и про тебя тоже... и про всех остальных. не рассказывали, что у нас в институте собираются установить не только улавливатели дыма – это-то давно есть, чтобы ловить курильщиков... но собираются запретить ругаться матом... со всем... и будут какие-то словулавливатели стоять, будут распознавать образы тех, кто говорил, и штрафовать вплоть до исключения из института.

– Да, ужасно, – сказала вторая студентка, – сама я не ругаюсь матом... почти... но я за свободу».

Финал: «И все четверо здесь же под каплями весеннего дождя дали друг другу торжественную клятву жить и думать так, чтобы превышать все время самих себя с тем, чтобы стать невычислимыми и неисчислимыми».

«Письмо, которое позвало в дорогу». «Уходя уже из комнаты, он оглянулся: стрекоза дремала в верхнем углу комнаты, полуприкрыв свои сиреневые глаза, покоясь на своей магнитной подушке. Он вспомнил хокку, которое слышал недавно на одном юбилее, которое было произнесено при торжественных обстоятельствах:

Отпусти стрекозу на север –

Она полетит на юг,

Потому что угадывает твои тайные желания».

«По больнице». Пациент решает провести некий эксперимент: «измерить среднюю температуру по больнице, а потом посмотреть изменение этой величины в динамике день ото дня». Итог: «Когда он провел подсчеты, и это увидели другие, то результаты их ошеломили. Так что к его неудовольствию его данные быстро засекретили, к нему применили средства интенсивной терапии, – его излечили гораздо раньше намеченного срока и выписали на свободу здоровым и чистым, как стеклышко».

«Не все так просто». Человек мечтал уехать за границу, но не мог получить загранпа-

спорт, так как одно время находился под следствием. «Когда он рассказал об этом одному своему приятелю, тот привел его на пустырь, достал монету достоинством в 5 рублей и начертил на земле квадрат полтора на полтора метра. «Оставайся в этом квадрате и никуда не уходи, можешь делать физические упражнения, думай о чем хочешь, но за границу квадрата не смей выходить», – наказал ему приятель, а сам ушел. Через час приятель вернулся, а он все еще находился внутри квадратной камеры, нарисованной на земле. «Теперь можешь сделать шаг за пределы», – сказал ему приятель. Он вначале несмело, но все же переступил порог. «Чувствуешь теперь освобождение?» – спросил приятель. «Возможно», – почему-то робко ответил он. «Как видишь, не надо далеко ходить, чтобы в любой момент почувствовать себя свободным», – сказал приятель и удалился. А он остался в радостном недоумении, все закружилось у него в голове в беспорядке, и он вспомнил почему-то, что когда-то хотел пойти инструктором во Дворец пионеров. Пионеров сейчас почти не было, но Дворец остался. Некоторое время назад ему предлагали пойти туда, чтобы вести кружок моделирования. Но не авиа- или судомодельный кружок, а моделирования мысли».

«Незнайко». «Знакомый конь посоветовал Незнайко надеть на голову бычий пузырь и на все вопросы отвечать «Не знаю». За что он и получил потом такое прозвище. Сквозь этот непрозрачный шлем он мало что видел, да и его различали с трудом, так что считали жителем другого мира и смеялись над ним. Так и ходил Незнайко – дух познания – по только что появляющимся городам и селам в самом расцвете и своим ответом, а по сути вопросом предвосхищал искусство будущего Николая из Кузы с его ученым незнанием».

«Вероника Лакмусова». «Вероника училась сразу на двух факультетах университета: биологическом и химическом. «Вот вырасту большой, – думала иногда Лакмусова, – осную один факультет химико-биологический, чтобы таким, как я, неповадно было разрываться сразу на две части». По вечерам она часто мечтала и мысленно готовилась стать швеей-мотористкой».

«Выборы нового директора». «Наше предприятие было занято производством мыслей. В нашей среде давно уже считалось неостроумным сравнивать это с производством мыла или мыслей. Ведь чистая высококачественная мысль ценилась в обществе и пользовалась большим спросом. Другое дело – для чего ее можно было приспособить. Но все настоящее рано или поздно находило применение в хозяйстве. Так что мысли брали про запас. Был у нас цех по реконсервации хорошо забытых мыслей. Если они были недостаточно хорошо забыты, это сразу распознавалось – это были дурно пахнущие мысли. Был отдел по производству мыслей о демократии, там давно уже придумали кое-что получше демократии, но по старинке он продолжал так называться, чтобы не дразнить гусей».

«На узкой тропинке». «Они понимали, что не перепрыгнуть через другого, можно переступить. Но надо было найти, кто бы из них решился сделать это первым. Они искали глазами третьего, чтобы тот дал команду, но его не было видно. Оставалось бросить жребий, кто из них на время станет этим третьим. Но в тот момент, когда они сделали совместное движение руками, воздух между ними проявился, словно протерлось туманное стекло, и появилось дальше солнечное небо, портовые краны, и возникло широкое виденное море, в которое они смогли выйти».

«Цирк в луна-парке». «Космонавты сняли шлемы и сели на край кратера. От их разгоряченных голов шел пар, и марсиане им сочувствовали. Зрители тоже расположились поудобнее. Речи их были свободны и не подвергались даже внутренней цензуре. Представитель появился вовремя и заливал всех так, что больше уже печати некуда было ставить. Потом вышел на арену в лунный кратер и предложил побороться с ним, если кто хочет».

«Два Николая (отчим)».

«– А все-таки Чацкого этого я бы в порту при пересечении границы все же проверил, – сказал участковый».

– Почему? – удивился Негропонтов.

– Да наверняка за ним здесь шлейф тянется... проверить бы его за последний год... летун есть летун... Да и Онегин этот тоже кого-то там бросил... и генерала, правда, другого тоже, кажется, обидел».

«Сказочники».

«– Мы не подписывались на то, чтобы наш разговор слушал кто-то еще, – снова одновременно сказали два приятеля.

– А вашей подписи не требуется... просто ваш случайно выбранный разговор, случайно выбранный из миллиардов других, был признан лучшим – вот и все. Никто не интересуется деталями вашей частной жизни. А приз будет компенсацией за вторжение в вашу приватность. Согласитесь, это приятное вторжение. Никто не будет записывать вашего разговора помещать в соцсети. Ваши физиономии там не появятся. Успокойтесь, они никому не нужны.

Но тут они что-то одновременно стали понимать.

Каждый поднес палец к губам – свой палец к губам другого как знак молчания».

«Почти вся власть». «Над демаркационной линией, помеченной нулем, всюду летают дроны. Никого из людей почти не видно. Одно из двух: либо все в укрытиях, либо просто пьют горячительные напитки...»

«На самокате». «Собрался он на электрическом самокате в дальнюю губернию.

– Смотри, не заедь куда-нибудь, – сказала ему мать как напутствие.

– И кому-нибудь, – добавила тетка.

Снабдили его новенькими деньгами.

– Зачем это? – удивился он. – При мне же карта “Visa”.

– Представь, что ты заедешь в глухую деревню, – сказали мать с теткой, – а там даже интернета нет. Что будешь делать?

– Этим не расплатишься, – кивнул он на деньги, – дайте что-нибудь помельче».

«Белый юмор». «Раньше, когда его обвиняли в очернительстве нашей и не только нашей действительности, он иногда поддакивал, но сейчас все изменилось, и когда некоторые коллеги по юмористическому цеху говорили ему, что

он обеляет то, что обелять нельзя, он все отрицал. Потому что видел все в белом свете. Он работал платным юмористом...»

«Обмен мыслями». «В одной стране, легко догадаться в какой, был разрешен свободный обмен мыслями. И возник сам собой толкучий базар, где все пытались обменять что-то свое на что-то исконно чужое».

«Автоцезарь». «Никто бы не сказал про писателя Д., что тот без царя в голове. И Д. про себя тоже так не думал. Поэтому он не удивился, хотя и немного обиделся, когда услышал внутренний голос: “Теперь я буду твоим цензором”. (...) ...его внутренний цезарь, его личный и довольно-таки безжалостный кесарь будет косарем любой его непреднамеренной мысли, неподцензурной максимы. Не станет в нем теперь совсем неподцензурной лексики, абсценные красоты больше не зазвучат в его дворце драгоценного сознания, и Д. останется только ходить на прием к себе самому, ждать у массивных дверей кабинета личного цензора, когда тот его примет и милостиво разрешит создать пару-тройку не очень резвых, но вполне трезвых произведений. Политически-дистиллированных высказываний, процеженных сквозь десны и прищуренные ресницы неукоснительных глаз внутреннего цензора-цезаря».

«Снег на голову». «В какой-то момент ему поручили сбрасывать снег с крыши мира. Он был, конечно, удивлен до крайности. Зачем сбрасывать с Гималаев снег, если завтра новый нарастет? Ему внятно не ответили, но сослались на какой-то квартальный план. (...) “Ну, посуди сам. Сбрасывая снег оттуда, ты разряжаешь там обстановку – вплоть до политической. Но, думаем, ты грамотный, и так разберешься. Ты ведь будешь предотвращать лавины – бич среднегорья – они возникают там внезапно, как снег на голову. Но главное: плодородные долины страдают от засухи...”»

«Правители рядовые». «...он стал им излагать программу своего правления, не забывая при этом, правда случайно, размахивать в воздухе разводным ключом, который принял в их глазах угрожающие размеры. Он сказал им, что

«коммунальный» значит «общественный», и что они должны срочно заняться коммуницированием неизвестных членов общества. Заняться описью их имущества, но не того, о котором они подумали, а драгоценным имуществом мыслей каждого. Пусть эти мысли неприглядны, но это только на первый невнимательный взгляд».

Еще раз приношу извинения за «узкое», так сказать, «актуальное» цитирование. Как и многим моим коллегам, мне хотелось бы читать книги нормальным, мирным зрением, а не с воспаленными от наших несчастий глазами. Но сила преодоления есть – см. нижеследующую рецензию Олега Рогова.

Олег РОГОВ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ

Владимир Аристов. Жизнь незамечаемых людей. – М.: Русский Гулливер / Центр современной литературы, 2021. – 180 с.

Жанр короткого рассказа хорошо прижился в современной прозе, далекой от мейнстрима (Маргарита Меклина, Данила Давыдов и другие достойные авторы). Все знают, что крупные коммерческие издательства не хотят, как правило, иметь дело с рассказами отечественных авторов – якобы те плохо раскупаются, стабильно предпочитая романы, причем стремясь сделать книгу потолще, иногда банально за счет укрупнения кегля. Есть устойчивый миф, что это тяжелое и неизжитое наследие советского прошлого: толстая книга – весомо и солидно. А рассказы, мол, хороши для глянцевого и не очень журналов. Возможно, дефицит бумаги и исчезновение этих самых журналов в скором времени заставят отказаться от этого дурного стереотипа.

И вот, вдали от литературных автобанов с четко известным маршрутом и рекомендуемым режимом скоростей, нормальные авторы петляют извилистыми тропками без рекламных щитов, светофоров, камер сле-

жения и жесткой необходимости перестраиваться в определенный ряд в соответствии с дорожными знаками. Несомненным плюсом становится удовольствие от путешествия, а не стремление добраться к намеченной цели по предсказуемому маршруту, не тобой проложенному.

Это мы немного поигрались с термином «мэйнстрим», приписав ему метафорические свойства. То же самое изящно продельывает и Аристов, оживляя стершиеся клише. Чмок – и мертвая царевна протирает глаза, начинает потягиваться и разминать оцепеневшие в сонном параличе члены.

Человек «доходит» до Страсбургского суда – до здания, на своих двоих; фраза «Вас известят» вызывает к жизни известь; фэйс-контроль логично приводит к замерам голов, носов и т. д. Иногда этот прием превалирует в том или ином тексте, иногда работает как триггер, развертывая событийный ряд, подчас служит штрихом («тянуть одеяло на себя», так как человек лежит под ним без трусов), иногда вполне незаметен. Так, «хвост» дважды мелькает в текстах, где так или иначе фигурируют животные – про хвост очереди в зоопарке и «насыпать соли на хвост» – как говорят про ажитированного человека, а ведь парой строчек ниже в рассказе появляются ослы. А в рассказе «Цезарь» вереница созвучий приводит к «кесарю», а потом к «косарю» – привет свихнувшегося Батюшкову.

Прием вполне поэтический – Аристов ведь прекрасный поэт, лауреат единственной стоящей, по-моему, премии – Андрея Белого (аксиос), и вот тут мы переходим к сути. Одно из качеств его стихов – заинтересованная внимательность к вещам, деталям, идеям, причем эта внимательность в хорошем и старомодном смысле добра и человечна.

Рассказы книги вполне абсурдны, но это на удивление гуманистический абсурд, а ведь мы привыкли к куда более жестким и страшным упражнениям в этом роде.

Первая же строка книги – «Предупреждение автора» – настраивает нас на определенный лад, неизбежно отсылая к незабвенному Пригову. Но читатель сталкивается совсем с иным подходом, внимая «беззащитности сла-

бых голосов вещей и людей, которые способны неожиданно войти в будто бы уже размеченную ткань произведения, но не разорвать ее, а раздвинуть нити и заглянуть. И тогда мы увидим и услышим многие голоса людей и вещей, дотоле заглушаемые громким голосом писателя-творца, который в приказном порядке повелевал своим героям подчиняться его воле. Они войдут сами по себе, не требуя особого разрешения. И образуя хор голосов разных точек и клякс бытия, не требующих от пишущего сразу санкции на свои существования. Множество разрозненных вроде бы элементов, обрывков историй, восклицаний способно будет образовать нечто вроде мерцающего эпоса <...> созданное не зачеркивает, а нечто и прибавляет к бытию, утверждая его».

Так и сюжеты рассказов не обманывают читательских ожиданий неожиданным поворотом, а плавно растворяются в близине бумажного листа и это действует сильнее, чем возможный эффектный ход. Как будто математическая задача по ходу своего решения меняет условия, а потом и вовсе от них отказывается. Или, возвращаясь к образу текста как путешествия – а давайте свернем в другую сторону или остановимся полюбоваться на птиц, а потом вообще никуда не пойдем.

И еще одно наблюдение, не могу не поделиться, как сказала амеба. Когда говорят пушки, а в стране царит разгул полицейской истерии, читательский глаз волей-неволей отмечает в текстах детали, вряд ли намеренно акцентированные автором.

«Условный срок», «выстрелом из стартового пистолета разогнал толпу», «был немедленно задержан», «суд счел доводы смехотворными», «участковый сказал, что заберет документ для проверки», «дверь его взломал российский спецназ», «незаконное вторжение» и т. д., примеры можно множить, тем более, что я счел возможным принять во внимание не только рассказы в книге, но и помещенные в этом номере журнала.

Судя по выходным данным, верстка подписана к печати 18 ноября 2021 года (благодарные, оказывается, были времена), следовательно, написаны все рассказы вряд ли раньше 17 ноября (тут можно поставить смайлик) – ведь книга сделана по технологии Т8, вжик-вжик и тираж готов за очень короткое время.

Но законная реальность может по-своему исполнить партитуру текста и ничего с этим уже не поделать.

Контакты:

Анна Сафронова (гл. редактор, проза): safronova-volga21@yandex.ru

Алексей Александров (зам. гл. редактора, поэзия, критика): alexandrov-volga21@yandex.ru

Алексей Голицын (документальные исследования): agolitzin@yandex.ru

Олег Рогов (архивные публикации, критика): rgv@mail.ru

Алексей Слаповский (проза)

Сайт журнала: <http://volga-magazine.ru/>

Электронная версия журнала на сайте «Журнальный зал»:
<http://magazines.gorky.media/volga>

Подписано в печать 20 апреля 2022 г.

Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.